8(C)P
A 46

5352
Возвратите книгу не позднее
указанного здесь срока.

~~401 28/V~~
~~439 28/VII~~
833 28/I
818 11/VI
~~00~~ 11/XII

КАМЫШЛОВСКАЯ ЗЕМСКАЯ БИБЛИОТЕКА.
Отд. IV № 16
Инв. № 1977

891
А. 46.

и допущено
дений

Н. Я. Оглоб

Г. В. Александровскій.

891
А46.

ЧТЕНІЯ
ПО
НОВѢЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

Выпускъ первый.

1) Введеніе въ исторію новѣйшей русской литературы.
2) Бѣлинскій.
3) Тургеневъ.
4) Гончаровъ.
5) Островскій.
6) Некрасовъ.

Паче всего люби родную литературу...
Щедринъ.

Изданіе четвертое, исправленное и значительно дополненное.

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія во второмъ изданіи допущены въ ученическія старшаго возраста библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя библіотеки и читальни.

Продается въ книжныхъ магазинахъ Н. Я. Оглоблина.
КІЕВЪ Крещатикъ, № 33. С.-ПЕТЕРБУРГЪ Екатерининская, № 4.

КІЕВЪ.
Типографія Первой Кіевской Артели Печатнаго Дѣла. Трехсвятительская, 5.

КАШЫШЛОВСКАЯ ЗЕМСКАЯ БИБЛІОТЕКА
Отд. II № 16
Инв. № 1977

СОДЕРЖАНІЕ.

Введеніе въ исторію новѣйшей русской литературы. с. 1—27

Значеніе поэзіи для современнаго общества; роль ея въ жизни русской интеллигенціи. Краткій очеркъ развитія русской поэзіи съ XVIII вѣка до Пушкина.

Пушкинъ: его творчество до 1824 года; самобытная струя въ творчествѣ этого періода и переоцѣнка литературнаго наслѣдія прошлаго; художественный реализмъ у Пушкина; его взгляды на поэта и поэзію; отзывчивость на явленія современности; гуманность его творчества; въ немъ коренятся зачатки многихъ послѣдующихъ явленій русской литературы. Значеніе Гоголя въ дѣлѣ водворенія въ русской литературѣ художественнаго реализма, изображенія „пошлости пошлаго человѣка“ и пробужденія общественнаго самосознанія; взгляды его на поэта и его назначеніе. По какому пути пошла русская художественная литература послѣ Гоголя.

Отличительныя черты духовной организаціи поэта, избравшаго путь реально-художественнаго творчества. Процессъ созданія поэтическихъ произведеній: художественный идеалъ; роль мышленія въ поэтическомъ творчествѣ. Какъ поэты накопляютъ матеріалъ для создаваемыхъ ими образовъ. Душевные мотивы, дающіе то или иное направленіе творческой мысли писателя. Значеніе въ дѣлѣ творчества міровоззрѣнія автора. Взгляды Пушкина и Гоголя на процессъ реально-художественнаго творчества. Общіе выводы изъ разсмотрѣнія творческаго процесса русскихъ писателей реально-художественнаго направленія.

В. Г. Бѣлинскій. с. 29—50

Отличительныя черты личности Бѣлинскаго. Важнѣйшіе періоды жизни Бѣлинскаго, отразившіеся на его характерѣ и міровоззрѣніи. „Литературныя мечтанія“ и ихъ значеніе.

Роль Бѣлинскаго въ дѣлѣ разработки исторіи русской литературы. Бѣлинскій, какъ истолкователь Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Кольцова. Отношеніе его къ натуральной школѣ. Отзывы Бѣлинскаго о первыхъ произведеніяхъ писателей 40-хъ

годовъ. Бѣлинскій—создатель русской критики. Роль Бѣлинскаго въ развитіи русскаго общественнаго самосознанія.

И. С. Тургеневъ с. 51—115

Общая характеристика таланта Тургенева. с. 53—55

Особенности ума Тургенева. Широкое образованіе его. Гуманность. Способность воспроизводить жизнь, наблюдаемую въ дѣйствительности. Объективность. Умѣніе уловить едва нарождавшіеся типы и настроенія.

Записки охотника. с. 55—66

Условія дѣтства Тургенева, способствовавшія пробужденію въ немъ симпатій къ народу. „Аннибаловская клятва“ Тургенева. Исторія появленія „Записокъ охотника“. Анализъ сценъ, изображающихъ бѣдственное положеніе крестьянъ подъ властью помѣщиковъ. Нравственно-прекрасныя личности изъ народа въ изображеніи Тургенева. Общественное и историко-литературное значеніе „Записокъ охотника“. Значеніе повѣстей: „Муму“ и „Постоялый дворъ“.

Причины появленія „лишнихъ людей“ въ русской жизни. Гамлетъ Щигровскаго уѣзда и Чулкатуринъ. с. 67—76

Реакція во вторую половину царствованія Александра I: запрещеніе учиться въ германскихъ университетахъ; разгромъ Магницкимъ Казанскаго университета; положеніе университетской науки и профессоровъ въ другихъ университетахъ; положеніе низшаго образованія; цензурныя строгости. Усиленіе реакціи послѣ 14 декабря 1825 года. Цензурные уставы 1826 и 1828-го годовъ. Усиленіе реакціоннаго настроенія послѣ 1830-го года. Бутурлинскій комитетъ 1848-го года и его дѣятельность. Факты изъ эпохи цензурнаго террора. Теорія оффиціальной народности. „Выборныя мѣста изъ переписки съ друзьями“, какъ иллюстрація могущественнаго распространенія этой теоріи. Вліяніе реакціи 30-хъ и 40-хъ годовъ на общество. Гамлетъ Щигровскаго уѣзда и Чулкатуринъ, какъ продуктъ эпохи.

Рудинъ. с. 76—82

Различные взгляды критики на Рудина и причины этого. Чѣмъ объясняется двойственность впечатлѣнія отъ Рудина. Сущность міровоззрѣнія Рудина; склонность его къ общимъ отвлеченнымъ разсужденіямъ; краснорѣчіе его; самобичеваніе; отношеніе къ любви; разладъ между словомъ и дѣломъ и причины этого разлада. Связь его съ эпохой. Культурно-историческое значеніе Рудиныхъ.

Лаврецкій. с. 82—86

Воспитаніе Лаврецкаго, какъ типическая черта эпохи. Попытки заняться самообразованіемъ. Культъ чувства любви. Неподготовленность къ жизненной дѣятельности. Стремленіе сблизиться съ родной народной жизнью.

Славянофильство и западничество и его отраженіе въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“ Тургенева. с. 86—91

Гдѣ нужно искать корней славянофильства. Условія, содѣйствовавшія развитію славянофильскаго ученія въ 30-е и 40-е годы. „Филисофическое письмо“ Чаадаева и его значеніе для развитія славянофильства. Сущность ученія славянофиловъ и его значеніе. Что такое западничество. Какъ отразились эти общественно-политическія міровоззрѣнія русской интеллигенціи 30-хъ и 40-хъ годовъ въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“ Тургенева.

Возрожденіе русскаго общества послѣ Крымской войны. Нигилизмъ. Базаровъ. Ситниковъ. Кукшина. с. 91—102

Отрезвляющее дѣйствіе Севастопольскаго пораженія. Оживленіе въ литературѣ. Критика господствовавшаго строя жизни. Увлеченіе матеріализмомъ. Нигилизмъ, какъ противовѣсъ реакціи предшествовавшаго періода. Гдѣ нужно искать корней нигилизма. Враждебное отношеніе нигилистовъ къ людямъ 40-хъ годовъ и причины его. Разнообразные толки, вызванные появленіемъ „Отцовъ и Дѣтей“. Базаровъ, какъ разночинецъ и представитель нигилистическаго міровоззрѣнія: отрицаніе принциповъ, любви, искусства, чувства природы, различія между людьми; причины базаровскаго отрицанія. Противорѣчія, въ которыя впадаетъ Базаровъ. Развѣнчаніе въ Базаровѣ нигилистическаго міровоззрѣнія. Отношеніе Тургенева къ Базарову. Значеніе романа: „Отцы и Дѣти“.

Общественныя движенія въ 70-е годы. Неждановъ. Соломинъ. с. 102—107

Что такое „кающійся дворянинъ“ и причины возникновенія этого типа. Увлеченіе соціализмомъ. „Хожденіе въ народъ“ съ цѣлью произвести революцію. Отношеніе Тургенева къ русскому революціонному движенію 70-хъ годовъ прошлаго вѣка. Неждановъ, какъ иллюстрація идей Тургенева о „хожденіи въ народъ“ съ цѣлью революціонной пропаганды. Художественные промахи въ образѣ Нежданова. Соломинъ, какъ положительный типъ. Симпатичныя стороны его личности. Его отношеніе къ революціи. Общественная программа Соломина. Отсутствіе художественной правды въ образѣ Соломина. Общія заключенія о „Нови“.

Русская женшина въ изображеніи Тургенева. с. 107—115

Два основныхъ женскихъ типа, встрѣчающіеся въ исторіи человѣчества. Наташа: ея стремленіе разобраться въ окружающей обстановкѣ; порывы къ лучшему существованію; отношеніе къ Рудину; неудовлетворенность жизнью. Лиза: природное религіозное чувство; вліяніе окружающихъ условій на его развитіе; мистическая любовь къ Богу; чувство долга; болѣзненно-чуткая совѣсть; протестъ противъ окружающей дѣйствительности во имя религіознаго чувства. Елена: природныя свойства ея; вліяніе окружающей жизни; неудовлетворенность жизнью; почему Елена полюбила Инсарова; общественныя начала въ Еленѣ. Маріанна: отличительныя особен-

ности ея натуры; альтруистическія настроенія ея; стремленіе прійти на помощь народу; любовь къ Нежданову; Маріанна—наиболѣе прекрасный женскій образъ у Тургенева. Тургеневъ, какъ пѣвецъ женской любви. Общее значеніе дѣятельности Тургенева.

И. А. Гончаровъ. с. 117—143

Условія жизни Гончарова, способствовавшія изученію провинціальнаго общества. Отличительныя черты его таланта. с. 119—121

Почему Гончаровъ прекрасно зналъ бытъ и типы провинціальнаго дворянства. Способность его писать только ту жизнь, которую онъ хорошо изучилъ. Умѣніе изображать едва уловимыя детали жизни. Гуманность. Юморъ.

Дореформенная консервативная помѣщичья жизнь въ изображеніи Гончарова. с. 122—126

Классификація Гончаровымъ созданныхъ имъ образовъ; распредѣленіе ихъ по важнѣйшимъ періодамъ русскаго общественнаго развитія. Дореформенная гончаровская Русь: застой мысли; взглядъ на трудъ; Татьяна Марковна Бережкова; Марфинька и Викентьевъ; романтическая струя въ настроеніи дореформеннаго общества.

Обломовъ, какъ герой переходной эпохи. с. 126—134

Значеніе образа Обломова. Положительныя стороны личности Обломова. Причины его духовнаго умиранія, какъ онѣ раскрываются въ „Снѣ“: вліяніе воспитанія и общаго строя жизни въ раннемъ дѣтствѣ на Обломова; годы ученія у Штольца; университетскіе годы. Что такое обломовщина.

Райскій, Ольга, Вѣра. с. 134—140

Черты Райскаго, роднящія его съ дореформенной русской жизнью; новыя вѣянія въ немъ; Райскій, какъ типъ переходной эпохи. Ольга Ильинская: ея главнѣйшія свойства; чѣмъ объясняется ея неудовлетворенность жизнью замужемъ. Вѣра: ея духовная организація; отношеніе ея къ старымъ укладамъ жизни; выработка міровоззрѣнія; встрѣча съ Маркомъ Волоховымъ; причины пораженія Вѣры.

„Новые люди“ въ изображеніи Гончарова. с. 140—143

Почему „Новые люди“ не удались Гончарову. Художественные промахи въ изображеніи Штольца, Тушина и Волохова. Значеніе романовъ Гончарова.

А. Н. Островскій. с. 145—178

Общая характеристика и значеніе творчества Островскаго. с. 147—152

Островскій, какъ создатель русской самобытной реально-художественной драмы. Техника драмы у Островскаго. Обстоятельства жизни Островскаго, способствовавшія изученію разнообразныхъ сторонъ русской дѣйствительности. Широкая картина жизни, отразившаяся въ творчествѣ Островскаго. Исторія появленія въ свѣтъ первой его комедіи.

Самодурство въ изображеніи Островскаго. Гордѣй Торцовъ. с. 152—156

Общее впечатлѣніе отъ пьесъ Островскаго изъ купеческой жизни. Самодурство. Гордѣй Торцовъ: его грубость, черствость сердца, деспотизмъ, самомнѣніе; какъ отразилась цивилизація на Гордѣѣ Торцовѣ.

Характеры, сложившіеся подъ вліяніемъ самодурства. Пелагея Егоровна, Любовь Гордѣевна, Митя. с. 156—158

Симпатичныя качества Пелагеи Егоровны. Неспособность противостоять самодурству мужа. Любовь Гордѣевна и Митя, какъ продуктъ семейнаго деспотизма и самодурства.

Любимъ Торцовъ. с. 158—161

Исторія Любима Торцова до появленія его въ комедіи. Положительныя черты его. Значеніе этого образа. Бытовая сторона жизни въ комедіи: „Бѣдность не порокъ“.

Общая картина жизни, изображенная въ „Грозѣ“ Островскаго. с. 161—162

Самодурство въ „Грозѣ“, какъ результатъ домостроевскихъ идеаловъ жизни. Семейный деспотизмъ и невѣжество, какъ отличительныя черты жизни, изображенной въ „Грозѣ“.

Дикой, Кабанова, Тихонъ. с. 163—165

Самодурство Дикого; его жадность къ наживѣ; склонность къ плутнямъ; преклоненіе передъ установленными формами жизни. Кабанова, какъ выразительница домостроевскихъ принциповъ жизни; ея самодурство и семейный деспотизмъ. Полная обезличенность Тихона.

Катерина. с. 166—170

Страстность ея натуры. Религіозное чувство Катерины. Неудовлетворенность жизнью Катерины съ выходомъ ея замужъ. Любовь къ Борису, и что она даетъ

Катеринѣ. Покаяніе Катерины. Попытка вырваться изъ семьи мужа. Смерть Катерины. Катерина—жертва самодурства и деспотизма.

Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ. с. 159—160

Мрачныя предчувствія, посѣщающія Кабанову. Просвѣщеніе, какъ сила, которая сокрушитъ „темное царство“.

Дореформенное чиновничество въ „Доходномъ мѣстѣ“ Островскаго. с. 171—174

„Доходное мѣсто“, какъ отраженіе духовнаго возрожденія русскаго общества послѣ Крымской войны. Вышневскій: его „практическій“ взглядъ на службу; отношеніе къ общественному мнѣнію. Юсовъ: его прошлое; отношеніе къ образованнымъ чиновникамъ. Бѣлогубовъ. Дореформенные чиновники внѣ ихъ служебныхъ отношеній; страхъ ихъ передъ новымъ поколѣніемъ.

Жадовъ с. 174—178

Его взгляды на службу и жизнь. Слабыя стороны Жадова. Любовь къ Полинѣ. Семейная жизнь Жадова. Коллизія семейныхъ отношеній и общественныхъ обязанностей въ душѣ Жадова. Нравственное паденіе Жадова. Въ чемъ онъ нашелъ для себя поддержку. Значеніе типа Жадова.

Н. А. Некрасовъ. с. 179—212

Біографія Некрасова. с. 181—194

Тяжелыя впечатлѣнія ранняго дѣтства: семейный раздоръ; картины народнаго страданія. Годы ученія въ гимназіи и университетѣ. Безвыходное матеріальное положеніе. Первые литературные опыты. Вліяніе Бѣлинскаго. Душевный разладъ Некрасова. Успѣхъ его произведеній. Смерть. Общіе выводы изъ разсмотрѣнія жизни Некрасова.

Разборъ стихотвореній Некрасова и значеніе его поэзіи. с. 194—212

Односторонность ходячихъ сужденій о творчествѣ Некрасова. Стихотворенія автобіографическаго характера и значеніе ихъ. Произведенія, характеризующія настроеніе людей 40-хъ годовъ. Дореформенная народная жизнь въ поэзіи Некрасова. Стихотворенія, посвященныя изображенію народной жизни послѣ освобожденія крестьянъ. Общіе выводы о Некрасовѣ, какъ пѣвцѣ народнаго горя. Городская жизнь у Некрасова. Значеніе творчества Некрасова.

Введеніе въ исторію новѣйшей русской литературы.

Область поэзіи, въ большей или меньшей степени, близка всякому. Невозможно представить себѣ человѣка, на котораго это искусство въ той или другой формѣ не имѣло-бы могучаго воздѣйствія. Даже первобытный дикарь, съ едва уловимыми зародышами возвышенныхъ свойствъ человѣческаго духа, и тотъ подчиняется его вліянію въ безыскусственной религіозной, бытовой или военной пѣснѣ. Чѣмъ болѣе духовно развитъ человѣкъ, чѣмъ отзывчивѣе становится его сердце, тѣмъ болѣе доступны ему наслажденія поэзій, тѣмъ сильнѣе поддается онъ обаянію художественной мысли. Это есть тотъ храмъ, въ которомъ истомленное жизненной борьбой культурное человѣчество нашихъ дней отдыхаетъ отъ заботъ, освѣжается духовно, почерпаетъ новыя силы, пріобрѣтаетъ угасшую подъ часъ вѣру въ добро и правду. Но если это величайшее изъ искусствъ имѣетъ огромное значеніе для всего образованнаго человѣчества, то въ жизни русскаго интеллигентнаго общества оно, въ связи съ литературной критикой, занимаетъ первое мѣсто въ ряду другихъ факторовъ нашего духовнаго развитія. Литературѣ мы обязаны пробужденіемъ сознательной мысли; на ней мы часто вырабатываемъ свое міровоззрѣніе; очарованные волшебнымъ словомъ поэта, мы не разъ забываемъ весь міръ и себя, погрузившись въ духовное созерцаніе его дивныхъ созданій; къ нему прибѣгаемъ мы за помощью въ минуты душевнаго разлада, гнетущаго одиночества, разочарованія въ людяхъ и жизни. Литература—это наша наука, религія, философія, идеалы личной и общественной жизни, это—наше все!

Такое господствующее значеніе въ русской жизни литература пріобрѣла однако недавно. Несмотря на то, что она имѣетъ за собою девять вѣковъ существованія, только въ послѣднія 60—70 лѣтъ проявилось столь мощное вліяніе ея на нашу интеллигенцію. Въ это же время она заняла одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду старѣйшихъ литературъ Запада. Отсюда понятенъ тотъ интересъ, какой представляетъ знакомство съ ходомъ ея развитія, начиная съ 40-хъ годовъ прошлаго столѣтія.

Ея колоссальный ростъ съ этого времени коренится, тѣмъ не менѣе, въ явленіяхъ прошлаго. Благодаря счастливому стеченію обстоятельствъ, въ первыя четыре десятилѣтія XIX-го вѣка завершилось развитіе тѣхъ ея свойствъ, въ которыхъ кроется секретъ ея успѣха какъ въ Россіи, такъ и въ Западной Европѣ.

Прослѣдить за постепеннымъ ростомъ этихъ свойствъ, показать ихъ корни въ прошломъ—это значитъ выяснить ихъ историческую необходимость, доказать цѣлесообразность ихъ существованія.

Наша свѣтская литература началась, какъ извѣстно, съ эпохи Петра Великаго; съ этого времени начнемъ и мы свой обзоръ, т. е. будемъ слѣдить за тѣмъ, какъ, несмотря на многія неблагопріятныя условія, развивались здоровые ростки нашей поэзіи, иные изъ которыхъ восходятъ еще къ древнѣйшему періоду русской литературы.

Могучій геній Петра, прорубившій, по счастливому выраженію поэта, окно въ Европу, совершилъ удивительное въ исторіи человѣчества дѣло, въ теченіе какихъ нибудь 25—30 лѣтъ направивъ по новому руслу, едва опредѣлившемуся въ предшествовавшій періодъ русской исторіи, государственную жизнь и культуру многомилліоннаго народа. Обильнымъ потокомъ хлынула въ Россію западно-европейская цивилизація. Наиболѣе чуткіе изъ русскихъ людей, раздѣлявшіе идеи царя-преобразователя, ясно поняли, какъ далеко отстала ихъ родина отъ западныхъ сосѣдей. Учиться, учиться всему у нихъ—стало девизомъ какъ царя, такъ и его сподвижниковъ. И вотъ Русь уподобилась, по выраженію извѣстнаго усторика С. М. Соловьева, громадной школѣ, одухотворяемой геніемъ великаго державнаго учителя. Конечно, такой поворотъ въ жизни Россіи не могъ не отразиться кореннымъ образомъ на ея литературѣ. Дѣйствительно, мы замѣчаемъ, прежде всего, появленіе цѣлаго ряда переводныхъ, а затѣмъ и оригинальныхъ сочиненій по различнымъ отраслямъ знаній свѣтскаго характера; сочиненія эти положили у насъ начало свѣтской литературѣ, которая въ короткое время царствованія Петра Великаго, сравнительно, очень разрослась и количественно и качественно; вмѣстѣ съ тѣмъ, у наиболѣе даровитыхъ свѣтскихъ писателей, сообразно съ общимъ направленіемъ русской жизни, замѣчается стремленіе сравняться съ представителями западно-европейской литературы усвоеніемъ какъ формы, такъ и содержанія ихъ творчества. Отсюда подчиненіе нашей поэзіи западно-европейскимъ вліяніямъ, проходящее черезъ весь XVIII-й вѣкъ. Главнѣйшія литературныя теченія Запада, какъ въ зеркалѣ, отражаются въ творчествѣ нашихъ писателей: ложный классицизмъ, нашедшій себѣ ревностныхъ и многочисленныхъ послѣдователей въ эпосѣ, лирикѣ и драмѣ, смѣняется сантиментализмомъ, параллельно съ которымъ проникаетъ къ намъ и нѣмецкій романтизмъ,—и такъ вплоть до второй четверти XIX столѣтія, когда пышнымъ цвѣтомъ расцвѣлъ геній Пушкина. Такимъ образомъ, наша поэзія на цѣлое столѣтіе попадаетъ на выучку западно-европейскимъ литературнымъ теченіямъ.

Однако, несмотря на сильное вліяніе литературныхъ авторитетовъ Запада, наши писатели на протяженіи XVIII вѣка успѣваютъ постепенно освобождаться отъ иноземнаго вліянія и прививаютъ русской литературѣ такія черты, которыя совсѣмъ не были свойственны произведеніямъ ихъ западныхъ учителей. Такъ напримѣръ, въ самый разгаръ увлеченія у насъ ложнымъ классицизмомъ, „россійскій Рассинъ“ Сумароковъ, рабски подражавшій Корнелю, Рассину и Вольтеру, допускаетъ довольно смѣлое нарушеніе установившагося на Западѣ обычая—чер-

нать сюжеты для трагедій изъ жизни и сказаній древнихъ народовъ и беретъ матеріалъ для этого рода произведеній изъ родной исторіи, иногда очень недалеко, какъ въ „Дмитріи Самозванцѣ“, удаляясь въ глубь вѣковъ отъ современности. Еще болѣе разительный примѣръ отступленія отъ установленныхъ литературныхъ нормъ являетъ собою творчество Державина, дерзнувшаго, вопреки всякимъ теоріямъ, соединить, казалось, несоединимые до тѣхъ поръ виды поэзіи, какъ ода и сатира, и „забавнымъ русскимъ слогомъ“, или, по терминологіи XVIII-го вѣка „подлыми“ словами, поколебать мнимое величіе ложноклассической музы. Въ отмѣченныхъ новшествахъ Сумарокова и Державина безсознательно сказалось столь характерное для русскаго писателя стремленіе сблизить литературу съ русской жизнью, сдѣлать ее силой, могущей вліять на современность.

Параллельно съ постепеннымъ освобожденіемъ отъ иноземнаго вліянія и отыскиваніемъ самобытныхъ путей для творчества идетъ развитіе другой черты, проявившейся въ русской литературѣ еще въ первые вѣка ея существованія. Черта эта заключается въ чисто органическомъ стремленіи нашихъ писателей вліять своей дѣятельностью на окружающую жизнь, провозглашать въ той или другой формѣ, тѣмъ или инымъ способомъ свое учительное слово, „глаголомъ жечь сердца людей“. Отмѣченная особенность настолько ярко бросается въ глаза въ творчествѣ писателей XVIII-го вѣка, что на ней слѣдуетъ остановиться нѣсколько подробнѣе. Такъ, первый по времени поэтъ новой русской литературы князь Антіохъ Кантеміръ, прекрасно изучившій древнюю классическую поэзію, знакомый съ различными видами ея, выбираетъ для самостоятельнаго творчества форму сатиры, какъ наиболѣе удобный видъ поэзіи для воздѣйствія на окружающее общество. „Россійскій Пиндаръ“ Ломоносовъ, страстный публицистъ, всю жизнь ратовавшій противъ „недоброхотовъ россійскихъ наукъ“, главнѣйшею цѣлью своей поэтической дѣятельности ставитъ распространеніе мысли о пользѣ просвѣщенія и умудряется съ успѣхомъ проводить ее даже въ такой, повидимому, мертвой поэтической формѣ, какъ написанная по всѣмъ правиламъ ложноклассическая ода. Чтобы легче было вліять на современную жизнь, Державинъ, не смогшій вполнѣ отрѣшиться отъ господствовавшаго направленія въ области лирики—псевдоклассической оды, вводитъ въ нее сатирическій элементъ и, облекая свои чувства въ форму оды-сатиры, то превозноситъ гуманныя свойства Екатерины II, то громитъ порочныхъ ея вельможъ. Сумароковъ устами героевъ своихъ трагедій старается внушить современникамъ здравыя понятія о различныхъ явленіяхъ жизни, выработанныя французской освободительной философіей XVIII-го вѣка. Такъ даже тѣ писатели, которые выбрали для себя наиболѣе оторванную отъ современной жизни форму поэтическаго творчества, какъ ода и трагедія сумѣли, несмотря на гнетъ ложноклассической теоріи, вліять при помощи своихъ произведеній на окружавшее ихъ общество.

Однако огромное большинство литературныхъ дѣятелей XVIII-го вѣка, особенно во вторую половину его, въ царствованіе Екатерины II, останавливается на тѣхъ видахъ словесныхъ произведеній, которые даютъ возможность безъ всякаго приспособленія, непосредственно вліять на жизнь. Сатира различныхъ видовъ, басня, комедія издавна были такими формами, и наши писатели охотно берутся за нихъ, давая тѣмъ исходъ все назрѣвающей въ русской поэзіи потреб-

ности откликаться на запросы текущей жизни. Вспомнимъ хотя бы небывалый ростъ сатирической литературы въ шестидесятые и семидесятые годы XVIII-го столѣтія, комедіи Фонвизина, Сумарокова, Екатерины II, басни, писавшіяся почти каждымъ писателемъ этого вѣка, и мы поймемъ, какъ мощно стремилась наша поэзія, при всемъ несовершенствѣ литературнаго языка и ничтожной цѣнности ея въ художественномъ отношеніи, стать живой силой жизни, направлять ее къ лучшимъ, болѣе возвышеннымъ цѣлямъ.

На ряду съ этимъ основнымъ свойствомъ русской литературы въ позапрошломъ вѣкѣ выступаютъ въ поэтическихъ произведеніяхъ проблески реализма, который все болѣе и болѣе влечетъ къ себѣ и читателей и авторовъ. Чѣмъ, какъ не безсознательнымъ влеченіемъ къ художественному реализму, объясняется своеобразный языкъ, соотвѣтствующій разговорной рѣчи, Кутейкина и Вральмана у Фонвизина, „подлыя“ слова въ одахъ Державина, цѣлыя изреченія, прибаутки и народныя пѣсни въ комической оперѣ Аблесимова: „Мельникъ колдунъ, обманщикъ и сватъ“.

Наконецъ, въ этомъ же вѣкѣ опредѣленно заявляютъ о себѣ еще два свойства нашей литературы: вниманіе къ народной жизни, которому суждено было позднѣе, въ XIX-мъ столѣтіи, стать однимъ изъ могущественнѣйшихъ источниковъ вдохновенія русскихъ поэтовъ, и, на ряду съ этимъ, забота о введеніи въ литературу національнаго элемента. Обѣ эти черты, взаимно переплетаясь, такъ что за ними удобнѣе всего слѣдить одновременно, къ концу XVIII-го вѣка очень опредѣленно сказываются въ дѣятельности нѣкоторыхъ писателей. Еще Тредьяковскій, при всемъ его увлеченіи французскимъ классицизмомъ, подъ вліяніемъ котораго онъ создалъ первую у насъ теорію псевдоклассическаго творчества, обратился къ народнымъ пѣснямъ, чтобы тамъ найти настоящую форму русскаго стиха. Сумароковъ, чуть ли не самый правовѣрный послѣ Ломоносова ложноклассикъ, создаетъ пѣсни въ народномъ стилѣ, а такіе писатели, какъ Аблесимовъ и мало извѣстный Василій Майковъ, сумѣли довольно удачно передать многія черты народнаго быта, первый—въ комической оперѣ „Мельникъ“, второй—въ поэмѣ „Елисѣй, или раздраженный Вакхъ“. Съ другой стороны выступилъ передъ глазами читателей современный народный бытъ въ сатирическихъ журналахъ Новикова и въ „Путешествіи изъ Петербурга въ Москву“ Радищева. Здѣсь уже прямо ставился вопросъ объ основномъ злѣ русской жизни—крѣпостномъ правѣ. Возмущенное чувство этихъ благородныхъ дѣятелей рисуетъ страшныя картины народной бѣдности, невѣжества и страданія. Наряду съ горячей проповѣдью человѣколюбія Новикова и Радищева, которые, впрочемъ, особенно послѣдній, жестоко поплатились за слишкомъ неумѣренный для того времени тонъ обличенія, въ послѣднюю четверть XVIII-го вѣка интересъ къ народу выражался и въ другой нѣсколько своеобразной формѣ—въ большомъ распространеніи различныхъ сборниковъ народныхъ пѣсенъ лирическаго и эпическаго характера и въ попыткѣ нѣкоторыхъ писателей, какъ, напримѣръ, Дмитріева и Карамзина, подражать народному безыскусственному творчеству.

Всѣ указанныя особенности русской литературы, развивавшіяся въ ней, въ значительной мѣрѣ, независимо отъ иностранныхъ вліяній, постепенно содѣйствовали росту ея самобытности и расширяли кругъ ея содержанія. Появленіе этихъ осо-

бенностей нужно признать тѣмъ болѣе знаменательнымъ, что роль писателя въ обществѣ и взгляды на поэзію даже у лучшихъ представителей литературы были таковы, что почти исключали возможность развитія въ литературѣ живительнаго единенія съ современностью и воздѣйствія на эту послѣднюю. Каково было общественное положеніе писателя, можно судить по горемычной долѣ Василія Кирилловича Тредьяковскаго, выносившаго не разъ незаслуженныя оскорбленія, вплоть до избіенія палкою, отъ сильныхъ міра, ставившихъ ни во что его знанія и литературную дѣятельность. Что касается до теоретическихъ взглядовъ на значеніе поэзіи въ періодъ ложнаго классицизма, то они вполнѣ опредѣляются, кромѣ извѣстной похвалы Державина, Екатеринѣ за то, что она цѣнитъ поэзію, „какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ“, замѣчаніемъ того-же Тредьяковскаго, изображавшаго поэзію, какъ пріятную забаву, которая можетъ служить въ литературѣ „фруктами и конфектами на богатый столъ по твердыхъ кушаніяхъ“.

Тѣмъ не менѣе, не взирая на унизительную роль, какую играли въ сознаніи общества писатель и поэзія, литература такъ разрослась количественно и качественно, столько восприняла въ себя различнаго рода идей и настроеній, частью проникшихъ съ Запада, частью развившихся на русской почвѣ, что ложный классицизмъ во второй половинѣ вѣка далеко не охватывалъ собою всѣхъ ея явленій, хотя и оставался наиболѣе виднымъ, бросающимся въ глаза теченіемъ.

Такимъ образомъ, усвоивъ отъ западныхъ сосѣдей опредѣленныя литературныя теоріи, не имѣвшія ничего общаго съ естественнымъ ходомъ развитія Россіи, наша литература XVIII-го вѣка, опираясь на эти теоріи, выработала опредѣленный языкъ и слогъ, проникласъ тѣми идеями, которыми жили передовые люди эпохи, отчасти подъ вліяніемъ ихъ, отчасти совсѣмъ самостоятельно получила народно-національную окраску и значительно развила исконную черту свою—стремленіе къ общественному учительству. Вмѣстѣ съ тѣмъ она постепенно освобождалась отъ иноземнаго вліянія, сближаясь съ современной русской жизнью. Всѣ эти черты не достигли однако полной силы въ XVIII-мъ столѣтіи, и на долю первыхъ дѣсятилѣтій XIX-го вѣка выпала задача завершить процессъ развитія, столь интенсивно проявившійся въ предшествовавшемъ столѣтіи.

Вѣрные этой исторической задачѣ писатели начала прошлаго вѣка энергично продолжаютъ дѣло, завѣщанное имъ ихъ предшественниками. Чтобы достигнуть полнаго сближенія съ жизнью, стать органическимъ проявленіемъ ея, литература и въ частности поэзія, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, должна была, прежде всего, развить свое самосознаніе, опредѣлить цѣли и значеніе своего существованія. Эту задачу берутъ на себя два замѣчательныхъ дѣятеля литературы начала XIX-го столѣтія—Карамзинъ и Жуковскій, изъ которыхъ первый пріобрѣлъ извѣстность на литературномъ поприщѣ еще въ концѣ предыдущаго вѣка. Ихъ точка зрѣнія на поэзію ничего общаго не имѣетъ съ тѣми взглядами, какіе существовали на этотъ счетъ среди представителей литературы XVIII-го вѣка. Въ 1792 году Карамзинъ помѣстилъ въ своемъ „Московскомъ Журналѣ“ стихотвореніе: „Поэзія“, гдѣ въ такихъ словахъ опредѣляетъ великое значеніе поэтическаго творчества: „во всѣхъ, во всѣхъ странахъ поэзія святая наставницей людей, ихъ счастіемъ была; вездѣ она сердца любовью согрѣвала“. Въ статьѣ: „Что нужно авто-

ру", написанной въ слѣдующемъ году, необходимымъ свойствомъ писателя онъ считаетъ способность возвыситься душою до страсти къ добру, „питать въ себѣ святое, никакими сферами не ограниченное желаніе всеобщаго блага". Такимъ образомъ, на ряду съ признаніемъ за поэзіей высокаго нравственнаго и эстетическаго значенія, Карамзинъ въ то-же время совершенно послѣдовательно предъявляетъ серьезныя требованія къ личности поэта. Эти взгляды Карамзина, явившіеся у него результатомъ изученія англійскихъ и нѣмецкихъ поэтовъ, совпадаютъ въ своей сущности съ тѣми мнѣніями, которыя высказывались на этотъ счетъ послѣдующими нашими писателями до Л. Н. Толстого включительно. Жуковскій, выступившій вслѣдъ за Карамзинымъ на литературное поприще, подобно ему, ставитъ высоко значеніе поэзіи, которая, по его опредѣленію, „есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли..., небесной религіи сестра земная; свѣтлый маякъ, самимъ Создателемъ зажженный, чтобъ мы во тьмѣ житейскихъ бурь не сбились съ пути".

Съ именами Карамзина и Жуковскаго связано появленіе двухъ новыхъ направленій въ нашей литературѣ, навѣянныхъ Западомъ,—сантиментализма и романтизма. Хотя оба они были чуждыми русской жизни, однако, въ общемъ, все-же благопріятно повліяли на общій ходъ литературнаго развитія. Сантиментализмъ, при всѣхъ его уродливыхъ крайностяхъ, сближалъ литературу съ жизнью изображеніемъ обыденной, будничной дѣйствительности, стремленіемъ воздѣйствовать на чувство читателя оказывалъ нѣкоторое гуманизирующее вліяніе на общественную среду, а связанная съ нимъ реформа книжнаго языка освободила нашу литературу отъ тѣхъ неестественныхъ правилъ трехъ штилей, которые были навязаны ей Ломоносовымъ.

Что касается до романтизма, то историческая роль его гораздо значительнѣе. Онъ впервые открылъ русскому читателю міръ благородной мечты, впервые у насъ заговорилъ объ идеалахъ и пробуждалъ въ чуткихъ душахъ возвышенные порывы и стремленія. Подъ вліяніемъ этого теченія прежнія безсознательныя симпатіи къ національному элементу въ поэзіи получили болѣе опредѣленную форму. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ взялъ на себя, въ лицѣ Жуковскаго, чисто учительную роль—ознакомить читающее общество въ прекрасныхъ переводахъ съ лучшими поэтическими созданіями всего міра. Одновременно съ этимъ шла выработка языка и стиля, въ особенности стихотворнаго, и усвоеніе новыхъ, еще незнакомыхъ поэтическихъ формъ, т. е. довершалось дѣло, начатое въ предыдущемъ столѣтіи.

Между тѣмъ, у тѣхъ писателей, которые въ большей или меньшей степени были чужды вліянія господствовавшихъ иноземныхъ теченій, какъ Крыловъ и Грибоѣдовъ, замѣчается большой шагъ впередъ во всѣхъ отношеніяхъ. Въ ихъ дѣятельности литературное творчество занимаетъ подобающее ему высокое мѣсто и въ художественномъ, и въ общественномъ смыслѣ. Крыловъ возводитъ до степени совершенства русскую басню, въ которой не знаешь, чему больше удивляться: художественной красотѣ и правдѣ языка и образовъ, мастерски переданному національному элементу или огромному значенію ихъ въ общественномъ отношеніи не только для современниковъ баснописца, но и для далекаго потомства. Грибоѣдовъ своей безсмертной комедіей, блестяще отразившей современную автору борьбу не вполнѣ оформившагося стремленія къ новымъ, свѣтлымъ идеаламъ жизни съ застарѣлымъ обскурантизмомъ и мыслебоязнью, далъ образцовое съ точки зрѣнія художественно-реальнаго направленія произведеніе, заслуживающее занять мѣсто въ ряду

міровыхъ созданій искусства. Вліяніе Мольера, сказавшееся отчасти на комедіи Грибоѣдова, такъ незначительно и, главное, въ такой мѣрѣ претворено творческимъ геніемъ автора, что не можетъ служить препятствіемъ признавать „Горе отъ ума“ въ значительной мѣрѣ самобытнымъ произведеніемъ.

Таковы въ краткомъ, сжатомъ очеркѣ важнѣйшія литературныя явленія первыхъ десятилѣтій девятнадцатаго вѣка. Въ нихъ видно дальнѣйшее развитіе многихъ здоровыхъ свойствъ нашей литературы, служащихъ залогомъ преуспѣянія и роста ея въ тѣсномъ единеніи съ жизнью, для которой она издавна служила путеводной звѣздой. Но въ тоже время замѣчается, хотя въ меньшей степени, чѣмъ прежде, давнишняя отрицательная особенность ея—зависимость отъ болѣе сильныхъ въ культурномъ отношеніи сосѣдей, такъ сказать, духовное рабство. Правда, еще въ XVIII-мъ столѣтіи, вскорѣ послѣ того, какъ наша молодая свѣтская литература попала подъ иго ложнаго классицизма, отдѣльные писатели, какъ Сумароковъ, Державинъ и другіе, пытались освободиться отъ иноземнаго ярма, но эти попытки были незначительны и едва пробивали ничтожную брешь въ толстой стѣнѣ чуждаго вліянія. По мѣрѣ роста и развитія литературы брешь эта, однако, становилась больше, и нѣкоторымъ писателямъ, какъ, напримѣръ, Крылову и Грибоѣдову, удалось выйти на вольный воздухъ и проявить самобытное творчество, но это освобожденіе отдѣльныхъ поэтовъ отъ иностраннаго вліянія далеко не было всеобщимъ освобожденіемъ. Въ то время, когда появились первыя басни Крылова, а Грибоѣдовъ работалъ надъ своей комедіей въ русской литературѣ господствовало цѣлыхъ три иноземныхъ направленія, ничего общаго не имѣвшихъ съ русской жизнью, являвшихся чѣмъ-то наноснымъ, чуждымъ ей. Это былъ отживавшій, но все-же имѣвшій не мало сторонниковъ ложный классицизмъ, сантиментализмъ и отголоски романтизма, только что занесенные къ намъ съ Запада Жуковскимъ. Вся эта смѣсь разнородныхъ направленій, постоянные споры между сторонниками ихъ вселяли путаницу въ умы молодыхъ писателей и мѣшали правильному ходу развитія ихъ талантовъ. Конецъ этому ненормальному явленію положилъ Пушкинъ, освободившій нашу литературу отъ тяготѣвшихъ надъ нею иноземныхъ вліяній и направившій ее по пути національнаго реально-художественнаго творчества.

Значеніе Пушкина въ исторіи нашего литературнаго роста настолько огромно, что будетъ вполнѣ справедливымъ всю русскую поэзію дѣлить на два періода: подражательный—до Пушкина и самобытный—начиная съ него. Первый охватываетъ собою длинный промежутокъ времени—восемь вѣковъ и является какъ-бы подготовительной ступенью къ тому направленію русской литературы, какое воцарилось въ ней со времени Пушкина; второй продолжается и теперь и, хотя имѣетъ въ своей исторіи менѣе одного столѣтія, однако насчитываетъ цѣлый рядъ выдающихся писателей, инымъ изъ которыхъ суждено было сыграть немаловажную роль въ развитіи западно-европейской мысли и художественнаго творчества. Стоя на рубежѣ этихъ двухъ столь рѣзко отличающихся другъ отъ друга періодовъ, Пушкинъ первой половиной своей дѣятельности примыкаетъ къ старому литературному вѣку, переживая нѣкоторыя теченія прошедшаго: начиная-же съ половины двадцатыхъ годовъ онъ кладетъ прочное основаніе дальнѣйшему ходу нашей поэтической мысли, „Пушкинъ,—говоритъ новѣйшій историкъ русской литературы академикъ А. Н.

Пыпинъ,—завершалъ старый періодъ и сдавалъ его въ архивъ, но былъ связанъ съ нимъ на первыхъ шагахъ своего личнаго воспитанія, и когда вступилъ самъ и вводилъ литературу на путь, повидимому, совершенно новый, залогъ его успѣха заключался въ томъ, что онъ геніально извлекъ изъ этого прошедшаго всю здоровую и цѣнную сущность его стремленій,—чѣмъ и устранилъ его исторически,—и повелъ дѣло дальше, поставивъ сознательно новыя задачи".

На первомъ періодѣ творчества Пушкина, считая его до 1824 года, когда опальный поэтъ поселился въ Михайловскомъ, въ значительной мѣрѣ лежитъ отпечатокъ тѣхъ поэтическихъ школъ, которыя въ то время держали въ опекѣ русскую литературу, а также отдѣльныхъ писателей какъ отечественныхъ, такъ и иноземныхъ. Молодой поэтъ пробуетъ разные аккорды музы своего вѣка, но не останавливается долго ни на одномъ изъ нихъ. Изслѣдователи дѣятельности Пушкина въ этотъ періодъ указываютъ цѣлый рядъ источниковъ его вдохновенія какъ въ русской, такъ въ западно-европейской, главнымъ образомъ, французской литературѣ. Отъ легкомысленно-жизнерадостныхъ стихотвореній съ оттѣнкомъ эротизма во вкусѣ Парни онъ переходитъ къ мишурному блеску ложноклассической музы въ духѣ хвалебныхъ одъ еще непотерявшаго тогда своего обаянія „пѣвца Екатерины" и тутъ-же одновременно вдохновляется мечтательной поэзіей Жуковскаго; во время четырехъ-лѣтняго пребыванія на югѣ Россіи, онъ испытываетъ довольно сильное вліяніе творчества „властителя думъ" лучшихъ людей того времени—англійскаго поэта Байрона, и т. п.

Но съ первыхъ-же шаговъ его на литературномъ поприщѣ сквозь пестрый нарядъ чужихъ идей, формъ и настроеній довольно явственно начинаетъ проглядывать свое самобытное начало, которое, какъ сказочный богатырь, растетъ не по днямъ, а по часамъ, мощно оттѣсняя на второй планъ, а потомъ и совсѣмъ подавляя все чужое, неоригинальное. Такія произведенія, какъ написанныя во время пребыванія въ лицеѣ „Городокъ" и „Сонъ", свидѣтельствуютъ о проявленіи этой самобытности еще въ очень раннемъ періодѣ его творчества несмотря на то, что весь складъ его жизни и развитія долженъ былъ очень сильно препятствовать этому. Совершенно оригинальное, добродушно-насмѣшливое трактованіе въ „Русланѣ и Людмилѣ" романтическихъ мотивовъ указываетъ на самостоятельное отношеніе къ тому литературному теченію, представителемъ котораго былъ одинъ изъ наиболѣе уважаемыхъ и любимыхъ Пушкинымъ поэтовъ его времени. Развѣнчаніе устами стараго цыгана героя въ байроническомъ духѣ Алеко служитъ показателемъ, насколько сумѣлъ Пушкинъ отнестись, въ концѣ концовъ, критически-объективно даже къ тому писателю, мощнымъ геніемъ котораго, онъ, по его собственному, хотя нѣсколько гиперболическому выраженію, былъ одно время заполоненъ. Всякіе счеты съ вліяніемъ Байрона въ его поэзіи были закончены совершенно по пріѣздѣ въ Михайловское, о чемъ свидѣтельствуютъ его замѣтки, гдѣ творецъ „Чайльдъ-Гарольда" названъ поэтомъ безнадежнаго эгоизма. Тамъ же въ тиши удиненія, подъ сѣнью михайловскихъ рощъ, какъ бы для того, чтобы окончательно раздѣлаться съ прежними кумирами, идетъ переоцѣнка литературнаго наслѣдія XVIII-го вѣка, главнымъ образомъ, въ лицѣ представителей псевдо-классической музы. Дополненная нѣсколько лѣтъ спустя эта спокойная, но безпощадная критика старыхъ поэтическихъ законодателей показываетъ, какъ великъ былъ въ Пушкинѣ здравый литера-

турный вкусъ, руководившій самобытной творческой силой. „Въ Ломоносовѣ,—пишетъ онъ,—нѣтъ ни чувства, ни воображенія. Оды его... утомительны и надуты. Его вліяніе на словесность было вредное и до сихъ поръ въ ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращеніе отъ простоты и точности, отсутствіе всякой народности и оригинальности—вотъ слѣды, оставленные Ломоносовымъ". О Сумароковѣ онъ говоритъ какъ о „несчастнѣйшемъ изъ подражателей". Изъ Державина, который, по его мнѣнію, „не зналъ ни русской грамоты, ни русскаго языка", „должно сохранить... одъ восемь да нѣсколько отрывковъ, а остальное сжечь". Вообще, его тонкое художественное чутье оскорбляется, главнымъ образомъ, отсутствіемъ мѣры въ подраженіи. Его, напримѣръ, непріятно поражаетъ у Батюшкова, который, кстати сказать, тоже оказалъ свое вліяніе на лицейскія стихотворенія, „слишкомъ явное смѣшеніе древнихъ обычаевъ миѳологіи съ обычаями жителя подмосковной деревни". Такъ, постепенно сдавая въ архивъ то, что отжило свой вѣкъ, Пушкинъ вырабатывалъ свой путь реально-художественнаго творчества, развивая тѣ здоровыя зерна нашей литературы, которыя были сознательно посѣяны его предшественниками или же органически, несмотря ни на какія препятствія, возникали на ея нивѣ, заросшей разнаго рода сорными травами.

Посмотримъ, въ какомъ видѣ передалъ Пушкинъ потомству, пропустивъ черезъ горнило своей творческой мысли, тѣ лучшіе завѣты, которые онъ воспринялъ отъ предшествовавшихъ литературныхъ поколѣній.

Выше было указано, какъ на одну изъ особенностей допушкинскаго періода русской литературы, на стремленіе ея къ реализму, отъ времени до времени проглядывавшее въ дѣятельности отдѣльныхъ писателей. Инымъ изъ нихъ реально-художественное воспроизведеніе жизни удавалось въ большей степени, другимъ въ меньшей, но никто не обладалъ въ такой мѣрѣ творческимъ геніемъ, чтобы быть въ состояніи примѣнить этотъ пріемъ ко всѣмъ способамъ поэтическаго изображенія дѣйствительности. Пушкинъ первый далъ высокаго совершенства образцы во всѣхъ трехъ видахъ поэзіи. Его лирика, чуждая всякой искусственности, поражающая удивительной простотой формы и правдивостью чувства, передаетъ самые разнообразные оттѣнки различныхъ настроеній человѣческаго сердца. Подъ его перомъ художественное выраженіе міра чувствъ достигло такой высоты, что его лирическія произведенія до сихъ поръ служатъ лучшимъ образцомъ для тѣхъ поэтовъ, творчество которыхъ находитъ себѣ пищу въ этой области. Что касается до эпическаго воспроизведенія жизни, то своимъ „Евгеніемъ Онѣгинымъ" Пушкинъ положилъ начало реальному русскому роману, а „Повѣсти Бѣлкина" и „Капитанская дочка" послужили образцами такой-же повѣсти изъ современной и прошлой русской жизни. Отъ его „Бориса Годунова" идетъ наша истинно-художественная трагедія. Таковы важнѣйшія созданія Пушкина, послужившія фундаментомъ реализма русской поэзіи. На ряду съ ними въ области эпоса и драмы имъ написано еще не мало разнаго рода художественныхъ произведеній реальнаго направленія, которыя вмѣстѣ съ указанными выше заложили прочное основаніе новому періоду нашей литературы.

Въ области выработки литературнаго самосознанія, опредѣленія назначенія и цѣли поэтическаго творчества Пушкинъ также внесъ свою большую лепту въ нашу словесность. Въ зависимости отъ историческаго хода развитія взглядовъ на поэта и

поэзію его мысль въ этой области работаетъ въ двухъ направленіяхъ: съ одной стороны, онъ стремится возвысить личность поэта, отстоять независимость его творчества отъ суетныхъ побужденій будничной жизни, а съ другой—опредѣлить отношенія поэзіи къ текущей дѣйствительности. Большинство изслѣдователей, разсматривая вопросъ о взглядахъ Пушкина на поэта и его творчество, обыкновенно обращаетъ вниманіе только на первую часть его и вслѣдствіе этого впадаетъ въ большое заблужденіе, относя Пушкина къ представителямъ такъ называемаго чистаго искусства. Въ этомъ случаѣ обыкновенно ссылаются на такія стихотворенія, какъ „Чернь“, „Поэту“, въ которыхъ видятъ выраженіе поэтическаго proffession de foi Пушкина, его взгляда на отношеніе поэта и его творчества къ жизни. Основываясь на нихъ, они, въ зависимости отъ своихъ личныхъ убѣжденій, то превозносятъ его, какъ поэта искусства для искусства, то строятъ цѣлую систему обвиненій, говоря, будто онъ отрѣшалъ себя отъ общества, уединялся въ своемъ поэтическомъ призваніи отъ нуждъ и стремленій современной жизни. Біографическія изслѣдованія въ достаточной степени выяснили, насколько выраженныя въ этихъ стихотвореніяхъ идеи являются результатомъ гнѣвнаго протеста Пушкина противъ того посягательства на внутреннюю свободу художественнаго творчества, которое было прямымъ слѣдствіемъ зависимаго положенія поэта въ русской жизни XVIII-го и начала XIX-го столѣтія. Въ порывѣ негодованія и раздраженія противъ черни въ умственномъ смыслѣ слова, которыя сквозятъ въ каждой строкѣ этихъ стихотвореній, особенно перваго, а не въ спокойномъ, созерцательномъ состояніи духа, онъ договаривается до извѣстныхъ стиховъ: „не для житейскаго волненія“ и т. д. Нужно было именно такое рѣзкое, нѣсколько гиперболическое выраженіе мысли о высокомъ, царственномъ значеніи свободы поэтическаго творчества, чтобы оградить его отъ посягательствъ всякаго рода „черни“, прикрывавшейся внѣшнимъ лоскомъ цивилизаціи. Параллельно съ этимъ въ цѣломъ рядѣ стихотвореній, написанныхъ въ различные періоды жизни, въ большинствѣ случаевъ, въ спокойномъ уединеніи, настойчиво развивается мысль о тѣсномъ, органическомъ единеніи искусства и жизни, о назначеніи поэзіи „тревожить сердца“, „жечь“ ихъ „божественнымъ глаголомъ“. Поэтъ, по его представленію, есть эхо, откликающееся на всѣ звуки въ природѣ и жизни, всему посылающее свой привѣтъ; его назначеніе въ томъ, чтобы „возславлять свободу“, „призывать милость къ падшимъ“ и, вообще, будить въ человѣческой душѣ добрыя чувства.

Эта мысль объ учительной роли искусства, явившаяся результатомъ отвлеченныхъ размышленій, нашла себѣ яркое выраженіе во всей поэтической дѣятельности Пушкина, начиная съ лицейскихъ стихотвореній, вплоть до произведеній послѣдняго года его жизни. Еще въ лицеѣ молодой шестнадцатилѣтній поэтъ пишетъ сатиру въ ювеналовомъ духѣ: „Лицинію“, которую современники не задумываясь пріурочили къ Аракчееву. Нѣсколько позднѣе, въ 1819-мъ году, когда онъ въ большинствѣ своихъ произведеній былъ беззаботнымъ пѣвцомъ „Киприды, Вакха и Эрота“, у него въ минуту душевнаго просвѣтленія создается замѣчательнѣйшая элегія: „Уединеніе“ (Деревня), доказывающая, какъ сильно было уже тогда развито у него пониманіе окружавшей жизни и негодованіе на темныя стороны ея. Во второй части этого стихотворенія съ поразительной силой въ немногихъ желѣзныхъ стихахъ рисуетъ Пушкинъ ужасное положеніе своей родины, „гдѣ барство дикое безъ чувства,

безъ закона присвоило себѣ насильственной лозой и трудъ, и собственность, и время земледѣльца". Оканчивается оно извѣстными безсмертными стихами, впервые съ такой силой выразившими голосъ пробудившейся совѣсти русскаго помѣщика—рабовладѣльца:

Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ-ли, наконецъ, прекрасная заря!

Чтобы оцѣнить все значеніе этого стихотворенія, необходимо вспомнить, что мысль объ уничтоженіи крѣпостного права едва-едва тогда нарождалась въ русскомъ обществѣ, и огромное большинство даже лучшихъ людей того времени не видѣло всего страшнаго зла и позора, создаваемыхъ рабовладѣльчествомъ. И впослѣдствіи, въ произведеніяхъ зрѣлаго періода, Пушкинъ неоднократно касался вопроса о положеніи народа подъ властью помѣщиковъ. Цѣлый рядъ отдѣльныхъ мелкихъ штриховъ въ „Евгеніи Онѣгинѣ" и другихъ большихъ и малыхъ сочиненіяхъ даютъ, въ общемъ, довольно живую и яркую картину народной жизни въ первыя десятилѣтія XIX-го вѣка. Но особенно полно изображена, можно сказать, цѣлая эпоха крѣпостничества въ „Лѣтописи села Горохина". Такъ отразилъ Пушкинъ въ своемъ творчествѣ выникшій въ XVIII-мъ вѣкѣ въ нашей литературѣ интересъ къ изображенію народной жизни. Въ свой „желѣзный вѣкъ" онъ не побоялся указать русскому обществу въ цѣломъ рядѣ произведеній на „тягостный яремъ" народа.

Но не только крѣпостное право останавливало на себѣ вниманіе Пушкина и вызывало отклики его поэзіи. Множество темныхъ сторонъ тогдашней русской дѣйствительности отъ мистическаго настроенія князя А. Н. Голицына до скалозубовскихъ идеаловъ Аракчеева заклеймено ядовитымъ стихомъ его эпиграммы, изобличающимъ въ авторѣ глубокую степень возмущеннаго чувства.

Что, какъ не такой-же откликъ на современную русскую жизнь, представляетъ собою „Кавказскій плѣнникъ", первое произведеніе, въ которомъ Пушкинъ попытался изобразить коренной типъ русскаго общества? Какъ русская жизнь въ теченіи долгаго времени не могла отдѣлаться отъ впервые намѣченнаго въ этой поэмѣ типа „скитальца по русской землѣ", какъ его опредѣлилъ Достоевскій, такъ и Пушкинъ все болѣе и болѣе разрабатывалъ его въ „Цыганахъ" и особенно въ „Евгеніи Онѣгинѣ", гдѣ онъ предсталъ во весь ростъ и послужилъ родоначальникомъ цѣлаго ряда литературныхъ образовъ.

Да и весь этотъ романъ, со всей галлереей созданныхъ въ немъ типовъ, есть не что иное, какъ геніальный откликъ великаго русскаго поэта на родную современность. То-же самое нужно сказать и о написанныхъ прозой повѣстяхъ Пушкина, въ которыхъ затрагиваются различныя, часто темныя стороны того времени и затрагиваются такъ, что ясно чувствуешь, какъ относился къ нимъ поэтъ, ненавидѣвшій всякую неправду и униженіе личности. Насколько сильно чувствовалъ онъ недостатки домашняго и общественнаго строя русскаго общества въ то время, видно, между прочимъ, и изъ того, что сюжеты самыхъ замѣчательныхъ произведеній Гоголя: „Ревизора" и „Мертвыхъ душъ" были получены имъ отъ Пушкина.

Такимъ образомъ, въ теченіе своей короткой литературной дѣятельности Пушкинъ всегда стоялъ на стражѣ общественныхъ интересовъ, которые глубоко захва-

тывали его и находили себѣ отраженіе въ его поэтическихъ созданіяхъ. Въ этомъ отношеніи его дѣятельность является дальнѣйшимъ развитіемъ отмѣченнаго выше общаго характера русской литературы, выразившагося въ томъ, что русскіе писатели, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, никогда не замыкались въ чисто художественную сферу, а своими произведеніями сознательно хотѣли вліять на совершавшуюся вокругъ нихъ жизнь и направлять ее къ лучшему. Пушкинъ, какъ родоначальникъ новѣйшей русской литературы, гдѣ эта черта проглядываетъ съ особенной силой, чрезвычайно ярко отразилъ ее, несмотря на въ высшей степени неблагопріятныя цензурныя и общественныя условія.

Давши въ своемъ творчествѣ поразительную по широтѣ захвата картину современной и прошлой русской дѣйствительности, Пушкинъ въ то же время расширилъ содержаніе русской поэзіи и въ другомъ отношеніи, показавъ, что ей доступно реально-художественное воспроизведеніе иноземной жизни и такія стороны человѣческаго духа, которыя были чужды до того времени русскому человѣку. Эта „всечеловѣчность“ Пушкина имѣла большое значеніе для роста нашей литературы, ибо теперь послѣдняя входила въ кругъ старѣйшихъ литературъ западно-европейскихъ не какъ раболѣпная ученица, а какъ равноправный членъ, вносящій свою долю въ сокровищницу мірового поэтическаго творчества.

Наконецъ, въ поэзіи Пушкина нашли себѣ яркое выраженіе еще двѣ характерныя черты русской поэзіи, проявившіяся впослѣдствіи во всей силѣ въ творчествѣ писателей XIX-го вѣка. Черты эти опредѣлены самимъ Пушкинымъ въ извѣстныхъ стихахъ „Памятника“, гдѣ поэтъ, между прочимъ, ставитъ себѣ въ заслугу, что онъ въ свой „жестокій вѣкъ возславилъ свободу и милость къ падшимъ призывалъ“. Протестъ противъ угнетенія личности, въ какой бы формѣ оно ни обнаруживалось, и самая широкая гуманность, сказывающаяся въ тепломъ, сердечномъ отношеніи къ „падшимъ“, порочнымъ людямъ, свѣтлой полосой проходятъ черезъ творчество Пушкина и находятъ себѣ широкій просторъ въ дѣятельности послѣдующихъ писателей.

Изъ немногихъ замѣчаній, сдѣланныхъ выше о значеніи творчества Пушкина, можно судить о той огромной роли, какую сыграла его дѣятельность въ историческомъ ходѣ развитія нашей литературы. Пушкина справедливо уподобляютъ Петру Великому и примѣняютъ къ нему слова, сказанныя Неплюевымъ о великомъ преобразователѣ: „на что въ Россіи ни взгляни, все его имѣетъ началомъ, и что-бы впредь ни дѣлалось, отъ сего источника черпать будутъ“. Дѣйствительно, въ дѣятельности этого колоссальнаго поэтическаго генія коренятся зачатки цѣлаго ряда послѣдующихъ явленій русской литературы. Не говоря уже о томъ, что ему мы обязаны водвореніемъ въ нашей поэзіи художественнаго реализма, который до сихъ поръ полновластно царитъ въ ней, отъ него ведетъ начало поэтической разработки такихъ явленій, идей и настроеній русской жизни, которыя, по справедливости, могутъ считаться основными въ развитіи нашего общества въ XIX-мъ столѣтіи. Пушкинъ первый изъ русскихъ поэтовъ подвергъ анализу недовольство жизнью, грусть и тоску, которыя стали характерными чертами русскаго образованнаго человѣка прошлаго столѣтія. Какъ-бы предчувствуя, какую большую роль суждено играть этимъ настроеніямъ въ нашей общественной жизни, онъ разрабатывалъ ихъ въ нѣ-

сколькихъ поэтическихъ образахъ и въ лирическихъ стихотвореніяхъ. Типъ идеальной русской женщины также впервые нашелъ себѣ воплощеніе въ его творчествѣ въ образѣ Татьяны Лариной, прототипа многихъ аналогичныхъ образовъ у послѣдующихъ писателей. Лермонтовскій скептицизмъ, вниманіе къ западному славянскому міру, художественный интересъ къ родной старинѣ, симпатія къ народной жизни и поэзіи—все это коренится во многообъемлющемъ творчествѣ Пушкина. Въ этомъ случаѣ особенно цѣнными являются признанія послѣдующихъ кориѳеевъ русской литературы, ставящихъ свою дѣятельность въ непосредственную связь съ его поэзіей. Такъ, по словамъ Гоголя, сюжеты двухъ главнѣйшихъ его произведеній: „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“ были внушены ему Пушкинымъ; творя что-либо, онъ всегда мысленно считался съ тѣмъ, какъ посмотрѣлъ-бы на это его великій учитель. Тургеневъ называлъ себя ученикомъ Пушкина и признавалъ, что русскимъ писателямъ остается только итти по пути, проложенному его геніемъ. По мнѣнію Гончарова, „Пушкинъ—отецъ, родоначальникъ русскаго искусства, какъ Ломоносовъ—отецъ науки въ Россіи. Въ Пушкинѣ кроются всѣ сѣмена и зачатки, изъ которыхъ развились потомъ всѣ роды и виды искусства во всѣхъ нашихъ художникахъ“.

Такъ Пушкинъ, впитавъ въ себя всѣ плодотворные элементы предшествовавшаго литературнаго развитія, геніально намѣтилъ новый путь творчества для послѣдующихъ художниковъ слова.

То, что было создано или намѣчено имъ, но не успѣло еще проникнуть въ общее литературное сознаніе, нашло себѣ дальнѣйшее развитіе и выраженіе въ творчествѣ Гоголя, завѣршившаго своей дѣятельностью кругъ тѣхъ идей, которыя легли въ основу новѣйшей русской литературы.

Вмѣстѣ съ Пушкинымъ Гоголь дѣлитъ славу водворенія въ русской литературѣ художественно-реальнаго направленія. Благодаря особенностямъ своего таланта, онъ, какъ и Пушкинъ, вполнѣ самостоятельно, ни у кого не учась, выступилъ на путь художественнаго реализма. Уже въ первыхъ его произведеніяхъ, несмотря на присутствіе въ нихъ въ значительной степени фантастическаго элемента, чуется мощный размахъ реальнаго творчества. Позднѣе съ особенной силой выступила эта черта въ „Миргородѣ“, петербургскихъ повѣстяхъ и особенно въ „Ревизорѣ“ и „Мертвыхъ душахъ“. Съ появленіемъ этихъ произведеній, когда ихъ значеніе было блестяще истолковано Бѣлинскимъ, невозможно было русской литературѣ не послѣдовать по пути, проложенному Пушкинымъ и Гоголемъ. Нападки отсталыхъ критиковъ, въ родѣ Булгарина, Сенковскаго и Полевого, не могли поколебать очевиднаго успѣха новаго направленія, которое съ сороковыхъ годовъ прошлаго вѣка воцаряется въ нашей литературѣ и даетъ такихъ титановъ художественнаго творчества, какъ Гончаровъ, Тургеневъ, Достоевскій, Левъ Толстой, Островскій. Связь творчества писателей сороковыхъ годовъ съ дѣятельностью Пушкина и Гоголя нашла себѣ формулировку въ извѣстномъ изреченіи Достоевскаго: „всѣ мы вышли изъ подъ гоголевской шинели“, сказанномъ имъ о своихъ литературныхъ сверстникахъ, а также въ заявленіи Гончарова о томъ, что школа пушкинско-гоголевская продолжается и въ его время, и всѣ беллетристы разрабатываютъ завѣщанный ими матеріалъ. Дѣйствительно, наша повѣсть и романъ послѣ Пушкина и Гоголя являются дальнѣйшимъ развитіемъ основныхъ пріемовъ и точекъ зрѣнія, установленныхъ ими и примѣненныхъ къ болѣе широкому кругу явленій.

Но если честь водворенія въ нашей литературѣ художественнаго реализма принадлежитъ Пушкину и Гоголю, а также ихъ блестящему истолкователю Бѣлинскому, то въ значительной мѣрѣ за однимъ Гоголемъ остается несомнѣнная заслуга въ томъ отношеніи, что онъ, идя по пути, намѣченному Пушкинымъ, далъ широкую картину, художественно изображающую отрицательныя стороны современной ему дѣйствительности, „всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога“. Здѣсь онъ пошелъ уже гораздо дальше Пушкина, который открыто признавалъ его преимущество въ этомъ отношеніи, когда заявилъ о Гоголѣ, что еще ни у одного писателя не было способности такъ ярко выставлять пошлость жизни, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ взора наблюдателя, бросилась крупно въ глаза всѣмъ.

Изображая „выпукло и ярко“, въ скорбномъ освѣщеніи юмористическаго отношенія къ жизни, „пошлость пошлаго человѣка“, Гоголь тѣмъ самымъ могущественнымъ образомъ заставилъ русское общество оглянуться на себя, задуматься надъ тѣмъ строемъ жизни, который въ такомъ ужасномъ видѣ предсталъ передъ глазами, благодаря могучему таланту поэта пошлости. Самъ Гоголь, вслѣдствіе вліянія окружавшихъ его лицъ, особенно кружка жуковскаго и московскихъ славянофиловъ, при всей своей рѣдкой способности къ анализу отрицательныхъ сторонъ жизни, останавливался на полдорогѣ въ объясненіи причинъ той печальной картины родного болота, какую создало его вѣрное дѣйствительности творческое воображеніе. Онъ видѣлъ ихъ исключительно въ низкомъ нравственномъ уровнѣ отдѣльныхъ личностей, что же касается до общественнаго строя, то онъ признавалъ его вполнѣ хорошимъ. Но читатели Гоголя шли дальше его самого и справедливо видѣли корень зла не только въ несовершенствѣ отдѣльныхъ личностей, которыя въ большей или меньшей степени являются продуктомъ внѣшнихъ жизненныхъ условій, но и въ самихъ этихъ условіяхъ. Этимъ Гоголь болѣе, чѣмъ какой-либо другой изъ русскихъ писателей, способствовалъ признанію несостоятельности дореформенной жизни, пробуждалъ жажду новыхъ, болѣе разумныхъ и гуманныхъ порядковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, заставляя читателя задуматься надъ его личными недостатками, побуждалъ его приняться за трудную работу, безъ которой однако немыслимъ истинный прогрессъ,—за дѣло личнаго усовершенствованія. Страстный, захватывающій, чарующій лиризмъ, который въ неисчерпаемомъ количествѣ таился въ творческой душѣ Гоголя, овладѣвалъ читателемъ и заставлялъ его стремиться къ лучшей, болѣе разумной, возвышенной и свободной жизни. Такимъ образомъ, внушая своими твореніями критическое отношеніе къ господствовавшимъ устоямъ личной и общественной жизни, Гоголь блестяще продолжилъ давнишнюю работу русскихъ писателей—„глаголомъ жечь сердца людей“, вліять своимъ творчествомъ на окружающую дѣйствительность.

Тѣсное единеніе жизни и поэзіи, когда послѣдняя является могучимъ вождемъ къ свѣтлому идеалу добра и правды, шло у Гоголя рука объ руку съ завершеніемъ другой исторической задачи, поставленной русской литературой и въ значительной степени выполненной Пушкинымъ. Это—установленіе взгляда на писателя и его назначеніе. По глубокому убѣжденію Гоголя, поэтъ несетъ великую от-

вѣтственность передъ роднымъ народомъ за свой талантъ; онъ обязанъ всю свою жизнь, всѣ свои силы посвятить такому художественному творчеству, которое возможно болѣе благотворно вліяетъ на общество. Много разъ въ теченіе своей литературной дѣятельности Гоголь съ полной ясностью высказывалъ свой взглядъ на великую роль, какую беретъ на себя предъ обществомъ писатель, и на страшную моральную отвѣтственность, съ которой связана дѣятельность поэта—воспитателя читающей публики. Эти взгляды Гоголя, несомнѣнно, оказали не малое вліяніе на послѣдующихъ писателей сороковыхъ годовъ. Всѣ они, проникшись уваженіемъ къ Гоголю, какъ поэту, вмѣстѣ съ тѣмъ усвоили и его точку зрѣнія на писателя, какъ въ высшей степени важнаго общественнаго дѣятеля, который обязанъ весь отдаться на служеніе идеаламъ добра и правды. И если мы съ гордостью можемъ сказать, что наши лучшіе писатели—реалисты всегда высоко держали знамя литератора, какъ вождя общества, зачастую жертвуя за исповѣдуемыя убѣжденія своими личными интересами, то мы не должны забывать, что въ этомъ случаѣ они являются прямыми продолжателями Пушкина и Гоголя, поставившихъ на эту высоту званіе поэта.

Такъ дѣятельностью этихъ двухъ писателей было достигнуто дальнѣйшее развитіе здоровыхъ ростковъ нашей литературы, сохранившихъ свою жизненность вопреки многимъ неблагопріятнымъ обстоятельствамъ предшествовавшихъ періодовъ. Благодаря имъ, прочно водворилось у насъ реально-художественное направленіе, создана самобытность нашей поэзіи и установлена для нея опредѣленная нравственно-общественная задача. Послѣдующіе писатели послѣ-гоголевскаго періода нашей литературы, при всемъ разнообразіи своихъ дарованій и богатствѣ содержанія ихъ творчества, въ своей дѣятельности идутъ по пути, указанному этими двумя великими дѣятелями русскаго художественнаго слова. Основный тонъ ихъ творчества, по справедливому замѣчанію А. Н. Пыпина, критическій; „мотивы—изображеніе житейской пошлости, подавляющей нравственную жизнь, защита людей и цѣлыхъ общественныхъ классовъ, угнетаемыхъ безсердечіемъ и самыми общественными формами, указаніе человѣческаго достоинства или права человѣческой личности въ самыхъ скромныхъ существованіяхъ, забитыхъ условіями жизни, наконецъ, изображеніе того внутренняго страданія, которое выпадаетъ на долю людей, сознающихъ жизненную неправду и пытающихся на непосильную борьбу“. Во главѣ этого новѣйшаго періода русской литературы, когда она въ короткое время заняла мѣсто въ ряду старѣйшихъ литературъ Запада и служитъ предметомъ удивленія всего образованнаго міра, долженъ быть поставленъ Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій, которому и посвящается ниже первый очеркъ.

Въ чемъ заключаются особенности духовной организаціи писателя, избравшаго себѣ, какъ всѣ разсматриваемые ниже поэты, путь реально-художественнаго творчества, и какъ происходитъ самый процессъ такого творчества? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ послужитъ небольшой экскурсъ въ мало разработанную область психологіи поэтическаго творчества, являющійся здѣсь тѣмъ болѣе умѣстнымъ, что онъ прольетъ нѣкоторый свѣтъ на внутренній, скрытый отъ поверхностнаго читателя, но глубоко интересный духовный міръ писателей, творчество которыхъ сыграло огромную роль въ развитіи русскаго общественнаго самосознанія.

Первой характерной чертой, отличающей поэта отъ другихъ смертныхъ, является его необыкновенная впечатлительность, воспріимчивость. Многія явленія, мимо которыхъ пройдетъ, не замѣчая ихъ, обыкновенный человѣкъ, оставляютъ болѣе или менѣе глубокій слѣдъ въ нѣжной душѣ поэта. Это своего рода эолова арфа всей природы, зеркало совершающейся вокругъ него жизни. Поэтъ, по выраженію одного изъ братьевъ Гонкуръ, какъ полипъ своими щупальцами, втягиваетъ въ себя разнообразныя явленія жизни, иногда подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ заноситъ ихъ на бумагу, даже и не думая о той формѣ, какую онъ придастъ имъ въ своихъ произведеніяхъ. Всѣмъ, вѣроятно, памятно чудное уподобленіе души поэта эху, данное Пушкинымъ и сдѣлавшееся чуть не общимъ мѣстомъ, когда приходится говорить объ отзывчивости художниковъ слова. Менѣе извѣстно другое стихотвореніе русскаго поэта Баратынскаго, написанное на смерть Гете. Давая въ немъ восторженную характеристику умершаго „олимпійца“, Баратынскій въ красивыхъ, звучныхъ стихахъ указываетъ тѣмъ самымъ на отличительныя свойства всѣхъ міровыхъ поэтовъ.

Все духъ въ немъ питало: труды мудрецовъ,
Искусствъ вдохновенныхъ созданья,
Преданья, завѣты минувшихъ вѣковъ,
Цвѣтущихъ временъ упованья.
Мечтою по волѣ проникнуть онъ могъ
И въ нищую хату, и въ царскій чертогъ.
Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье;
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

На ту-же самую черту поэта—умѣть восчувствовать всѣ мельчайшіе оттѣнки и подробности совершающейся вокругъ жизни указываетъ и Гоголь въ началѣ VI главы первой части „Мертвыхъ душъ“. „Прежде, давно, въ лѣта моей юности, въ лѣта невозвратно мелькнувшаго моего дѣтства, мнѣ было весело подъѣзжать въ первый разъ къ незнакомому мѣсту... Всякое строеніе, все, что носило только на себѣ впечатлѣніе какой-нибудь замѣтной особенности,—все останавливало меня и поражало... ничто не ускользало отъ свѣжаго, тонкаго вниманія, и высунувши носъ изъ походной телѣги своей, я глядѣлъ и на невиданный дотолѣ покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики съ гвоздями, съ сѣрой, желтѣвшей вдали, съ изюмомъ и мыломъ, мелькавшіе изъ дверей овощной лавки вмѣстѣ съ банками высохшихъ московскихъ конфектъ, глядѣлъ и на шедшаго въ сторонѣ пѣхотнаго офицера, и на кушца, мелькнувшаго въ сибиркѣ на бѣговыхъ дрожкахъ, и уносился мысленно за ними въ бѣдную жизнь ихъ“.

Послѣднія слова Гоголя показываютъ, что необыкновенная воспріимчивость соединяется у поэта съ живымъ воображеніемъ, которое неустанно работаетъ, получивъ толчекъ въ томъ или иномъ направленіи.

Но богатое воображеніе и сильная впечатлительность, способность быстро и живо воспринимать въ мелочахъ окружающую дѣйствительность и сохранять болѣе или менѣе долго эти впечатлѣнія еще не дѣлаютъ поэта. Есть не мало людей, осо-

891
А-46

бешно въ нашъ нервный вѣкъ, которые отличаются тоже чрезмѣрной впечатлительностью, но никто не станетъ причислять ихъ къ такъ называемымъ художественнымъ натурамъ. Это чисто патологическая воспріимчивость, которую вѣдаютъ врачи по нервнымъ болѣзнямъ, и она имѣетъ такъ-же мало общаго съ воспріимчивостью поэта, какъ лихорадочный румянецъ чахоточныхъ съ цвѣтущей свѣжестью здоровой юности. Сильная впечатлительность, воспріимчивость и живое воображеніе, неустанно работающее въ томъ или иномъ направленіи, представляютъ только матеріалъ, подпочву, на которой, при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ вырасти поэтическое созданіе, но ихъ однихъ далеко не достаточно для того, чтобы стать поэтомъ.

Необходимо, чтобы впечатлѣнія, часто разрозненныя и отрывочныя, воспринятыя при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ и обстановкѣ, могли комбинироваться въ воображеніи писателя, соединяться въ цѣлые образы и картины. Это можетъ быть только тогда, если воспріимчивая въ высшей степени натура обладаетъ еще однимъ свойствомъ, рѣзко отличающимъ художника и поэта въ частности, какъ художника слова, отъ прочихъ смертныхъ; свойство это—творчество, понимаемое въ этомъ случаѣ, какъ умѣніе создавать въ душѣ новые образы и воплощать ихъ при помощи слова.

Истинное творчество состоитъ не только въ способности соединять въ цѣлые, законченные образы разнородныя впечатлѣнія, полученныя отъ дѣйствительности, но и въ такъ называемомъ угадываніи по нѣсколькимъ чертамъ остальныхъ свойствъ того или другого типа. Въ этомъ случаѣ у поэтовъ дѣйствуетъ, такъ называемое, построительное воображеніе, способность представить въ умѣ съ необыкновенной ясностью, до мельчайшихъ подробностей ту или другую картину, хотя-бы и не наблюдаемую раньше въ дѣйствительности. Такъ, Флоберъ, кончая свой извѣстный романъ: „Г-жа Бовари“, когда писалъ сцену отравленія своей героини мышьякомъ, чувствовалъ самъ тошноту,—до такой степени ясно онъ представлялъ себѣ ея мучительное состояніе.

Есть у А. Толстого небольшое стихотвореніе, которое прямо указываетъ на работу въ душѣ поэта именно этого построительнаго воображенія. Вотъ это стихотвореніе:

Источникъ за вишневымъ садомъ,
Слѣды голыхъ дѣвическихъ ногъ;
И тутъ же оттиснулся рядомъ
Гвоздями подбитый сапогъ.

Все тихо на мѣстѣ ихъ встрѣчи...
Но чуетъ ревниво мой умъ
И шопотъ, и страстныя рѣчи,
И ведеръ расплесканныхъ шумъ.

Какой-нибудь едва замѣтный отпечатокъ ногъ на мокромъ прибрежномъ пескѣ выливаетъ въ душѣ поэта цѣлую картину свиданія влюбленныхъ, до такой степени яркую, что онъ чуетъ даже „ведеръ расплесканныхъ шумъ“. Другимъ примѣромъ такого творчества угадыванія можетъ служить извѣстный романъ Бичеръ-Стоу: „Хижина дяди Тома“. По словамъ біографа Бичеръ-Стоу, Анны Фильдсъ, авторъ „Хижины дяди Тома“ мало зналъ жизнь южныхъ рабовладѣльческихъ штатовъ, тѣмъ

не менѣе, у него вышла удивительно яркая картина бѣдственнаго положенія негровъ, совершенно вѣрная дѣйствительность. Когда кто то спросилъ у Биберъ-Стоу, какъ она могла, не будучи знакома съ жизнью юга, такъ вѣрно изобразить ее, она отвѣчала: „Я писала только то, что видѣла. Весь романъ представлялся мнѣ въ видѣніяхъ, слѣдовавшихъ другъ за другомъ, и мнѣ оставалось только передать ихъ словами; я не измѣнила никакихъ подробностей". Очевидно путемъ угадыванія Биберъ-Стоу создала по немногимъ чертамъ цѣлую широкую картину жизни, вполнѣ вѣрную дѣйствительности.

Изъ сказаннаго видно, что реально-художественное творчество бываетъ двухъ родовъ: въ одномъ изъ нихъ преобладаетъ способность переработывать полученныя впечатлѣнія въ цѣльные образы, въ другомъ господствуетъ угадываніе по немногимъ даннымъ дѣйствительностью чертамъ остальныхъ свойствъ изображаемаго характера или явленія. Само собою разумѣется, что каждый изъ этихъ родовъ творческой способности не встрѣчается въ чистомъ видѣ безъ примѣси другого, но обыкновенно въ дѣятельности писателя занимаетъ господствующее мѣсто тотъ или иной изъ нихъ. Примѣромъ творчества перваго рода могутъ служить Тургеневъ и Гончаровъ. Вся литературная дѣятельность Тургенева опиралась исключительно на впечатлѣнія текущей жизни. Ему, какъ онъ говорилъ, нужно было сдѣлать въ теченіе года не менѣе пятидесяти знакомствъ для изученія однородныхъ типовъ и повыхъ чертъ извѣстнаго характера. Гончаровъ тоже могъ удачно изображать только то, что близко видѣлъ и зналъ. Чуть только онъ прибѣгалъ къ сочиненію, къ выдумкѣ, у него получались слабые и блѣдные образы, какъ, напримѣръ, Наташа и Софья Бѣловодова въ „Обрывѣ". Наоборотъ, тѣ характеры, для созданія которыхъ онъ имѣлъ богатыя данныя въ дѣйствительной жизни, вышли у него вполнѣ живыми, какъ Обломовъ, Захаръ, бабушка (въ „Обрывѣ"), Марѳинька, вся дворня и многіе другіе. Совсѣмъ иного рода было творчество, напримѣръ, Достоевскаго, который, главнымъ образомъ, путемъ построительнаго воображенія, угадыванія создалъ свои поражающіе психологической правдой образы ненормальныхъ людей. У наиболѣе могучихъ талантовъ оба рода творчества, каждый въ высшей мѣрѣ, соединяются вмѣстѣ, и тогда появляются такіе гиганты художественной мысли, какъ Левъ Толстой.

Таковы тѣ душевныя силы, которыми обусловливается созданіе поэтическихъ произведеній, къ разсмотрѣнію процесса котораго мы теперь и переходимъ.

Прежде чѣмъ поэтъ берется за перо, у него въ душѣ, въ воображеніи уже есть тотъ образъ, который онъ хочетъ рисовать словами. Этотъ духовный образъ, идеалъ, онъ воплощаетъ въ чувственный. Слѣдовательно, порядокъ творчества таковъ: вначалѣ возникаетъ художественный идеалъ, который затѣмъ воплощается въ чувственный образъ. Иногда идеалъ, сложившійся въ воображеніи, бываетъ чрезвычайно ярокъ. Гончаровъ, напримѣръ, признается, что пока еще творческая работа происходила у него въ головѣ, „лица не даютъ покою, пристаютъ, позируютъ въ сценахъ", такъ что ему порой казалось, будто все это носится въ воздухѣ около него, и ему только нужно смотрѣть и вдумываться. Въ другихъ случаяхъ, какъ это бывало, напримѣръ, часто съ Гоголемъ, идеалъ представляется въ видѣ блѣднаго контура, который проясняется во всѣхъ деталяхъ только послѣ долгой и напряженной работы.

Но самый идеалъ, создаваемый въ воображеніи поэта, есть результатъ особаго рода дѣятельности ума, такъ называемаго художественнаго мышленія, сущность котораго состоитъ въ томъ, что отвлеченная мысль облекается въ конкретный образъ. Еще Бѣлинскій со своимъ глубокимъ критическимъ чутьемъ проникъ въ эту творческую тайну, сказавъ, что искусство есть непосредственное созерцаніе мысли, мышленіе въ образахъ, а каждое поэтическое произведеніе есть плодъ могучей мысли, овладѣвшей поэтомъ. Позднѣйшія изслѣдованія только подтвердили это мнѣніе великаго критика, научно обосновавъ его фактическими данными и поставивъ въ связь съ образованіемъ и развитіемъ языка. Теперь можно съ увѣренностью сказать, что „художественное мышленіе не есть какой-либо исключительный даръ, родъ монополіи художниковъ и поэтовъ, оно—одинъ изъ обычныхъ, свойственныхъ человѣческому уму путей мысли, опредѣляемый, какъ процессъ пониманія (апперцепированія) общихъ идей при помощи конкретнаго представленія (образа)“ [1]),

Поясникъ это частнымъ примѣромъ. Всѣмъ, вѣроятно, приходилось встрѣчать такихъ людей, которые, выражая свои отвлеченныя мысли, прибѣгаютъ къ образной рѣчи, употребляютъ иногда длинныя сравненія, аллегоріи и т. п. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ зачатками именно такъ называемаго художественнаго мышленія: сама по себѣ отвлеченная мысль облекается въ конкретную форму. То-же самое, только въ гораздо болѣе сильной степени, находимъ мы и въ созданіи поэтическаго идеала. Какая-нибудь чисто абстрактная идея невидимымъ и незамѣтнымъ для самого поэта образомъ дѣйствуетъ на его чувство, настроеніе, и подъ вліяніемъ этого настроенія въ его воображеніи слагаются опредѣленные образы, концепціи, такъ сказать, иллюстрирующіе эту идею, очень часто еще неясную самому поэту. Онъ ее, какъ говорится въ психологіи, апперцепируетъ, воспринимаетъ при помощи конкретныхъ образовъ, мыслитъ образами. Такъ, напримѣръ, у Л. Толстого, въ одной изъ его педагогическихъ статей, находится въ высшей степени любопытное въ этомъ отношеніи замѣчаніе о томъ, какъ онъ во время чтеній русскихъ пословицъ сейчасъ-же рисуетъ въ своемъ воображеніи различныя лица изъ народа и ихъ столкновенія въ смыслѣ пословицы; всякая мысль, такимъ образомъ, выраженная въ той или другой пословицѣ, немедленно облекается у него въ конкретные образы.

Только эта замѣна одного способа мышленія другимъ происходитъ гдѣ-то „позади сознанія“, она незамѣтна для самого поэта. Но бываетъ и такъ, что отвлеченная мысль, прежде чѣмъ облечься въ конкретный образъ, ясно предстаетъ сознанію поэта. Тогда прибавляется лишнее звено въ порядкѣ творческаго процесса, который представляется въ такомъ видѣ: отвлеченная идея, художественный образъ, словесное воспроизведеніе его. Въ тѣ моменты, когда въ дѣятельности писателя преобладающимъ качествомъ является умъ, творческій процессъ идетъ вторымъ изъ указанныхъ путей; тогда, говоритъ Гончаровъ, умъ досказываетъ, чего не договариваетъ образъ, и мы имѣемъ дѣло съ такъ называемой тенденціозностью; такія созданія нерѣдко бываютъ „сухи, блѣдны, неполны; они говорятъ уму читателя, мало говоря воображенію и чувству“. Результатомъ такого творческаго процесса является

---

[1]) Овсянико-Куликовскій. „Къ вопросу о пріемахъ и задачахъ художественной критики“. Н. С. 97 г. 12.

образъ Соломина въ тургеневской „Нови“ или Марка Волохова и Тушина въ „Обрывѣ“ Гончарова. Наоборотъ, если въ періодъ творчества у художника преобладала дѣятельность фантазіи, тогда „образъ поглощаетъ въ себѣ значеніе, идею; картина говоритъ за себя, и художникъ часто увидитъ смыслъ съ помощью тонкаго критическаго истолкователя, какимъ, напримѣръ, были Бѣлинскій и Добролюбовъ“ (Гончаровъ. „Лучше поздно, чѣмъ никогда)“.

Когда идеалъ въ томъ или другомъ видѣ сложился въ душѣ художника, онъ въ моментъ творческаго подъема силъ, называемаго вдохновеніемъ, облекаетъ духовный образъ въ словесную форму. Остановимся нѣсколько надъ самымъ ходомъ этой уже очевидной для всякаго работы поэта надъ его произведеніями.

Когда читаешь какого-либо крупнаго поэта, въ родѣ Тургенева, Гончарова, Л. Толстого и другихъ, кажется, будто ихъ произведенія созданы безъ всякаго труда, такъ все ясно, послѣдовательно на своемъ мѣстѣ. На этомъ впечатлѣніи основано довольно распространенное мнѣніе о томъ, будто бы поэтическое творчество не представляетъ собою почти никакого труда, что разъ поэта посѣтило вдохновеніе, у него сразу, безъ всякой подготовительной работы, безъ умственнаго усилія, текутъ изъ-подъ пера фразы, создаются образы, концепціи. Поэтическое творчество,—думаютъ нѣкоторые,—это своего рода забава, игра, чуждая какихъ-либо усилій и труда со стороны художника. Между тѣмъ, въ этомъ мнѣніи есть не мало недоразумѣній, основанныхъ на незнакомствѣ съ процессомъ поэтическаго творчества.

Основываясь на признаніяхъ поэтовъ, можно, кажется, сказать, что только лирика создается часто безъ особаго труда со стороны автора. Сравнительно легко дается также творчество нѣкоторымъ поэтамъ, облекающимъ свои произведенія въ стихотворную форму. Въ минуты вдохновенія творчество у нихъ прямо бьетъ ключемъ.

И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ,
И рифмы легкія навстрѣчу мнѣ бѣгутъ,
И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагѣ,
Минута—и стихи свободно потекутъ.

(Пушкинъ).

Но даже и эти какъ бы вылившіяся въ готовой формѣ изъ творческихъ тайниковъ души поэта произведенія сплошь и рядомъ подвергаются тщательной переработкѣ подъ контролемъ сознанія. Въ большинствѣ же случаевъ, какъ это видно изъ исторіи творчества русскихъ писателей, чисто мыслительная, логическая работа занимаетъ далеко не послѣднее мѣсто въ созданіи и обработкѣ поэтическихъ произведеній; на ряду съ воображеніемъ работаетъ и соображеніе поэта.

Въ этомъ отношеніи особенно цѣнны признанія, сдѣланныя Гоголемъ и Тургеневымъ. Оба они въ совершенно ясныхъ выраженіяхъ говорятъ о той роли, какую играла въ ихъ творчествѣ мыслительная дѣятельность.

„Я никогда не писалъ портрета въ смыслѣ простой копіи“, говоритъ Гоголь: „я создавалъ портретъ, но создавалъ его вслѣдствіе соображенія, а не воображенія. Чѣмъ болѣе вещей принималъ я въ соображеніе, тѣмъ у меня вѣрнѣе выходило созданіе... Полное воплощеніе въ плоть, полное округленіе характера совершалось у меня только тогда, когда я, содержа въ головѣ всѣ крупныя черты характера, соберу въ то-же время вокругъ него все тряпье до малѣйшей булавки, которое кру-

жится ежедневно вокругъ человѣка,—словомъ, когда соображу все отъ мала до велика, ничего не пропустивши. У меня въ этомъ отношеніи умъ тотъ самый, какой бываетъ у большей части русскихъ людей, т. е. способный больше выводить, чѣмъ выдумывать". Изъ этихъ словъ Гоголя видно, что его творческая работа, исходя изъ впечатлѣній дѣйствительной жизни, въ значительной степени сопровождалась дѣятельностью ума, который у него игралъ чуть ли не первенствующую, регулирующую роль.

То-же самое мы замѣчаемъ и у Тургенева, творчество котораго также направлялось умомъ. По его словамъ, въ своемъ творчествѣ онъ обыкновенно „имѣлъ исходною точкою... живое лицо, къ которому постепенно примѣшивались и прикладывались подходящіе элементы". Это прикладываніе подходящихъ элементовъ могло совершаться, конечно, только при помощи логической работы ума, принимавшаго большое участіе въ созданіи чудныхъ произведеній Тургенева.

Гончаровъ, говоря о своемъ творчествѣ, тоже упоминаетъ о невидимомъ, но громадномъ умственномъ трудѣ, который приходится затрачивать поэту при писаніи романа: нужно „соображать, обдумывать участіе лицъ въ главной задачѣ, отношеніе ихъ другъ къ другу, постановку и ходъ событій, съ неусыпнымъ контролемъ и критикою относительно вѣрности или невѣрности, недостатковъ, излишества и т. д.". У нѣкоторыхъ эта работа продолжается чрезвычайно долго. Такъ, Левъ Толстой иногда по десяти разъ переписываетъ одну и ту-же главу, дѣлая все новыя и новыя поправки; такой-же передѣлкѣ подвергаются и первый и второй корректурные листы. Работая съ огромными умственными усиліями надъ своими произведеніями, Толстой любитъ повторять, что „золото добывается только усиленнымъ просѣваніемъ и промываніемъ", имѣя, вѣроятно, подъ этимъ въ виду фильтрованіе творческихъ домысловъ фантазіи при помощи критической дѣятельности мысли.

Такимъ образомъ, лучшіе наши художники слова подвергали самому тщательному контролю разсудка свои творческіе замыслы; послѣдующая отдѣлка еще не вполнѣ оформившагося поэтическаго образа происходила у нихъ при дѣятельномъ участіи мысли: вполнѣ сознательно дорисовывали они однѣ черты, уничтожали другія, пользуясь для этого обширнымъ запасомъ впечатлѣній отъ дѣйствительной жизни, хранившихся то непосредственно въ ихъ воображеніи, то занесенныхъ въ разное время здѣсь или тамъ на бумагу. Не будь у поэтовъ въ запасѣ этихъ реальныхъ наблюденій, они никогда бы не смогли при самомъ сильномъ творческомъ талантѣ создать вполнѣ реальный художественный образъ, такъ какъ имъ неоткуда было-бы почерпнуть краски для этого образа.

Однако-же какъ добываетъ себѣ поэтъ эти краски? Любопытно прослѣдить за тѣмъ, какъ собираютъ писатели запасъ наблюденій, безъ которыхъ немыслимо созданіе реальныхъ произведеній искусства. Въ комедіи Чехова „Чайка" есть одно мѣсто, которое наглядымъ образомъ знакомитъ съ этимъ собираніемъ поэтами впечатлѣній. Беллетристъ Тригоринъ, одно изъ дѣйствующихъ лицъ комедіи, говоритъ, какъ его мысль постоянно занята запоминаніемъ разнообразныхъ впечатлѣній, могущихъ ему пригодиться впослѣдствіи: „Вижу вотъ облако, похожее на рояль. Думаю: надо будетъ упомянуть гдѣ-нибудь въ разсказѣ, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнетъ геліотропомъ. Скорѣе мотаю на усъ: приторный запахъ, вдовій цвѣтъ, упомянуть при описаніи лѣтняго вечера. Ловлю себя и васъ на каждомъ

словѣ, на каждой фразѣ и спѣшу скорѣе запереть всѣ эти фразы и слова въ свою литературную кладовую,—авось пригодятся!". Тутъ-же въ разговорѣ съ другими дѣйствующими лицами комедіи, Тригоринъ дѣлаетъ замѣтки въ своей записной книжкѣ, спѣшитъ занести на бумагу мелькнувшій въ его головѣ сюжетъ разсказа. По всей вѣроятности, Чеховъ изобразилъ здѣсь отчасти процессъ собственной литературной работы. По крайней мѣрѣ, совершенно такимъ-же способомъ накопляли матеріалъ для своего творчества многіе изъ нашихъ лучшихъ писателей. Въ этомъ отношеніи особенно много данныхъ мы имѣемъ опять-таки относительно Гоголя. Въ его бумагахъ сохранилось нѣсколько отрывковъ изъ записныхъ книжекъ, куда онъ каждый день вносилъ все, что подмѣчалъ или слышалъ въ обществѣ,—характерные житейскіе случаи, особенно мѣткія и удачныя слова и выраженія, стараясь закрѣпить ихъ на бумагѣ, говоря его словами, „покамѣстъ не простыли". Вотъ для примѣра нѣсколько выдержекъ изъ этихъ записныхъ книжекъ, показывающихъ, что даже художественный, необыкновенно мѣткій языкъ произведеній Гоголя не есть результатъ непосредственнаго вдохновенія, а въ значительной степени основанъ на сознательной переработкѣ матеріала, почерпнутаго изъ дѣйствительности. Такъ, въ записной книжкѣ подъ 1842-мъ годомъ находимъ, между прочимъ, слѣдующія выраженія: изъ воды сухъ выйдетъ; чортъ по ночамъ горохъ молотилъ на рожѣ; мальчишка сказалъ кондуктору: „молчи ты, подколесная пыль!"; выраженіе квартальнаго: „люблю деспотировать съ народомъ совсѣмъ дезабилье"; выраженіе Ноздрева: „сыгралъ, какъ младой полубогъ", и мног. др. Ясное дѣло, всѣ эти выраженія поразили Гоголя своею колоритностью, и онъ поспѣшилъ ихъ записать, чтобы потомъ воспользоваться ими. Чѣмъ больше у Гоголя было въ запасѣ дѣйствительныхъ, реальныхъ впечатлѣній, тѣмъ художественнѣе выходили его образы. Вотъ почему, принимаясь за „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки", онъ просилъ свою мать сообщить ему въ письмахъ, не упуская ни малѣйшихъ подробностей, и описаніе полнаго наряда сельскаго дьячка, отъ верхняго платья до самыхъ сапоговъ, и мельчайшія подробности различныхъ свадебныхъ обычаевъ, и точное и вѣрное названіе различныхъ частей женскаго убора. По той-же причинѣ въ концѣ 40-хъ годовъ, чтобы собрать запасъ новыхъ впечатлѣній для второго тома „Мертвыхъ душъ", онъ страстно желалъ проѣздиться по сѣверо-восточнымъ губерніямъ Россіи, которыя зналъ только по наслышкѣ; этимъ-же самымъ обстоятельствомъ объясняется, почему Гоголь въ 1840-мъ году просилъ выслать ему за границу миніатюрныя изданія „Онѣгина", „Горя отъ ума", басенъ Дмитріева и русскихъ пѣсенъ Сахарова для чтенія въ дорогѣ: ему нужно было вновь, какъ онъ пишетъ въ одномъ письмѣ, „назвучаться русскими звуками и рѣчью", чтобы, при обработкѣ своихъ произведеній, „не нагрѣшить противъ языка", т. е., другими словами, нужно было запастись новыми, свѣжими впечатлѣніями, безъ которыхъ, онъ чувствовалъ, творчество его не могло итти, какъ слѣдуетъ.

Подобнымъ-же образомъ и Левъ Толстой, и Гончаровъ, создавая свои безсмертныя произведенія, тоже всегда опирались на впечатлѣнія отъ дѣйствительной жизни. Толстой не любитъ, какъ онъ выражается, писать „по слухамъ", ему необходимо хорошо знать ту сторону жизни, которую онъ описываетъ, и только въ такомъ случаѣ у него выходитъ удачное произведеніе. Гончаровъ, по его собственнымъ словамъ, „писалъ только то, что переживалъ, что мыслилъ, чувствовалъ, что

любилъ, что близко видѣлъ и зналъ, словомъ, писалъ и свою жизнь и то, что къ ней прирастало". То-же самое можно сказать и о творчествѣ Некрасова, который, создавая, напримѣръ, свою „Орину—мать солдатскую", основывался на дѣйствительномъ разсказѣ одной несчастной женщины; онъ нѣсколько разъ, возвращаясь съ охоты, дѣлалъ крюкъ, чтобы поговорить съ нею и получить возможно болѣе впечатлѣній и не сфальшивить. Такія вещи, напр., какъ „Коробейники", „Крестьянскіе дѣти", имѣютъ въ основѣ своей дѣйствительныя событія, проведенныя черезъ горнило творческой фантазіи поэта. Подобно Гоголю, Некрасовъ также дѣлалъ у себя въ записныхъ книжкахъ непонятныя для другихъ замѣтки и затѣмъ, во время работы, имѣлъ эти замѣтки всегда передъ глазами.

Итакъ, на основаніи сказаннаго, можно съ достаточнымъ основаніемъ утверждать, что наши поэты краски для своихъ художественныхъ образовъ брали изъ дѣйствительной жизни, тщательно запасая ихъ и внимательно подбирая при работѣ.

Мы разсматривали до сего времени процессъ творческой работы поэта; мы видѣли, какія душевныя силы принимаютъ участіе въ этой работѣ, какъ постепенно, шагъ за шагомъ, совершается она по мѣрѣ того, какъ выясняется художественный идеалъ, т. е. тотъ духовный образъ, который поэтъ-художникъ стремится воплотить въ поэтическомъ произведеніи. Но что является причиной того, что у поэта слагается извѣстная, опредѣленная концепція образовъ и положеній, тѣ, а не иныя поэтическія картины и типическія представленія, иначе говоря, каковы тѣ скрытыя душевныя пружины, которыя даютъ творческой фантазіи поэта въ данный моментъ извѣстное, опредѣленное направленіе? Вопросъ этотъ представляется достаточно любопытнымъ, такъ какъ отвѣтъ на него позволитъ намъ проникнуть, быть можетъ, въ сокровенныя мысли поэта, угадать глубокія думы, посѣтившія его въ моментъ зарожденія поэтическаго произведенія.

Душевные мотивы, побуждающіе художника слова дать то или иное направленіе своему творчеству, бываютъ весьма разнообразны. Часто поэтъ въ творчествѣ ищетъ избавленія отъ собственныхъ мучительныхъ мыслей, отъ пережитыхъ душевныхъ волненій и невзгодъ. Онъ чувствуетъ, что, изобразивъ свой внутренній міръ, все пережитое и перечувствованное, онъ отдѣляется отъ него и будетъ способенъ къ новой жизни. Это чисто субъективное личное побужденіе къ творчеству. Тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе того, что поэтъ въ силу своей духовной организаціи, въ высшей степени чутко относится къ господствующимъ теченіямъ мысли современниковъ и болѣе, чѣмъ другіе люди, способенъ воспринимать и переживать самыя разнообразныя настроенія чувства и мысли, эта чисто личная подкладка творческой дѣятельности ничуть не уменьшаетъ значенія основанныхъ на ней произведеній.

Лучшей иллюстраціей сейчасъ сказаннаго можетъ служить большинство произведеній перваго періода литературной дѣятельности гр. Льва Толстого. „Дѣтство, отрочество и юность", „Утро помѣщика", „Война и миръ", „Анна Каренина"—всѣ эти произведенія имѣютъ въ себѣ одинъ и тотъ же образъ въ разные моменты его развитія; а въ основѣ этого образа лежитъ личность самого автора, то, что онъ пережилъ и передумалъ въ различные періоды своей жизни. Николай Иртеньевъ, князь Нехлюдовъ, Пьеръ Безуховъ, Левинъ—все это, внѣ всякаго сомнѣнія, самъ Левъ Толстой, какъ это ясно можно установить теперь, благодаря многочисленнымъ

біографическимъ даннымъ, ставшимъ извѣстными въ печати. Собственныя настроенія и думы, характерныя особенности своего „я“ облекались у Толстого въ художественные образы, и, надо предполагать, этотъ носящій субъективную окраску типъ былъ первоосновой создаваемаго литературнаго произведенія. Его нужно было поставить въ извѣстную обстановку, окружить его такими лицами, вступая въ сношенія съ которыми, онъ могъ бы возможно ярче проявить свои личныя, индивидуальныя свойства, высказать свое міровоззрѣніе и т. д. Такъ создались въ воображеніи поэта второстепенные персонажи, мѣсто и время дѣйствія, различныя отдѣльныя сцены, разговоры, картины и т. п. Матеріаломъ для всего этого послужилъ, конечно, богатый запасъ наблюденій, то сохранившійся въ головѣ поэта, то занесенный въ разныя времена на бумагу. Точно изъ тумана, выступали въ воображеніи художника другіе образы, которыми онъ окружаетъ своего главнаго героя. Онъ всматривается въ нихъ, они проясняются, растутъ, иные выдвигаются чуть не на первый планъ, другіе остаются въ тѣни, исчезаютъ, чтобы уступить мѣсто новымъ, видоизмѣняются до неузнаваемости и т. д. Иногда этотъ второстепенный образъ настолько можетъ овладѣть вниманіемъ художника, что онъ дѣлаетъ его центральной фигурой своего произведенія, какъ это у Л. Толстого произошло, напр., съ Анной Карениной въ романѣ того же имени.

Даже такой объективный художникъ, какъ Тургеневъ, и тотъ иногда въ основу своихъ произведеній клалъ лично переживаемыя настроенія, стремясь такимъ образомъ избавиться отъ назойливыхъ мыслей. Такія вещи, какъ „Призраки“ и „Довольно“, явились результатомъ стремленія отдѣлаться отъ проблемы смерти, ничтожества, которая не давала временами покоя Тургеневу.

Перейдемъ къ разсмотрѣнію другихъ скрытыхъ психическихъ мотивовъ, дающихъ одно опредѣленное направленіе творческой мысли писателя.

Къ такимъ мотивамъ принадлежитъ, между прочимъ, удивленіе автора предъ какимъ-нибудь жизненнымъ явленіемъ. Поэта поражаетъ тотъ или другой фактъ, его вниманіе привлекается какимъ-нибудь лицомъ, въ которомъ онъ подмѣчаетъ нѣчто новое, какія то нигдѣ раньше не видѣнныя особенности и свойства. Это новое и служитъ исходной точкой творческой концепціи. Такъ бываетъ съ наиболѣе чуткими художниками, и, благодаря этому, произведенія нѣкоторыхъ авторовъ, точно въ зеркалѣ, отражаютъ въ себѣ всѣ новые фазисы и настроенія наблюдаемой ими жизни, служатъ въ высшей степени цѣннымъ матеріаломъ для изученія общества въ ту или другую эпоху. Къ такимъ писателямъ у насъ принадлежалъ, между прочимъ, И. С. Тургеневъ, въ талантѣ котораго небезосновательно указывалась одна характерная особенность,—умѣніе, какъ выражались критики, „ловить моментъ“, т. е. подмѣчать едва нарождавшіеся типы, идеи и настроенія и изображать ихъ, послѣ творческой переработки, въ художественныхъ произведеніяхъ. Изъ современныхъ намъ писателей подобнаго рода способностью „ловить моментъ“ отличается, напримѣръ, Боборыкинъ, въ цѣломъ рядѣ своихъ романовъ пытающійся болѣе или менѣе удачно изобразить все новое, возникающее въ культурномъ классѣ Россіи.

Иногда, особенно у тѣхъ писателей, которые обладаютъ сильно развитымъ чувствомъ общественности и желаютъ своей дѣятельностью вліять на современниковъ, силой, направляющей ихъ творчество, является стремленіе воздѣйствовать на окружающую ихъ среду, исправлять нравы своихъ соотечественниковъ. Сочиненія ихъ,

говоря словами Лермонтова, „диктуетъ совѣсть, перомъ сердитый водитъ умъ“. Всѣ поэтическія произведенія такъ называемаго дидактическаго характера, какъ сатиры всѣхъ видовъ и басни, а также и многіе другіе роды поэзіи появляются на свѣтъ именно подъ вліяніемъ такого настроенія поэта. Его не нужно смѣшивать съ грубой тенденціозностью нѣкоторыхъ авторовъ, стремленіемъ, во что-бы то ни стало, выразить своими образами опредѣленную идею нравственнаго или общественнаго характера. Въ такомъ случаѣ, если поэтъ напередъ сознательно указываетъ себѣ цѣль, къ которой онъ долженъ пригонять создаваемые имъ образы или концепціи, въ результатѣ, какъ извѣстно, получается нѣчто въ высшей степени ходульное и не художественное. Поэтъ можетъ вполнѣ ясно представлять идею, которая впослѣдствіи будетъ вытекать изъ его произведенія, но эта идея, возникшая первоначально въ умѣ, въ самый моментъ творчества должна уже овладѣть вполнѣ чувствомъ, настроеніемъ поэта, и послѣдній безсознательно, подъ вліяніемъ уже не идеи, а извѣстнаго настроенія, будетъ создавать тѣ или иные картины или образы. Такъ создавались „Ревизоръ“ и „Мертвыя души“ Гоголя, такъ возникли лучшія произведенія сатирическаго характера русской и иностранной литературы. Относительно, напримѣръ, „Ревизора“ извѣстно, что Гоголь, принимаясь за эту комедію, рѣшилъ изобразить въ ней „всѣ несправедливости, какія дѣлаются въ тѣхъ мѣстахъ и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ больше всего требуется отъ человѣка справедливости, и за одинъ разъ посмѣяться надъ всѣмъ“,—побужденіе чисто моральнаго и общественнаго характера.

Есть еще одинъ скрытый мотивъ, дающій извѣстное, опредѣленное направленіе творческой мысли писателя. Коротко его можно охарактеризовать, какъ стремленіе къ самобичеванію, самообличенію, вытекающее, какъ результатъ, изъ сознанія собственныхъ недостатковъ и несовершенствъ. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно характернымъ является изреченіе Ибсена: „творить—то значитъ надъ собою нелицемѣрный судъ держать“. Такой нелицемѣрный судъ очень часто, можно полагать, держатъ надъ собою поэты-художники, придавая изображаемымъ типамъ свои пороки и недостатки, осмѣивая ихъ часто съ самой искренней злобой и негодованіемъ. Для нѣкоторыхъ это является средствомъ отдѣлаться отъ темныхъ сторонъ собственнаго характера. Такъ, Гоголь прямо заявляетъ, что отъ многихъ своихъ дурныхъ качествъ отдѣлался тѣмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, осмѣялъ ихъ и заставилъ другихъ надъ ними посмѣяться. Тургеневъ, по поводу этого заявленія Гоголя, добавляетъ, что писатель испытываетъ своеобразное наслажденіе въ казненіи самого себя, своихъ недостатковъ изображаемыхъ въ вымышленныхъ лицахъ.

Ни на кого изъ нашихъ поэтовъ не дѣйствовала такъ сильно эта побудительная причина къ творчеству въ отмѣченномъ сейчасъ направленіи, какъ на Некрасова. Цѣлый рядъ его большихъ и малыхъ произведеній представляетъ собою не что иное, какъ казнь самого себя, обличеніе собственныхъ недостатковъ и слабостей, исповѣдь наболѣвшаго грѣшнаго сердца.

Изъ сказаннаго видно, что представленіе о творчествѣ, какъ о чемъ-то совершенно непонятномъ и таинственномъ, должно быть въ значительной мѣрѣ оставлено. Мы знаемъ теперь, что оно имѣетъ въ своей основѣ, какъ и научно-философская дѣятельность, логическое мышленіе, идею, хотя часто неясную самому ху-

должнику, тѣмъ не менѣе все-же существующую; въ дальнѣйшемъ творческомъ процессѣ это мышленіе принимаетъ вполнѣ сознаваемое и поддающееся наблюденію участіе.

Но не подлежитъ сомнѣнію, что какъ-бы ни было обширно творческое дарованіе поэта, оно необходимо исходитъ въ своей созидающей работѣ изъ тѣхъ впечатлѣній, которыя получаетъ авторъ отъ окружающей жизни, или-же ищетъ для себя матеріала въ духовномъ мірѣ самого писателя.

Разъ это такъ, то отсюда ясно, что въ дѣлѣ творческой переработки жизненныхъ впечатлѣній огромную роль играетъ міровоззрѣніе поэта, степень его умственнаго и нравственнаго развитія, его взгляды и отношеніе къ текущей и прошлой жизни своего народа и вообще человѣчества. Общее міровоззрѣніе поэта есть тотъ уголъ зрѣнія, подъ которымъ онъ созерцаетъ несущуюся мимо него жизнь, и въ зависимости отъ этого въ его произведеніяхъ отражается то одна, то другая сторона современной дѣйствительности, затрагиваются тѣ или другіе вопросы, рѣшаются различныя проблеммы человѣческаго существованія. Никто не можетъ насильственно направлять творчество поэта въ какую-нибудь опредѣленную сторону, заставить его обращать вниманіе на одни явленія жизни и отображать ихъ въ своихъ созданіяхъ, проходя молчаливо мимо другихъ. Поэтическое творчество непроизвольно въ томъ смыслѣ, что поэтъ и самъ не знаетъ, почему въ данный моментъ его фантазія создаетъ извѣстные, тѣ, а не другіе образы; они есть плодъ всей личности поэта, опредѣляются общимъ уровнемъ его умственнаго и нравственнаго развитія и тѣми впечатлѣніями, какія онъ получилъ. Чѣмъ образованнѣе поэтъ, чѣмъ шире его умственный и нравственный кругозоръ, тѣмъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, цѣннѣе во всѣхъ отношеніяхъ будутъ его произведенія.

Такъ происходитъ поэтическое творчество у нашихъ писателей-реалистовъ, послѣдователей такъ называемой натуральной школы, основанной Пушкинымъ и Гоголемъ. Взгляды этого великаго юмориста на процессъ созданія романа и повѣсти во многомъ напоминаютъ теоретическія воззрѣнія на тотъ-же предметъ французскихъ представителей реальнаго романа, въ родѣ Густава Фробера, братьевъ Гонкуровъ и другихъ. Только этотъ реальный романъ, послѣднее слово художественнаго прогресса на Западѣ, существуетъ у насъ болѣе шестидесяти лѣтъ, со времени появленія въ свѣтъ „Капитанской дочки“. Еще въ 1833-мъ году Пушкинъ, какъ истый реалистъ, впервые прибѣгъ къ тому пріему, который впослѣдствіи, 50 лѣтъ спустя, ставили въ особенную заслугу современнымъ французскимъ натуралистамъ: онъ совершилъ поѣздку по всѣмъ мѣстамъ, ознаменованнымъ пугачевскимъ бунтомъ, стараясь собрать показанія и свидѣтельства немногихъ очевидцевъ. Еще Гоголь незадолго до смерти высказалъ въ высшей степени вѣрную мысль о томъ, что истинными художниками слова должны считаться не тѣ, которые производятъ выдуманныя, идеализированныя созданія, и не копіисты дѣйствительности, стремящіеся „быть бездушно вѣрными природѣ“, а создатели высокихъ твореній на основаніи матеріаловъ, воспринятыхъ и собранныхъ изъ окружающей жизни, въ которые поэтъ влагаетъ „душу живу“. И позднѣйшіе русскіе писатели-реалисты не отступали отъ пути, проложеннаго Пушкинымъ и Гоголемъ, не вдавались въ крайности натурализма, подобно многимъ западно-европейскимъ авторамъ, когда художественное произведеніе обращается въ бездушный фотографическій снимокъ грязной дѣйстви-

тельности. И въ этомъ умѣніи удержаться въ истинныхъ предѣлахъ художественнаго реализма кроется до извѣстной степени современный успѣхъ русской литературы у нашихъ западныхъ сосѣдей, которые высоко ставятъ нашихъ литературныхъ кориѳеевъ и нерѣдко подражаютъ имъ въ лицѣ своихъ молодыхъ талантовъ.

Исходя въ своемъ творчествѣ изъ впечатлѣній дѣйствительной жизни и тѣмъ самымъ чутко относясь къ ея явленіямъ, наша литература въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей вслѣдствіе этого въ значительной степени имѣла громадное воздѣйствіе на русское общество.

Таковы результаты разсмотрѣннаго выше психологическаго процесса въ творчествѣ русскихъ писателей послѣ-гоголевской школы. „По плодамъ ихъ познаете ихъ“: очевидно, наше художественное литературное творчество стоитъ на правильномъ пути, и русская литература вслѣдствіе этого заняла въ такое короткое время видное мѣсто среди міровыхъ литературъ Запада.

Побольше же любви и вниманія къ отечественной словесности, чтобы не оправдались и для нашего времени горькія слова Щедрина о томъ, что русскій писатель пописываетъ, а читатель почитываетъ, и нѣтъ между ними никакого духовнаго общенія, никакой внутренней, моральной связи. Пусть лучше исполнятся на насъ другія слова великаго сатирика, сказанныя въ предсмертномъ письмѣ къ сыну, гдѣ онъ завѣщаетъ ему любить русскую литературу. Будемъ и мы любить эту литературу,— она стоитъ того, она наша гордость, наша слава, и, перефразируя извѣстныя слова Тургенева о русскомъ языкѣ, можно сказать: не вѣрится, чтобы такая литература была дана не великому народу!..

В. Г. Бѣлинскій.

В. Г. Бѣлинскій

Имя Виссаріона Григорьевича Бѣлинскаго неразрывными узами связано съ однимъ изъ самыхъ выдающихся періодовъ русской литературы, давшимъ цѣлый рядъ великихъ дѣятелей на нивѣ отечественной словесности. Невозможно говорить о дѣятельности кориѳеевъ нашей литературы—Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова и даже позднѣйшихъ нашихъ знаменитыхъ писателей, какъ Достоевскій, Тургеневъ, Гончаровъ, безъ того, чтобы въ сужденіяхъ объ ихъ поэтической дѣятельности не вспомнить того огромнаго вліянія, какое Бѣлинскій оказывалъ какъ на ихъ личное творчество, такъ и на истолкованіе ихъ произведеній.

Но значеніе Бѣлинскаго далеко не ограничивается его вліяніемъ на ходъ развитія нашей литературы: его въ значительной степени можно назвать „вла-стителемъ думъ“ эпохи пробужденія русской самостоятельной мысли во вторую четверть истекшаго столѣтія, сохранившимъ свое значеніе и гораздо позднѣе, вплоть до нашихъ дней.

Что же представлялъ собою Бѣлинскій, и какова его роль въ исторіи развитія русской литературы, а слѣдовательно, и русскаго самосознанія?

Выясняя значеніе литературной дѣятельности какого-либо писателя, почти всегда бываетъ необходимо разсмотрѣть его природную духовную организацію и тѣ воздѣйствія извнѣ, которымъ подвергался онъ въ теченіе своей жизни, и которыя отразились на общемъ строѣ его характера и міровоззрѣнія. Тутъ всегда приходится считаться съ общимъ настроеніемъ эпохи, господствовавшими общественными теченіями, наконецъ, съ чисто случайными вліяніями, которыя порою имѣютъ рѣшающее значеніе для выработки убѣжденій отдѣльной личности. Но прежде чѣмъ говорить объ условіяхъ, въ которыхъ протекли первые годы жизни Бѣлинскаго, необходимо отмѣтить наиболѣе существенныя черты его духовнаго облика, иначе безъ этого будетъ совершенно непонятно, какъ не погибла въ самомъ началѣ эта удивительная натура, какъ не поддалась она всесокрушающему вліянію тлетворной среды.

Бѣлинскій по своимъ личнымъ качествамъ принадлежалъ къ тѣмъ немногимъ натурамъ, которыя, вопреки всѣмъ неблагопріятнымъ условіямъ, изрѣдка вдругъ появляются въ томъ или другомъ обществѣ точно для того, чтобы показать, до какого высокаго благородства и нравственной чистоты можетъ возвыситься человѣческая личность.

Среди врожденныхъ свойствъ Бѣлинскаго слѣдуетъ отмѣтить, прежде всего, необыкновенно ясный, логическій умъ, строго послѣдовательный и не боявшійся самыхъ крайнихъ выводовъ, разъ они вытекали изъ признанныхъ положеній. Ничто не было въ состояніи ослабить этой поразительной логики, и разъ какое нибудь положеніе было принимаемо имъ за истину, онъ безбоязненно, часто вопреки задушевнымъ своимъ чувствамъ и связямъ, дѣлалъ изъ него всѣ возможные выводы, не останавливаясь на полъ-дорогѣ.

Другой не менѣе цѣнной чертой личности Бѣлинскаго была глубокая вѣрность исповѣдуемымъ убѣжденіямъ. Трудно представить себѣ другого человѣка, который бы съ ранней юности и до конца дней своихъ такъ горячо и неустанно ратовалъ за то, что считалъ истиной, рискуя часто своимъ благосостояніемъ, личными привязанностями, заглушая даже порою голосъ внутренняго чувства. Только такія натуры способны своей дѣятельностью расколыхать инертную массу общества и привить ему тѣ или иные взгляды путемъ безпрестанной и страстной ихъ пропаганды.

Это свойство идейнаго борца (за него онъ получилъ отъ друзей прозваніе неистоваго Виссаріона) соединялось въ Бѣлинскомъ съ глубокимъ, лежащимъ въ корнѣ его организаціи, прирожденнымъ стремленіемъ къ истинѣ и неподкупной, чисто органической честностью. Всю свою жизнь провелъ Бѣлинскій въ страстныхъ поискахъ за истиной, не разъ сжигая то, чему поклонялся, и поклоняясь тому, что сжигалъ. Эта довольно быстрая смѣна взглядовъ часто ставилась въ упрекъ Бѣлинскому; въ ней желали видѣть отсутствіе всякихъ убѣжденій, легкомысліе, неспособность глубоко проникнуться одной какой-либо идеей. Но стоитъ только нѣсколько глубже всмотрѣться въ процессъ умственнаго роста Бѣлинскаго, и тогда станетъ яснымъ, насколько неосновательны и даже прямо ложны всѣ подобные упреки, шедшіе изъ лагеря старыхъ и новыхъ враговъ Бѣлинскаго. Трудно найти другого человѣка, который бы съ такой энергіей и горячностью отстаивалъ свои задушевныя убѣжденія, считаемыя имъ въ данный моментъ непреложной истиной. Правда, что въ теченіе непродолжительной своей литературной дѣятельности,—всего какихъ нибудь 14 лѣтъ,—Бѣлинскій рѣзко мѣнялъ свои литературные и общественные взгляды и убѣжденія, но правда и то, что всякій разъ эта ломка сопровождалась тяжелой внутренней борьбой, свидѣтельствовавшей о томъ, съ какимъ трудомъ давался этотъ переходъ отъ старыхъ взглядовъ къ новымъ, считаемыхъ почему-либо болѣе истинными и справедливыми. Чего стоила Бѣлинскому перемѣна взглядовъ, какихъ тяжелыхъ сомнѣній и борьбы, на это указываютъ до извѣстной степени его собственныя слова въ одной изъ статей. „Что касается до вопроса,—говоритъ онъ,—сообразна ли со способностью, страстнаго, глубокаго убѣжденія способность измѣнять его, онъ давно рѣшенъ для всѣхъ, кто любитъ истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать своимъ самолюбіемъ, откровенно признаваясь, что онъ, какъ и другіе, можетъ ошибаться и заблуждаться. Для того же, чтобы судить, легко ли отдѣлывался такой человѣкъ отъ убѣжденій, которыя уже не удовлетворяли его, или это всегда было для него болѣзненнымъ процессомъ, стоило ему горькихъ разочарованій, тяжелыхъ сомнѣній, мучительной тоски, для того, чтобы судить объ этомъ, прежде всего надо быть увѣреннымъ въ своемъ безпристрастіи и добросовѣстности“.

Горячая вѣра въ исповѣдуемые принципы передавалась и его читателямъ, которые невольно подчинялись могучей силѣ убѣжденія, сквозящей въ каждой строкѣ, въ каждомъ словѣ. Тургеневъ въ воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ приводитъ очень яркій образчикъ того, какъ дѣйствовали его статьи на читателей, совершенно даже не раздѣлявшихъ его взглядовъ. Тургеневъ въ молодости преклонялся предъ поэтическими произведеніями Бенедиктова. Бѣлинскій однажды „разнесъ“ ихъ въ одной изъ журнальныхъ статей. Тургеневъ вознегодовалъ на дерзкаго критика и былъ поддержанъ въ своемъ негодованіи поклонниками Бенедиктова. „Но,—замѣчаетъ Тургеневъ,—къ собственному моему изумленію и даже досадѣ, что-то во мнѣ сильно соглашалось съ критикомъ и находило его доводы убѣдительными, неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданнаго впечатлѣнія, я старался заглушить въ себѣ этотъ внутренній голосъ, въ кругу пріятелей я съ большей еще рѣзкостью отзывался о самомъ Бѣлинскомъ и его статьѣ... Но въ глубинѣ души что-то продолжало шептать мнѣ, что онъ правъ... Прошло нѣсколько времени,—и я уже не читалъ Бенедиктова“. Вообще, по отзывамъ современниковъ, дѣйствіе статей Бѣлинскаго на читателей было поразительно. „Бѣлинскій,—говоритъ Кавелинъ,—на меня и на всѣхъ имѣлъ чарующее дѣйствіе. Это было дѣйствіе человѣка, который не только шелъ далеко впереди насъ, не только освѣщалъ и указывалъ намъ путь, но всѣмъ своимъ существомъ жилъ для тѣхъ идей и стремленій, которыя жили въ насъ, отдавая имъ страстно, наполнялъ ими все свое бытіе“. Это вліяніе Бѣлинскаго, въ значительной степени объясняется общей, такъ сказать, высотой его нравственнаго настроенія, отражавшагося и на его статьяхъ. Это была личность съ глубокимъ чувствомъ правды и человѣческаго достоинства, съ широкой гуманностью, необыкновенной отзывчивостью, особенно къ страданію другого.

Страстное исканіе истины, обусловливающее собою перемѣны въ міровоззрѣніи, шло у Бѣлинскаго рука объ руку съ чрезвычайно послѣдовательнымъ, логическимъ умомъ. Одинъ изъ современниковъ, оставившій любопытныя воспоминанія о Бѣлинскомъ, говоритъ, что онъ, усвоивши то или другое положеніе, не блѣднѣлъ ни передъ какимъ послѣдствіемъ, не останавливался ни передъ моральнымъ приличіемъ, ни передъ мнѣніемъ другихъ, котораго такъ страшатся люди слабые и несамобытные.

Не менѣе значенія имѣетъ и его тонкое художественное чутье, съ поразительной вѣрностью отгадывавшее истинно поэтическія произведенія и умѣвшее раскрывать ихъ достоинства для читателей. Ниже мы будемъ имѣть случай привести нѣсколько фактовъ, доказывающихъ, насколько Бѣлинскій глубоко понималъ и цѣнилъ настоящіе поэтическіе таланты и имѣлъ блестяще объяснить ихъ обществу.

Къ выдающимся природнымъ свойствамъ Бѣлинскаго нужно отнести также поразительный лиризмъ, проникавшій все его существо и придававшій необычайную силу и убѣдительность всему, что онъ писалъ. Этой стороной своего дарованія Бѣлинскій сразу покоряетъ себѣ читателя, и послѣдній, часто не разобравшись хорошенько въ логическихъ доводахъ, невольно подчиняется его взглядамъ, отстаиваемымъ съ такой страстностью и искренностью.

Нельзя не отмѣтить также чисто, такъ сказать, общественной жилки Бѣлинскаго, стремленія дѣлиться своими мыслями и наблюденіями съ окружающимъ

обществомъ. Послѣдняя черта, столь необходимая для литератора, была въ высшей степени развита въ Бѣлинскомъ и сдѣлала изъ него настоящаго общественнаго дѣятеля, въ благороднѣйшемъ смыслѣ этого слова, несмотря на то, что кругъ его дѣятельности почти не выходилъ за предѣлы литературно-публицистической критики.

Всѣ эти природныя качества, соединенныя съ блестящимъ литературнымъ талантомъ, подъ вліяніемъ эпохи и различныхъ случайныхъ обстоятельствъ, выработались въ Бѣлинскомъ въ крупное критическое дарованіе, на долю котораго выпала завидная участь стать создателемъ русской критики.

Чтобы выяснить тѣ воздѣйствія, подъ вліяніемъ которыхъ слагались личность и міровоззрѣніе Бѣлинскаго, мы остановимся нѣсколько на отдѣльныхъ моментахъ развитія нашего критика.

Бѣлинскій родился въ февралѣ 1810-го г. въ г. Свеаборгѣ, въ семьѣ флотскаго врача. Въ 1816-мъ г. отецъ Бѣлинскаго получилъ мѣсто уѣзднаго лѣкаря въ г. Чембарѣ Пензенской губ., гдѣ и протекли дѣтскіе годы нашего критика.

Когда всматриваешься въ жизнь Бѣлинскаго, особенно въ первыя его дѣтскія и юношескія впечатлѣнія, невольно поражаешься, какъ та тяжелая домашняя и общественная обстановка, въ которой пришлось вырасти нашему критику, не только не уничтожила лучшихъ сторонъ его натуры, но даже какъ будто своимъ отрицательнымъ дѣйствіемъ еще болѣе усилила ихъ. Какъ и у большинства нашихъ лучшихъ людей, вышедшихъ изъ такъ называемаго средняго сословія, первыя дѣтскія впечатлѣнія Бѣлинскаго мало имѣли въ себѣ свѣтлыхъ страницъ и, во всякомъ случаѣ, были не изъ такихъ, чтобы имъ можно было приписать благотворное вліяніе на развитіе богатыхъ природныхъ дарованій будущаго знаменитаго духовнаго вождя Россіи. Родная семья, которая, какъ извѣстно, раньше всего оказываетъ вліяніе на духовный обликъ человѣка, насколько можно судить по нѣсколько противорѣчивымъ даннымъ, не слишкомъ то лелѣяла будущаго критика. Впослѣдствіи въ одномъ изъ писемъ къ Боткину Бѣлинскій такъ вспоминаетъ свое дѣтство: „мать моя... была охотница рыскать по кумушкамъ, я, грудной ребенокъ, оставался съ нянькой, нанятою дѣвкою: чтобы я не безпокоилъ ее своимъ крикомъ, она меня душила и била. Отецъ меня терпѣть не могъ, ругалъ, унижалъ, придирался, билъ нещадно и площадно; я въ семьѣ былъ чужой“. Видя вокругъ себя дикій произволъ, тяжелыя семейныя отношенія между отцомъ и матерью, отвратительное общество мелкихъ дореформенныхъ чиновниковъ, предававшихся самымъ безшабашнымъ кутежамъ, постоянное оскорбленіе человѣческой личности, чуткій къ добру ребенокъ еще тогда возненавидѣлъ житейскую ложь и грязь, и эта ненависть ко всякой неправдѣ перешла въ его плоть и кровь и сохранилась до конца жизни.

Но тяжелая домашняя и общественная обстановка, окружавшая чуть не съ колыбели маленькаго Бѣлинскаго, не помѣшала его первоначальному развитію. Теперь довольно трудно рѣшить, кто собственно былъ первымъ духовнымъ руководителемъ маленькаго Виссаріона. По всей вѣроятности, богато одаренная, пытливая натура ребенка находила первое удовлетвореніе своей жаждѣ знаній, быть можетъ, въ книгахъ отца, человѣка все-же для того времени достаточно образованнаго. Въ

1823-мъ году 13-лѣтній Бѣлинскій, бывшій тогда ученикомъ уѣзднаго училища, уже поражалъ наблюдателя своимъ развитіемъ и умѣніемъ разобраться въ довольно сложныхъ для его возраста вопросахъ. По его словамъ, въ это время онъ денно и нощно безъ всякаго разбора, списывалъ стихотворенія Карамзина, Дмитріева, Сумарокова, Державина, Хераскова, плакалъ, читая „Бѣдную Лизу“ Карамзина и „Марьину рощу“ Жуковскаго, писалъ баллады и думалъ, что онѣ не хуже балладъ Жуковскаго. Такимъ образомъ, чтеніе уже тогда было любимымъ занятіемъ его, и многое мимоходомъ запало въ его крѣпкую память.

Далѣе слѣдуютъ годы ученія въ Пензенской губ. гимназіи, гдѣ онъ пробылъ около четырехъ лѣтъ и въ 1829-мъ году былъ вычеркнутъ изъ списковъ съ отмѣткой „за нехожденіе въ классъ“. Занимался Бѣлинскій очень неровно: единицы и двойки по математикѣ и латинскому языку въ его аттестаціи стоятъ на ряду съ высшимъ балломъ—четверками по исторіи, географіи, естественной исторіи и русской словесности. Сохранились любопытныя воспоминанія Буслаева и Лажечникова о Пензенской гимназіи почти въ тотъ самый періодъ времени, когда тамъ учился Бѣлинскій. Изъ этихъ воспоминаній видно, что гимназія не могла много дать своимъ ученикамъ, и неудивительно, что Бѣлинскій предпочиталъ сидѣть дома, чѣмъ посѣщать скучные классы. Но тутъ онъ ни одной минуты не терялъ даромъ: вѣчно что-нибудь читалъ, дѣлалъ выписки, замѣтки. Давнишняя любовь къ чтенію еще болѣе усилилась подъ вліяніемъ одного изъ учителей, Попова, и обратилась на художественную литературу. Вскорѣ онъ въ этой области сталъ полнымъ хозяиномъ, и его руководитель не могъ надивиться его свѣдѣніямъ и тонкому пониманію литературныхъ произведеній. По его отзывамъ, въ Пензѣ нельзя было найти кого-нибудь другого, съ кѣмъ можно было такъ душевно и съ такимъ интересомъ разговаривать о литературѣ, какъ съ нимъ. Вліяніе этого Попова и является, въ сущности, единственной свѣтлой страницей гимназическихъ годовъ Бѣлинскаго. Какъ бы тамъ ни было, но выбывши изъ третьяго класса гимназіи, за полтора года до окончанія курса, Бѣлинскій вполнѣ удовлетворительно выдержалъ экзаменъ въ Московскій университетъ, и это показываетъ, на сколько все же онъ хорошо овладѣлъ школьной наукой.

Университетскій періодъ жизни Бѣлинскаго является наиболѣе важнымъ по своему вліянію, и на немъ стоитъ остановиться нѣсколько подробнѣе. Московскій университетъ и Царскосельскій лицей, по отзывамъ современниковъ, сыграли видную роль въ русскомъ образованіи первой половины XIX-го столѣтія. Туда, какъ въ общій резервуаръ, вливались юныя силы Россіи со всѣхъ сторонъ, изъ всѣхъ слоевъ, въ его залахъ онѣ очищались отъ предразсудковъ, захваченныхъ у домашняго очага, приходили къ одному уровню, братались между собою и снова разливались во всѣ стороны Россіи. Двери его были открыты всякому, кто могъ выдержать экзаменъ. Бѣлинскій попалъ въ университетъ какъ разъ въ эпоху его возрожденія. Въ профессорской средѣ появляются молодые даровитые профессора, какъ Павловъ, Надеждинъ, Шевыревъ, Погодинъ, которые вносятъ новый, свѣжій элементъ въ университетское преподаваніе. Параллельно съ этимъ происходитъ перемѣна и въ студенчествѣ: молодежъ забываетъ прежніе кутежи, интересуется научными, философскими и нравственными вопросами. Образуются отдѣльные кружки студентовъ, занятые самообразованіемъ и рѣшеніемъ жгучихъ философ-

скихъ и политическихъ вопросовъ. Двумъ изъ этихъ кружковъ суждено было воспитать всѣхъ лучшихъ людей сороковыхъ годовъ. Въ одномъ изъ кружковъ, группировавшемся около Станкевича, дебатировались отвлеченные вопросы, касающіеся эстетики, философіи и литературы; напротивъ того, другой кружокъ особенно интересовался политикой и соціальнымъ устройствомъ.

Вскорѣ оба кружка сблизились и нерѣдко сообща обсуждали разнаго рода вопросы. Къ первому кружку, въ которомъ въ разное время участвовали такія лица, какъ Аксаковъ, Кетчеръ, Клюшниковъ, Боткинъ, Грановскій, примкнулъ и Бѣлинскій. Эти имена показываютъ, какое оживленіе должно было царствовать въ кружкѣ, члены котораго, столь различные по своимъ позднѣйшимъ взглядамъ, объединялись теперь общими стремленіями къ истинѣ и заманчивою перспективою рѣшенія глубочайшихъ вопросовъ человѣческой мысли. Главнымъ предметомъ ихъ безконечныхъ бесѣдъ и горячихъ споровъ, такъ любимыхъ русскимъ человѣкомъ, была философія Шеллинга, а впослѣдствіи, съ половины 30-хъ годовъ, ученіе Гегеля, отвлеченными положеніями котораго Бѣлинскій и его друзья увлекались до самозабвенія. Одинъ изъ друзей Бѣлинскаго, вспоминая впослѣдствіи свою университетскую жизнь, такъ характеризуетъ это увлеченіе Гегелемъ: „Нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ логики, двухъ эстетики, энциклопедіи и пр., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи „перехватывающаго духа“, принимали за обиды мнѣнія объ „абсолютной личности“ и ея „по себѣ бытіи“. Вопросы философскіе обыкновенно ставились у нихъ въ тѣсную связь съ литературными произведеніями русскими и иностранными. По отзывамъ одного современника, этотъ кружокъ былъ полезнѣе для Бѣлинскаго, чѣмъ Московскій университетъ. Тутъ онъ вращался среди людей, не глубоко ученыхъ, но такихъ, въ кругу которыхъ обсуждались всѣ современные живые и любопытные вопросы. „Эти люди, большею частью молодые, кипѣли жаждой познаній, добра и чести. Почти всѣ они, зная иностранные языки, читали столько же иностранные, сколько и русскіе книги и журналы. Каждый изъ нихъ не былъ профессоромъ, но всѣ вмѣстѣ по части философіи, исторіи и литературы постояли бы противъ цѣлой Сорбонны. Въ этой-то школѣ Бѣлинскій оказалъ огромные успѣхи. Друзья и не замѣчали, что были его учителями, а онъ, вводя ихъ въ споры, горячась съ ними, заставлялъ ихъ выкладывать передъ нимъ всѣ свои познанія, глубоко вбиралъ въ себя слова ихъ, на лету схватывалъ замѣчательныя мысли, развивалъ ихъ далѣе и объемистѣе, чѣмъ тѣ, которые ихъ высказывали“.

Въ этихъ постоянныхъ литературно-философскихъ бесѣдахъ, направленныхъ на лучшія произведенія міровыхъ геніевъ, развивался и крѣпъ природный эстетическій вкусъ Бѣлинскаго, а давнишняя любовь къ русской литературѣ и обширная начитанность въ ней давали возможность безъ особаго труда примѣнять добытыя положенія къ отечественной словесности и мало по малу вырабатывать на нее свою точку зрѣнія. Этотъ же самый философскій кружокъ, несмотря на то, что, повидимому, совершенно чуждался какихъ бы то ни было увлеченій современностью, на самомъ дѣлѣ мало по малу вырабатывалъ критическое отношеніе къ тогдашней невеселой русской дѣйствительности. Это нужно приписать, съ одной стороны, вліянію другого кружка, а съ другой—и самому характеру

увлеченія философскими вопросами: „мы тогда въ философіи искали всего на свѣтѣ, кромѣ чистаго мышленія“, говоритъ по этому поводу Тургеневъ, и его свидѣтельство показываетъ, какъ легко самые, повидимому, отвлеченные вопросы могли ставиться въ тѣсную связь со злобой дня.

Наконецъ, говоря о студенческихъ годахъ Бѣлинскаго, необходимо вспомнить о вліяніи на его литературные взгляды проф. Надеждина, писавшаго сначала въ „Вѣстн. Евр.“, а затѣмъ, до 1836-го года, издавшаго свой собственный журналъ: „Телескопъ“. Имя Надеждина почти неизвѣстно у насъ теперь и очень мало говоритъ современному читателю, а между тѣмъ это была во всѣхъ отношеніяхъ выдающаяся личность, имѣвшая немалыя заслуги въ исторіи нашего общественнаго развитія. Глубоко и всесторонне образованный, какъ, быть можетъ, никто у насъ въ его время, обладавшій недюжиннымъ критическимъ талантомъ и сильнымъ, проницательнымъ умомъ, онъ написалъ цѣлый рядъ изслѣдованій по различнымъ отраслямъ гуманитарныхъ наукъ; между ними особенное значеніе имѣютъ его литературно-критическія статьи, подъ псевдонимомъ эксъ-студента Недоумко. Онъ первый далъ прочныя теоретическія основанія нашей критикѣ и примѣнилъ на практикѣ эти основанія, позаимствовалъ ихъ изъ философіи Шеллинга, ученіе котораго во многихъ случаяхъ онъ подвергъ самостоятельной разработкѣ. Въ университетѣ Надеждинъ въ своихъ лекціяхъ широкую философскую точку зрѣнія примѣнялъ къ вопросамъ искусства и литературы. Если его критическія статьи и университетскія лекціи не имѣли въ свое время почти никакого значенія для публики, которая вовсе не была подготовлена къ воспріятію его идей, то онѣ оказали огромное вліяніе на развитіе небольшого кружка университетской молодежи, о которомъ у насъ сейчасъ была рѣчь. Къ этому кружку, въ числѣ другихъ лицъ, извѣстныхъ впослѣдствіи подъ именемъ людей сороковыхъ годовъ, принадлежалъ и Бѣлинскій. Вліяніе Надеждина на Бѣлинскаго, начавшееся его статьями въ „Вѣстникѣ Европы“ и „Телескопѣ“, продолжалось университетскими лекціями и закончилось въ личномъ знакомствѣ, по выходѣ Бѣлинскаго изъ университета. Въ положеніяхъ Надеждина Бѣлинскій впервые нашелъ теоретическую основу для своихъ взглядовъ, исходя изъ которой началось прочное и послѣдовательное развитіе его мнѣній.

Итакъ, кружокъ Станкевича и вліяніе Надеждина, а также извѣстнаго критика и журналиста Н. Полевого, довершили литературно-научное развитіе Бѣлинскаго, помогли ему выработать общія философскія положенія для его міровоззрѣнія; и если одно время Бѣлинскій, исходя изъ этихъ положеній, доходилъ до полнаго оправданія окружавшей его жизни, то виною этому были не общіе принципы, усвоенные имъ въ кружкѣ Станкевича,—ибо нѣсколько позднѣе, въ первой половинѣ сороковыхъ годовъ, опираясь на нихъ, онъ пришелъ къ совершенно противоположнымъ выводамъ,—а та необычайная логическая послѣдовательность ума, благодаря которой онъ, принявъ извѣстную мысль, развивалъ ее до послѣднихъ результатовъ, даже до такихъ, гдѣ непосредственное чувство возмущалось противъ теоретическихъ выводовъ. Любопытно, что въ этомъ случаѣ онъ смѣло шелъ одинъ противъ своихъ друзей, рискуя пасть въ глазахъ тѣхъ, чьимъ мнѣніемъ онъ дорожилъ болѣе всего на свѣтѣ. Органически честная натура не позволяла ему во имя чего бы то ни было уклоняться отъ тѣхъ положеній, какія въ данное время онъ считалъ справедливыми и истинными.

Къ этому же времени относится и первые его литературные опыты, если не считать не сохранившихся стихотвореній, написанныхъ еще въ гимназіи въ подражаніе Жуковскому. Будучи студентомъ Московскаго университета, онъ написалъ трагедію: „Дмитрій Калининъ“. Съ точки зрѣнія литературной эта трагедія представляется довольно слабымъ произведеніемъ, но она въ высшей степени цѣнна для характеристики душевнаго настроенія ея автора въ то время. Пьеса имѣетъ цѣлью изобразить деспотизмъ и тиранство помѣщиковъ, съ одной стороны, и угнетенное положеніе крестьянъ, съ другой. Она ясно показываетъ, что Бѣлинскій и въ этотъ періодъ далеко не безразлично относился къ явленіямъ текущей жизни, то преклоненіе предъ всякой дѣйствительностью, какова бы она ни была, которое онъ проповѣдывалъ нѣсколько позднѣе подъ вліяніемъ ошибочнаго пониманія одного изъ положеній Гегеля, вносило въ сущности, страшный разладъ въ его внутренній міръ, заставляя насильно заглушать острое чувство негодованія и протеста противъ темныхъ сторонъ современной жизни.

Какъ кажется, упомянутая трагедія и была главной причиной того, что Бѣлинскому пришлось покинуть университетъ, не окончивъ курса. Очутившись безъ всякихъ средствъ (въ университетѣ онъ былъ казеннокоштнымъ студентомъ), Бѣлинскій съ трудомъ нашелъ себѣ грошевые уроки и кое-какую литературную работу. Мало по малу опредѣляется его призваніе, и онъ съ 1834-го года до самой смерти дѣлается заправскимъ журнальнымъ работникомъ, завѣдуя, по большей части, самымъ тяжелымъ и неблагодарнымъ отдѣломъ—разборомъ и рецензіей новыхъ книгъ и сочиненій. Одинъ изъ его біографовъ замѣчаетъ, что съ выхода изъ университета Бѣлинскій до конца дней своихъ оставался почти что нищимъ человѣкомъ. Это нѣсколько переувеличенное обобщеніе имѣетъ однако большую долю правды: дѣйствительно, Бѣлинскій никогда не былъ обезпеченъ матеріально, вѣчно работалъ изъ-за насущнаго куска хлѣба, часто принужденный давать въ журналѣ отчетъ о всей печатной белибердѣ, которая появлялась на книжномъ рынкѣ.

Первое время Бѣлинскій сотрудничалъ въ „Молвѣ“ и „Телескопѣ“, московскихъ журналахъ, издаваемыхъ Надеждинымъ. Уже первая его статья: „Литературныя мечтанія“ обратила на него вниманіе читателей. Каждая новая статья все болѣе и болѣе завоевывала ему союзниковъ и все сильнѣе громила отживавшія литературныя традиціи. Между тѣмъ, міровоззрѣніе Бѣлинскаго было далеко не таково, чтобы можно было ожидать отъ него рѣзкихъ нападокъ на существовавшія литературныя и всякія другія явленія. Въ это время, особенно съ 1837-го года вплоть до переѣзда въ Петербургъ, т. е. до начала 40-хъ годовъ, Бѣлинскій со всей страстностью своей натуры проповѣдывалъ полное преклоненіе предъ существующей дѣйствительностью. Говоря въ одномъ изъ писемъ объ этомъ времени, Бѣлинскій писалъ: „Это былъ ужасный періодъ моей жизни, но я теперь понимаю его необходимость... Я страдалъ, потому что принесъ въ жертву моимъ конечнымъ опредѣленіямъ всѣ мои чувства, вѣрованія, надежды, свое самолюбіе, свою личность. Это было нужно: тотъ не любитъ истины, кто не хочетъ для нея заблуждаться и приноситъ ей въ жертву, какъ Молоху, все, чѣмъ живешь и радуешься“.

Эта насильственная ломка самого себя, конечно, не могла долго продолжаться. Личныя свойства натуры Бѣлинскаго были таковы, что онъ не могъ жить безъ борьбы, не могъ спокойно созерцать совершавшуюся вокругъ него жизнь. Вскорѣ, въ

началѣ 40-хъ годовъ, Бѣлинскій радикально перемѣнилъ свои взгляды на современную русскую дѣйствительность и на значеніе каждой отдѣльной личности. Этому не мало подготовили почву еще въ Москвѣ горячіе споры съ друзьями, а затѣмъ, по переѣздѣ Бѣлинскаго въ концѣ 1839-го года въ качествѣ сотрудника „Отеч. Зап.“ въ Петербургъ, петербургская жизнь, окружившая его новыми условіями, новыми людьми. Въ его письмахъ къ друзьямъ, относящихся къ началу 40-хъ годовъ, есть не мало мѣстъ, свидѣтельствующихъ о томъ, какъ постепенно въ его душѣ происходилъ поворотъ, и вырабатывалось совершенно новое отношеніе къ жизни. Такъ, въ письмѣ къ Боткину въ концѣ 1841-го года мы находимъ слѣдующее замѣчательное мѣсто: „Горѣ, тяжелое горе, овладѣвастъ мною при видѣ и босоногихъ мальчишекъ, играющихъ на улицѣ въ бабки, и образованныхъ нищихъ, и пьянаго извозчика, и идущаго съ развода солдата, и бѣгущаго съ портфелемъ подъ мышкою чиновника, и довольнаго собою офицера, и гордаго вельможи. Подавши грошъ солдату, я чуть не плачу; подавши грошъ нищей, я бѣгу отъ нея, какъ будто сдѣлавши худое дѣло и какъ будто не желая услышать шелеста собственныхъ шаговъ своихъ. И это жизнь! сидѣть на улицахъ въ лохмотьяхъ, съ идіотскимъ выраженіемъ на лицѣ, насобирать днемъ нѣсколько грошей, а вечеромъ пропить ихъ въ кабакѣ,—и люди это видятъ, и никому до этого нѣтъ дѣла! И это общество, на разумныхъ началахъ существующее, явленіе дѣйствительности“! Этотъ вопль больной души показываетъ, что Бѣлинскій начинаетъ уже совершенно иначе относиться къ текущей жизни и вскорѣ выступитъ со страстной пропагандой борьбы противъ проповѣдуемой прежде покорности. Этотъ внутренній переворотъ въ убѣжденіяхъ Бѣлинскаго имѣлъ очень важное вліяніе и на общій характеръ его дѣятельности. Исходя изъ убѣжденія, что все дѣйствительное разумно,—Бѣлинскій первое время съ негодованіемъ относился къ тѣмъ литературнымъ произведеніямъ, которыя заключали въ себѣ претестъ противъ существующей дѣйствительности. По его взглядамъ въ московскій періодъ жизни, сфера поэтическаго творчества должна быть совершенно чужда всякихъ отношеній къ жизни, она существуетъ сама для себя и не омрачается „пѣснями земли“. Ей нѣтъ дѣла до людскихъ страданій, она знаетъ только красоту, тщательно охраняя себя отъ всякихъ печальныхъ явленій дѣйствительности. Подъ вліяніемъ такихъ взглядовъ, онъ, напримѣръ, съ презрѣніемъ отзывался о произведеніяхъ французскихъ энциклопедистовъ XVIII-го столѣтія, о критикахъ, не признающихъ теоріи „искусства для искусства“, о Жоржъ-Зандъ и вообще о всѣхъ тѣхъ писателяхъ, которые стремились къ новой жизни, къ общественному обновленію. Истинными художниками почитались тѣ, кто творилъ „безсознательно“, какъ Гомеръ, Шекспиръ, Гете, тогда какъ Шиллеръ въ это время вызывалъ только негодованіе Бѣлинскаго.

Но вотъ „Питеръ передѣлалъ“ Бѣлинскаго, какъ выражается онъ самъ. Набросавъ въ цитированномъ выше письмѣ неприглядную картину окружавшей его жизни, Бѣлинскій восклицаетъ: „и послѣ этого имѣетъ ли право человѣкъ забавляться въ искусствѣ, въ знаніи“! Одно изъ двухъ—или прочь искусство, потому что безчестно погружаться въ область красоты, отрѣшаться отъ жизни, когда кругомъ царствуетъ адъ кромѣшный, раздаются стоны страданія, или же, сохранивъ его, нужно крѣпкими узами привязаться къ дѣйствительности, къ борьбѣ за счастье и свободу человѣчества. Само собою разумѣется, что Бѣлинскій выбралъ второе, и уже

съ 1843-го года въ его статьяхъ замѣчается новая, свѣжая струя, проповѣдь искусства для жизни. Духъ нашего времени таковъ,—писалъ въ этомъ году Бѣлинскій,—что величайшая творческая сила можетъ изумить только на время, если она ограничивается птичьимъ пѣніемъ, создаетъ себѣ свой міръ, не имѣющій ничего общаго съ философскою и историческою дѣйствительностью современности, если она воображаетъ, что земля недостойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны слушать ея таинственныхъ сновидѣній и поэтическихъ созерцаній. Свобода творчества легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего отечества, своей эпохи, усвоить себѣ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отдѣляетъ убѣжденій отъ дѣла, сочиненій отъ жизни". Это новая точка зрѣнія настолько была несогласна съ прежними взглядами Бѣлинскаго, что онъ теперь съ отвращеніемъ вспоминаетъ о нѣкоторыхъ своихъ статьяхъ, гдѣ онъ держался чисто эстетическихъ принциповъ. Такъ, напримѣръ, онъ чрезвычайно недоволенъ на себя за статью о „Горе отъ ума", гдѣ эта комедія была признана ничтожной въ художественномъ отношеніи. Всего тяжелѣе,—пишетъ онъ,—мнѣ вспомнить о „Горе отъ ума", которое я осудилъ съ художественной точки зрѣнія и о которомъ говорилъ свысока, съ пренебреженіемъ, на догадываясь, что это—благороднѣйшее гуманическое произведеніе, энергическій (и при томъ еще первый) протестъ противъ гнусной россійской дѣйствительности, противъ чиновниковъ-взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ... свѣтскаго общества, противъ невѣжества, добровольго холопства и пр. пр...". Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ приводитъ яркій примѣръ того, какъ ненавистенъ сталъ теперь Бѣлинскому принципъ чистаго искусства. „Помню,—говоритъ Тургеневъ,—съ какой комической яростью онъ при мнѣ напалъ однажды на Пушкина за его два стиха въ „Поэтъ и чернь".—Печной горшокъ тебѣ дороже: ты пищу въ немъ себѣ варишь.—„И конечно, твердилъ Бѣлинскій, сверкая глазами и бѣгая изъ угла въ уголъ,—конечно дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бѣдняка въ немъ пищу варю,—и прежде чѣмъ любоваться красотой истукана,—будь онъ распрефидіасовскій Аполлонъ,—мое право, моя обязанность накормить своихъ и себя, на зло всѣмъ негодующимъ баричамъ и виршеплетамъ". Съ этого пути Бѣлинскій уже до конца дней своихъ не свернетъ никуда въ сторону и, чѣмъ дальше, тѣмъ съ большей силою и убѣдительностью будетъ говорить о значеніи искусства для жизни, будетъ громить темныя стороны печальной дѣйствительности. Срочная журнальная работа ради хлѣба насущнаго, возня часто съ ничтожными по своему содержанію книженками, тяжкіе физическіе недуги,—все это не ослабитъ горячности и энергіи Бѣлинскаго, и его статьи, вплоть до послѣдней, будутъ исполнены самаго страстнаго воодушевленія и чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе будутъ завоевывать себѣ современныхъ читателей и становиться одной изъ руководящихъ силъ тогдашней жизни. „Каковъ бы я ни былъ, но я борюсь съ дѣйствительностью, вношу въ нее свой идеалъ жизни. Борьба съ дѣйствительностью охватываетъ меня и поглащаетъ все существо мое",—такъ писалъ Бѣлинскій въ началѣ 40-хъ годовъ, и съ этого времени онъ становится не только литературнымъ критикомъ, но и публицистомъ, затрагивающимъ самые жгучіе, больные вопросы текущей жизни.

Между тѣмъ, чисто внѣшняя обстановка жизни Бѣлинскаго мало измѣнилась. Съ конца 1839-го года онъ началъ работать въ „Отеч. Зап.“ и за весь критическій и библіографическій отдѣлъ журнала получалъ до женидьбы около 1000 руб. сер. (4000 р. ассигн.) въ годъ, плату совершенно нищенскую въ сравненіи съ огромной работой. Возлѣ Бѣлинскаго въ „Отеч. Зап.“ сгруппировались лучшія тогдашнія литературныя силы, и журналъ вскорѣ достигъ рѣдкаго единства направленія и пріобрѣлъ большое вліяніе на умственную жизнь общества. Бѣлинскій велъ, между прочимъ, упорную борьбу съ противниками своихъ мнѣній, которые объединились въ журналѣ „Москвитянинъ“, издаваемомъ подъ редакціей Погодина и Шевырева. Въ концѣ 1843-го года Бѣлинскій женился, а въ 1845-мъ году разошелся съ Краевскимъ и ушелъ изъ „Отеч. Зап.“. Чтобы охарактеризовать положеніе Бѣлинскаго въ редакціи „Отечественныхъ Записокъ“, напомнимъ содержаніе одной каррикатуры, помѣщенной въ одномъ „Иллюстрированомъ Альманахѣ“ 40-хъ годовъ. Каррикатура представляла худого, изможденнаго Бѣлинскаго, на плечахъ котораго покоится полная фигура Краевскаго. Надъ каррикатурой стоитъ надпись: „Карьера ловкаго журналиста“, а внизу подписано: „она составлена, какъ на рисункѣ показано, на чужихъ раменахъ, на раменахъ геніальнаго, но бѣднаго труженика-критика“. Вскорѣ Бѣлинскій сталъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ сотрудниковъ „Современника“, издаваемаго Панаевымъ и Некрасовымъ. Но здоровье Бѣлинскаго все ухудшалось. Въ 1846-мъ году друзья устроили ему поѣздку на югъ Россіи, а въ 1847-мъ году за границу, но чахотка не поддавалась лѣченію, и 26 мая 1848-го года великаго русскаго публициста не стало.

Первымъ крупнымъ произведеніемъ Бѣлинскаго, сразу обратившимъ на него вниманіе писателей и публики и создавшимъ ему какъ горячихъ поклонниковъ, такъ и непримиримыхъ враговъ, была его критическая статья: „Литературныя мечтанія, элегія въ прозѣ“, помѣщенная въ „Молвѣ“ 1834-го года. Панаевъ, написавшій любопытныя воспоминанія, охватывающія тридцатые и сороковые годы нашей литературы, такъ изображаетъ впечатлѣніе, произведенное на него „Литературными мечтаніями“: „Новый, смѣлый, свѣжій духъ охватилъ меня. Не оно ли, подумалъ я, это новое слово, котораго я жаждалъ, не это-ли тотъ самый голосъ правды, который я такъ давно хотѣлъ услышать!“ Панаеву нужно было подѣлиться съ кѣмъ-нибудь своимъ восторгомъ, и онъ скорѣе отправился къ Языкову, съ которымъ опять перечиталъ статью. Языковъ пришелъ въ такой же восторгъ, и имя Бѣлинскаго,—говоритъ Панаевъ,—уже стало дорого намъ. Какъ ничтожны и жалки казались мнѣ послѣ этой горячей и смѣлой статьи пошлыя, рутинныя критическія статейки о литературѣ, появлявшіяся въ московскихъ и петербургскихъ журналахъ“.

Что же представляли собою эти „Литературныя мечтанія“, и въ чемъ заключалась причина ихъ необычайнаго успѣха? Главная мысль статьи достаточно ясно видна уже изъ эпиграфовъ, выставленныхъ въ началѣ ея. Приведемъ второй изъ нихъ, заимствованный изъ статей извѣстнаго въ то время журналиста Сенковскаго (Баронъ Брамбеусъ): „Есть ли у васъ хорошія книги?“—Нѣтъ; но у насъ есть великіе писатели.—„Такъ, по крайней мѣрѣ, у васъ есть словесность?“—Нѣтъ, у насъ только книжная торговля.—Уже по этому эпиграфу можно судить, каково мнѣніе автора статьи о русской литературѣ. Въ этой статьѣ Бѣлинскій излагаетъ

основанія философіи Шеллинга и затѣмъ, опираясь на нее, обозрѣваетъ нашу литературу, начиная съ Кантемира и кончая Пушкинымъ. Задача поэзіи состоитъ въ воспроизведеніи идеи всеобщей жизни природы, единой и вѣчной проявляющейся въ безконечномъ разнообразіи явленій физическаго и нравственнаго міра. Но это воспроизведеніе должно быть свободно и непроизвольно. Пока поэтъ слѣдуетъ безотчетно мгновенной вспышкѣ своего воображенія, онъ нравственъ, онъ поэтъ, но лишь только онъ задалъ себѣ тему, поставилъ опредѣленную цѣль—онъ обращается въ моралиста, философа и теряетъ свою чародѣйственную власть надъ сердцами читателей. Итакъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, въ этотъ періодъ его критической дѣятельности, поэтическое творчество должно быть безсознательнымъ: тѣмъ не менѣе, въ произведеніяхъ поэта таинственнымъ образомъ будетъ воплощаться идея всеобщей міровой жизни. Эта идея, выражаемая поэтомъ, есть та самая, представителемъ которой служитъ родной народъ поэта, такъ какъ, въ силу непреложнаго закона Провидѣнія, каждому народу дано своею жизнью выражать какую-нибудь сторону бытія цѣлаго человѣчества. Съ этой точки зрѣнія Бѣлинскій и разсматриваетъ весь ходъ нашей литературы съ Кантемира и до своего времени, стараясь опредѣлить, насколько каждый изъ писателей подходилъ подъ такой взглядъ. Онъ приходитъ къ выводу, что въ ней было только четыре настоящихъ поэта—Державинъ, Крыловъ, Грибоѣдовъ и Пушкинъ. „У насъ было много талантовъ и талантиковъ, но мало, слишкомъ мало художниковъ по призванію, то есть такихъ людей, для которыхъ писать и жить, жить и писать—одно и тоже, которые уничтожаются внѣ искусства, которымъ не нужно протекцій, не нужно меценатовъ, или, лучше сказать, которые гибнутъ отъ меценатовъ, которыхъ не убиваютъ ни деньги, ни отличія, ни несправедливости, которые до послѣдняго вздоха остаются вѣрными своему святому призванію... У насъ была эпоха схоластицизма, была эпоха плаксивости, была эпоха стихотворства, эпоха романовъ и повѣстей..., но не было эпохи искусства, эпохи литературы“. Но статья не даромъ называлась „литературными мечтаніями“. Авторъ съ крѣпкой надеждой говоритъ о томъ, что въ русской литературѣ появляются добрые признаки, назрѣваютъ новыя свойства. Разсматривая литературныя произведенія, онъ въ тоже время обращаетъ вниманіе и на вновь нарождающіяся явленія русской жизни, которыя поддерживаютъ его вѣру въ лучшее будущее русской литературы. „У насъ нѣтъ литературы: я повторяю это съ восторгомъ, съ наслажденіемъ, ибо въ этой истинѣ вижу залогъ нашихъ будущихъ успѣховъ. Присмотритесь къ ходу нашего общества, и вы согласитесь, что я правъ. Посмотрите, какъ новое поколѣніе, разочаровавшись въ геніальности и безсмертіи нашихъ литературныхъ произведеній, съ жадностью предается изученію наукъ и черпаетъ живую воду просвѣщенія въ самомъ источникѣ. Придетъ время—просвѣщеніе разольется въ Россіи широкимъ потокомъ, умственная физіономія народа выяснится, и тогда наши художники и писатели на всѣ свои произведенія будутъ налагать печать русскаго духа. Но теперь намъ нужно ученье! ученье! ученье“!...

Основная мысль „Литературныхъ мечтаній“ не является чѣмъ-нибудь новымъ для того времени: тоже самое говорили въ это время въ своихъ статьяхъ Полевой и особенно Надеждинъ, и Бѣлинскій, начиная свою критическую дѣятельность, въ первыхъ статьяхъ является, такъ сказать, ученикомъ и продолжателемъ Надеждина, развивая далѣе тѣ идеи, которыя были высказаны этимъ критикомъ, порою въ го-

раздо болѣе рѣзкой формѣ, чѣмъ та, какую мы находимъ въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ Бѣлинскаго. Но мнѣнія Надеждина, какъ мы имѣли случай замѣтить, оказались не по плечу тогдашнему русскому читателю и оставались въ тѣни, не будучи вовсе распространены въ публикѣ. Въ пользовавшихся популярностью журналахъ и книгахъ, затрагивавшихъ вопросы русской словесности, разсточались только нелѣпыя похвалы и безотчетные восторги по адресу того или другого изъ старыхъ писателей. Статьи Надеждина, среди этихъ неосновательныхъ панегириковъ, были въ полномъ смыслѣ слова гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Но вотъ прошло нѣсколько лѣтъ. И старому, и особенно молодому поколѣнію читателей, выросшему подъ вліяніемъ новыхъ литературныхъ идей, все болѣе надоѣдали однообразныя статьи хвалебнаго тона о русскихъ писателяхъ. Эти молодые читатели, въ большей или меньшей степени уже знакомые съ идеями современной нѣмецкой эстетики, не могли не возмущаться господствовавшими у насъ понятіями объ искусствѣ и съ нетерпѣніемъ ждали „новаго слова“, не подозрѣвая того, что оно уже давно сказано и хранится на страницахъ статей Надеждина. Понятно поэтому, что горячо написанная статья Бѣлинскаго, шедшая въ разрѣзъ съ общимъ поклоненіемъ мнимымъ литературнымъ авторитетамъ и смѣло рѣшившаяся, вопреки установившемуся мнѣнію, отрицать у насъ даже существованіе литературы въ полномъ смыслѣ этого слова, должна была привести въ неподдѣльный восторгъ недовольныхъ господствовавшимъ теченіемъ критики и, съ другой стороны, вызвать негодованіе и озлобленіе литературныхъ старовѣровъ. Значеніе „Литературныхъ мечтаній“ Бѣлинскаго заключается не въ томъ, что онъ въ этой статьѣ первый рѣшился сказать смѣлое слово противъ ложныхъ литературныхъ авторитетовъ, какъ это думаютъ нѣкоторые,—новаго тутъ, пожалуй, еще ничего не было; но важно, что молодой критикъ сразу началъ съ того, на чемъ остановился одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ и непонятыхъ его предшественниковъ, что онъ, благодаря тонкому чутью и широкому литературному образованію, сумѣлъ выступить смѣлымъ борцомъ противъ отжившихъ, хотя все еще господствовавшихъ литературныхъ понятій.

Эта статья является достойной увертюрой дальнѣйшей дѣятельности Бѣлинскаго, такъ какъ намѣчаетъ важнѣйшія свойства его критики. Въ ней уничтожаются старые литературные кумиры, оцѣнка художественной стороны литературы ставится въ связь съ задачами искусства и условіями творчества автора, литература разсматривается, какъ выраженіе общественной жизни, вслѣдствіе чего и критика принимаетъ публицистическій характеръ; наконецъ, въ похвалахъ Пушкину выражается сочувствіе реализму. Въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ Бѣлинскій, какъ сказано, выступилъ смѣлымъ бойцомъ, противъ отжившихъ, хотя еще господствовавшихъ литературныхъ понятій и авторитетовъ и нанесъ имъ рѣшительный ударъ. Вызванные имъ толки и споры способствовали тому, что многія свѣтила псевдоклассицизма и романтизма были свержены со своего пьедестала и вскорѣ, подъ вліяніемъ дальнѣйшихъ статей Бѣлинскаго, и совсѣмъ забыты.

То же настроеніе мы замѣчаемъ и въ другой статьѣ Бѣлинскаго, написанной черезъ полтора года послѣ „Литературныхъ мечтаній“ и помѣщенной въ первыхъ номерахъ надеждинскаго „Телескопа“ за 1836-й годъ. Отзываясь неодобрительно о критикѣ предшествовавшей эпохи, онъ говоритъ: „Критиковать тогда значило хвалить, восхищаться, дѣлать возгласы и, много много, если указывать на нѣкоторые неудач-

ные стишки въ цѣломъ сочиненіи или на нѣкоторыя слабыя мѣста, съ совѣтомъ поэту, какъ ихъ починить. Понятія о творчествѣ тогда были готовыя, взятыя на прокатъ у французовъ; критики не было, потому что критика болѣе или менѣе сестра сомнѣнію, а тогда царствовало полное убѣжденіе въ богатствѣ нашей литературы какъ по количеству, такъ и по качеству". Коснувшись вскользь Державина, онъ въ нѣсколькихъ строкахъ развѣнчиваетъ его хвалебныя оды, служившія еще и въ то время предметомъ самаго восторженнаго поклоненія. Возьмите его торжественныя оды,—пишетъ Бѣлинскій,—что это такое? Посмотрите, какъ онъ въ нихъ никогда не могъ поддержать до конца своего напряженнаго восторга, какъ онъ въ концѣ каждой изъ нихъ падалъ и, начавши высоко и громко, оканчивалъ ровно ничѣмъ. И кто станетъ читать теперь торжественныя оды"? Такъ смѣло, энергично шелъ Бѣлинскій противъ установившихся литературныхъ мнѣній, нисколько не задумываясь произнести свое строгое сужденіе, разъ признавалъ его справедливымъ.

Между тѣмъ „Литературныя мечтанія" стали сбываться. Въ лицѣ Пушкина, Гоголя и Кольцова свѣтлой звѣздой засіяло новое направленіе; русская литература выходитъ на самостоятельную дорогу, становится яркой картиной современной жизни, выраженіемъ нарождающагося общественнаго самосознанія. Трудно представить себѣ тотъ восторгъ, съ какимъ были встрѣчены Бѣлинскимъ первыя произведенія Гоголя и Кольцова. Несмотря на то, что Кольцовъ издалъ только небольшой сборникъ стихотвореній съ 18-ю пьесами, а Гоголь,—только „Вечера на хуторѣ", „Миргородъ" и „Арабески", Бѣлинскій сразу оцѣнилъ ихъ значеніе и не усумнился назвать Гоголя „главою нашей литературы". Мало по малу измѣняются нѣсколько взгляды Бѣлинскаго и на русскую литературу до Пушкина, которую онъ такъ безпощадно осудилъ въ „Литературныхъ мечтаніяхъ". Попрежнему признавая ничтожество ея въ художественномъ отношеніи, онъ уже замѣчаетъ историческую связь отдѣльныхъ ея явленій, пытается отмѣтить постепенный ростъ ея развитія, отъ Ломоносова до его времени. Въ позднѣйшихъ своихъ статьяхъ, выясняя смыслъ и значеніе произведеній современныхъ ему русскихъ писателей, Бѣлинскій неоднократно, по различнымъ поводамъ, касался и литературныхъ явленій прошлаго. Особенно подробно и многосторонне останавливался онъ на русской литературѣ XVIII-го вѣка. Эти экскурсіи въ исторію отечественной литературы отъ Ломоносова до Пушкина имѣютъ весьма важное значеніе. Въ нихъ Бѣлинскій первый указалъ постепенную преемственность и историческую связь отдѣльныхъ литературныхъ явленій и далъ надлежащую историко-литературную оцѣнку различныхъ писателей, и направленій, выяснивши значеніе каждаго изъ нихъ въ общемъ развитіи русской словесности. Этимъ онъ создалъ у насъ исторію литературы, положивъ начало разработкѣ самаго сложнаго и интереснаго ея періода—отъ Ломоносова до своего времени. Эта заслуга Бѣлинскаго тѣмъ болѣе должна быть высоко поставлена, что передъ собой онъ имѣлъ только односторонніе и фальшивые опыты въ этой области ложноклассическихъ и романтическихъ критиковъ. Несмотря на это, благодаря тонкому литературному вкусу и обширной начитанности, онъ сразу сумѣлъ прійти настолько къ правильнымъ выводамъ, что позднѣйшимъ изслѣдователямъ, по большей части, приходится только подтверждать высказанныя имъ сужденія. Въ концѣ жизни Бѣлинскій принялся было за систематическую исторію русской литературы, въ которой хотѣлъ сгруппировать въ одно цѣлое свои мнѣнія по различнымъ литературнымъ во-

просамъ. Къ сожалѣнію, ему не удалось закончить этого труда, который, несомнѣнно, былъ бы однимъ изъ самыхъ цѣнныхъ вкладовъ въ разработку русской словесности. Онъ успѣлъ только написать нѣсколько отдѣльныхъ статей: „Идея искусства“, „Общее значеніе слова «литература»“, „Раздѣленіе поэзіи на роды и виды“, очевидно, предназначавшихся для задуманнаго сочиненія.

Итакъ, мы отмѣтили одну, пожалуй, самую крупную историко-литературную заслугу Бѣлинскаго: онъ первый далъ намъ исторію русской литературы (начиная съ XVIII-го в.) и притомъ въ такомъ видѣ, что его выводы сохраняютъ свою силу и до настоящаго времени, несмотря на то, что, въ сущности говоря, только послѣ него началась научная разработка этого предмета.

Но обзоръ и выясненіе литературныхъ явленій прошлаго были второстепеннымъ дѣломъ Бѣлинскаго; онъ былъ не историкъ литературы, а критикъ, желавшій и обязанный, какъ сотрудникъ того или другого журнала, останавливаться, главнымъ образомъ, на произведеніяхъ своихъ современниковъ, подвергать ихъ критической оцѣнкѣ и выяснять для читателей ихъ литературное значеніе. Критическая дѣятельность Бѣлинскаго совпала съ замѣчательнымъ періодомъ нашей литературы, когда она, наконецъ, послѣ долгихъ блужданій, попала на настоящую дорогу и стала національной и самобытной. Извѣстно, что этому быстрому росту нашей словесности способствовали такіе авторы, какъ Пушкинъ, Гоголь, Кольцовъ и Лермонтовъ. Ихъ произведенія, являвшіяся своего рода откровеніемъ и вѣрнымъ залогомъ славнаго будущаго для однихъ, для другихъ, литературныхъ старовѣровъ, были предметомъ негодованія и самаго непристойнаго глумленія. Публика имѣла еще слишкомъ мало литературнаго вкуса для того, чтобы рѣшить, на чьей сторонѣ правда. Часто дешевое остроуміе литераторовъ въ родѣ Сенковскаго имѣло гораздо болѣе успѣха, чѣмъ талантливо написанная статья серьезнаго критика. Для того, чтобы не только въ публикѣ, но и въ литературныхъ кругахъ новое направленіе одержало верхъ, нуженъ былъ могучій защитникъ его, обладавшій недюжиннымъ талантомъ, обширными свѣдѣніями и горячей любовью къ отстаиваемому дѣлу. Мы уже знаемъ, что всѣми этими качествами въ совершенствѣ обладалъ Бѣлинскій, и онъ съ увлеченіемъ принялся толковать публикѣ все значеніе новыхъ литературныхъ явленій. Побѣда была полная, да и трудно было устоять противъ этого отважнаго бойца, вооруженнаго тонкимъ критическимъ чутьемъ, обширными и разнообразными свѣдѣніями, даромъ блестяще и увлекательно излагать свои мысли и упорно, въ теченіе болѣе чѣмъ 10 лѣтъ, защищавшаго первые шаги реализма въ русской литературѣ. Никому другому, какъ Бѣлинскому, принадлежитъ заслуга правильнаго истолкованія произведеній Пушкина, Кольцова, Гоголя и Лермонтова.

Его статьи объ этихъ писателяхъ сохраняютъ свое значеніе и въ настоящее время; даже теперь, когда прошло болѣе полустолѣтія со времени ихъ появленія, немного найдется книгъ, могущихъ вполнѣ ихъ замѣнить. Современный читатель найдетъ въ нихъ одну изъ самыхъ живыхъ и мѣткихъ характеристикъ упомянутыхъ писателей, самый подробный и, въ большинствѣ случаевъ, вѣрный эстетическій разборъ ихъ произведеній на ряду съ популярно изложенными общими принципами искусства и поэзіи. Между статьями Бѣлинскаго, посвященными разбору произведеній Пушкина, Гоголя, Кольцова и Лермонтова, особенно обращаютъ на себя вниманіе статьи о Пушкинѣ, написанныя въ періодъ времени съ 1843-го года

по 1846-й годъ. Эти статьи впервые растолковали русскому читателю все значеніе поэтическихъ созданій Пушкина и тѣмъ самымъ дали послѣднему то мѣсто въ исторіи русской словесности, какое онъ занимаетъ тамъ по справедливости и въ настоящее время. Статьи Бѣлинскаго о Пушкинѣ и теперь, не смотря на болѣе или менѣе значительныя поправки къ нимъ позднѣйшихъ изслѣдователей, являются главнымъ матеріаломъ, къ которому долженъ обращаться всякій, кто хочетъ обстоятельно ознакомиться съ произведеніями этого поэта и уяснить себѣ ихъ художественное, историческое и общечеловѣческое значеніе.

Такимъ образомъ, Бѣлинскій не мало способствовалъ водворенію у насъ въ литературѣ, такъ называемой въ то время, натуральной школы, основателемъ которой былъ Пушкинъ и Гоголь. Если эти послѣдніе показали, какъ надо писать, чтобы литературное произведеніе было вполнѣ художественнымъ, народнымъ и имѣло тѣсную связь съ дѣйствительностью, то Бѣлинскій блестяще доказалъ право существованія натуральной школы и, оберегая ее отъ ярыхъ нападеній приверженцевъ другихъ литературныхъ направленій, способствовалъ ея росту и развитію, уясняя значеніе ея какъ читающей публикѣ, такъ и самимъ писателямъ.

Жизнь и дѣятельность Бѣлинскаго, особенно въ послѣдніе годы, совпала съ первыми шагами на литературномъ поприщѣ такъ называемыхъ писателей сороковыхъ годовъ,—Достоевскаго, Тургенева, Гончарова и нѣкоторыхъ другихъ. Эти имена очень хорошо извѣстны не только русскому, но и западно-европейскому читателю: съ ними неразрывно связано представленіе о могучемъ ростѣ нашей литературы, когда она стала вызывать удивленіе и подраженіе въ Западной Европѣ. Любопытно отмѣтить, какъ отнесся Бѣлинскій къ этимъ молодымъ еще тогда талантамъ, только что выступившимъ въ печати и подчасъ не рѣшавшимся даже открыть своихъ именъ. Необыкновенное критическое чутье не измѣнило и тутъ Бѣлинскому. Въ первыхъ, иногда въ довольно слабыхъ произведеніяхъ молодыхъ, еще ничѣмъ не заявившихъ себя авторовъ, онъ все же подмѣчалъ печать истиннаго дарованія и, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, горячо привѣтствовалъ литературныя новинки. Упомянутые писатели сохранили самыя свѣтлыя воспоминанія о нашемъ знаменитомъ критикѣ, и это будетъ вполнѣ понятно, если принять въ соображеніе, какое значеніе имѣли для современниковъ его статьи, не утратившія своей цѣны и полъ-вѣка спустя. Нѣкоторые изъ нихъ оставили свои воспоминанія, съ той или другой стороны характеризующія личность и взгляды Бѣлинскаго. Очень любопытенъ въ этомъ отношеніи случай, разсказанный Достоевскимъ въ его „Дневникѣ писателя“, о томъ, какъ принялъ Бѣлинскій его первый литературный опытъ—„Бѣдные люди“. Романъ былъ доставленъ Бѣлинскому Некрасовымъ и Григоровичемъ въ рукописи. Когда Бѣлинскій прочелъ его, онъ загорѣлся желаніемъ видѣть автора, чтобы высказать ему весь охватившій его восторгъ. Лишь только Достоевскій пришелъ къ нему, и зашла рѣчь о „Бѣдныхъ людяхъ“, Бѣлинскій заговорилъ пламенно и съ горящими глазами: „Да вы понимаете ли сами-то, что это вы такое написали? Вы только непосредственнымъ чутьемъ, какъ художникъ, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы намъ указали?... Вамъ правда открыта и возвѣщена, какъ художнику, досталась, какъ даръ, цѣните же вашъ даръ и оставайтесь вѣрнымъ ему и будете великимъ писателемъ“!

Когда „Бѣдные люди“ появились въ „Петербургскомъ сборникѣ“ Некрасова, Бѣлинскій написалъ о нихъ блестящую статью, изъ которой видно, что онъ сразу понялъ особенность таланта Достоевскаго. По его мнѣнію, талантъ Достоевскаго не сатирическій, не описательный, но въ высшей степени творческій, поражающій глубокимъ знаніемъ человѣческаго сердца; самая широкая гуманность въ связи съ „патетическимъ элементомъ“ представляетъ особенную черту въ характерѣ его творчества. Тогда же Бѣлинскій далъ предсказаніе, столь оправдавшееся впослѣдствіи, относительно того, что произведенія Достоевскаго не будутъ оцѣнены сразу читателями. „Его талантъ принадлежитъ къ рязряду тѣхъ, которые постигаются и признаются не вдругъ. Много, въ продолженіи его поприща, явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ своей славы“. Но когда нѣкоторыя изъ послѣдующихъ произведеній Достоевскаго, въ силу различныхъ обстоятельствъ, оказались слабѣе „Бѣдныхъ людей“, Бѣлинскій не преминулъ отмѣтить ихъ недостатки. Такъ, относительно „Двойника“ онъ замѣчаетъ, что въ этой повѣсти авторъ обнаружилъ огромную силу творчества и хужественнаго мастерства, но что вмѣстѣ съ тѣмъ тутъ видно страшное неумѣніе владѣть и распоряжаться экономически избыткомъ собственныхъ силъ, нѣтъ, такъ сказать, эстетической мѣры. По его мнѣнію, повѣсть смѣло можно укоротить на одну треть, и тогда она будетъ имѣть успѣхъ. Когда была напечатана „Хозяйка“ Достоевскаго, одно изъ самыхъ слабыхъ его произведеній, Бѣлинскій прямо заявилъ, что „во всей этой повѣсти нѣтъ ни одного простого и живого слова или выраженія; все изыскано, натянуто, на ходуляхъ, поддѣльно и фальшиво“. Кто помнитъ названныя сейчасъ сочиненія Достоевскаго, тотъ поймегъ, какъ справедливы были сужденія о нихъ Бѣлинскаго, который, признавая талантъ какого-либо писателя и вознося его на высокій пьедесталъ, умѣлъ въ тоже время замѣтить и его отрицательныя стороны.

Столь же справедливы отзывы Бѣлинскаго о первыхъ произведеніяхъ Тургенева и Гончарова. Съ большой симпатіей слѣдитъ онъ за первыми шагами на литературномъ поприщѣ Тургенева, котораго онъ уже замѣтилъ и привѣтствовалъ со времени появленія въ печати его перваго произведенія (въ стихахъ)—„Параша“. Отзываясь съ похвалой о его „Хорѣ и Калинычѣ“, онъ даетъ удивительно вѣрную характеристику таланта автора разсказа, подтвержденную впослѣдствіи самимъ Тургеневымъ: „Главная характеристическая черта его таланта,—по словамъ Бѣлинскаго,—заключается въ томъ, что ему едва ли удалось бы создать вѣрно такой характеръ, подобнаго которому онъ не встрѣтилъ въ дѣйствительности“. По словамъ Тургенева, особенность его таланта состоитъ въ умѣніи „принаблюдать явленіе жизни и затѣмъ уже это дѣйствительное явленіе представить въ художественныхъ образахъ“.

Невольно поражаешься художественной прозорливости нашего знаменитаго критика, умѣвшаго по самымъ незначительнымъ чертамъ отгадывать сущность таланта разбираемаго автора, часто неясную ему самому, и направить молодого, неопытнаго писателя на присущую его дарованію дорогу. Итакъ, значеніе Бѣлинскаго состоитъ, между прочимъ, и въ томъ, что онъ воспиталъ на своихъ статьяхъ писателей сороковыхъ годовъ и своими отзывами о первыхъ ихъ произведеніяхъ указалъ надлежащій путь ихъ талантамъ, идя по которому они достигли апогея своего величія.

Какъ въ первыхъ статьяхъ Бѣлинскаго, такъ и въ послѣдующихъ встрѣчается цѣлый рядъ отступленій отъ избранной темы, посвященныхъ выясненію различныхъ теоретическихъ вопросовъ, относящихся къ литературѣ. Таковы многочисленныя отступленія о томъ, что такое поэзія, литература, каково должно быть поэтическое творчество и т. д. Въ теченіе недолгой литературной дѣятельности—всего какихъ нибудь 14 лѣтъ—онъ неоднократно обращался къ выясненію этихъ вопросовъ, обсуждая ихъ, смотря по надобности, съ той или другой точки зрѣнія. Это подало поводъ думать о Бѣлинскомъ, что многія его статьи не даютъ ничего новаго, кромѣ повторенія высказанныхъ раньше положеній, что онъ, въ концѣ концовъ, исписался. Чтобы оцѣнить по достоинству это мнѣніе, стоитъ только припомнить, въ какомъ положеніи находилась тогда наша общественная мысль относительно самыхъ элементарныхъ литературныхъ понятій. Говоря коротко, ихъ совсѣмъ не было въ читающей публикѣ. Бѣлинскому, исходившему въ своихъ критическихъ сужденіяхъ изъ опредѣленныхъ философскихъ положеній, необходимо было уяснить читателямъ свои теоретическія взгляды, касавшіеся основныхъ вопросовъ искусства. Извѣстно, какъ медленно проникаетъ какая-либо новая идея въ толпу. Только настойчивое и энергичное обоснованіе ея всѣми возможными доводами, въ концѣ концовъ, побѣждаетъ врожденную косность массы, но еще проходитъ не мало времени, пока она воспримете цѣликомъ предлагаемое ея вниманію положеніе. Вотъ потому-то кажущіяся слишкомъ отвлеченными и скучными для современнаго намъ читателя постоянныя отступленія въ статьяхъ Бѣлинскаго были въ высшей степени полезны для русскаго читателя тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Эти отступленія, ставшія для большинства изъ насъ всѣмъ извѣстными азбучными истинами, о которыхъ теперь никто не споритъ, были совершенно новымъ открытіемъ для тогдашнихъ писателей, и нуженъ былъ талантъ и настойчивость Бѣлинскаго, чтобы твердо укоренить ихъ въ сознаніи современнаго читателя. Высказанныя въ послѣдній періодъ его дѣятельности положенія касательно того, что называется художественнымъ произведеніемъ, и въ чемъ заключаются его отличительныя черты, какъ происходитъ процессъ поэтическаго творчества, что такое литература во всѣхъ ея разнообразныхъ видахъ и т. д., мало чѣмъ отличаются отъ установившихся у насъ на этотъ счетъ общераспространенныхъ литературныхъ мнѣній. Они вошли, такъ сказать, въ плоть и кровь нашу и безъ всякаго труда и усилія усваиваются еще на школьной скамьѣ, лишь только проснувшаяся мысль пытается взяться за рѣшеніе отвлеченныхъ литературныхъ вопросовъ. Никому въ голову не приходитъ, какихъ усилій стоило одному изъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ литературныхъ дѣятелей провести ихъ полъ-вѣка тому назадъ въ сознаніе русскаго общества. Чтобы не быть голословными, приведемъ одинъ-два первыхъ попавшихся подъ руку примѣра. Пишетъ, положимъ, Бѣлинскій обозрѣніе русской литературы въ 1840-мъ году. Только въ концѣ его, не болѣе пяти страницъ удѣлено краткому обзору выдающихся явленій литературы, остальныя же (болѣе 30-ти) заняты разсужденіями о томъ, что такое словесность, литература, публика, критика и т. п. „Литература, по его опредѣленію, есть сознаніе народа: въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражаются его духъ и жизнь: въ ней, какъ въ фактѣ, видно назначеніе народа, мѣсто, занимаемое имъ въ великомъ семействѣ человѣческаго рода... Источникомъ литературы можетъ быть не какое-нибудь внѣшнее побуж-

деніе или внѣшній толчекъ, но только міросозерцаніе народа". Это опредѣленіе литературы, впервые данное у насъ Бѣлинскимъ, сохранилось и до сего времени и тѣмъ самымъ доказало свою истинность. Столь же общепріняты у насъ теперь и другія теоретическія положенія Бѣлинскаго, для выясненія которыхъ онъ порою дѣлалъ отступленія на нѣсколько десятковъ страницъ. Слѣдовательно, существенная заслуга статей Бѣлинскаго состоитъ, между прочимъ, и въ томъ, что въ нихъ читатели нашли теоретическую основу для здравыхъ сужденій о литературѣ, исходную точку зрѣнія, опираясь на которую, они могли по достоинству оцѣнить безсодержательную болтовню другихъ критиковъ.

Создавая русскую критику вообще, Бѣлинскій въ послѣдній періодъ своей дѣятельности въ то же время является основателемъ новаго теченія русской критики, которому суждено было сыграть огромную роль въ исторіи русскаго общественнаго развитія въ приснопамятные шестидесятые годы. Послѣ долгихъ блужданій въ началѣ 40-хъ годовъ Бѣлинскій приходитъ къ убѣжденію, что литература должна быть могучимъ орудіемъ борьбы за счастье и свободу человѣчества, однимъ изъ средствъ общественнаго развитія и прогресса. Подъ вліяніемъ этого взгляда въ статьяхъ его все чаще и чаще встрѣчаются отступленія по поводу различныхъ жгучихъ вопросовъ современной жизни. Таковы его мысли о воспитаніи, взгляды на русскую женщину, на ея роль и участіе въ общественной жизни, ироническій отзывъ о „кисейныхъ барышняхъ", проповѣдь нравственной свободы личности, негодованіе на крѣпостное право и мн. др. Эти статьи читались съ захватывающимъ интересомъ, потому что въ нихъ все болѣе и болѣе затрагивались самые жгучіе, больные вопросы современной жизни. Разбираемое сочиненіе, какъ говоритъ одинъ современникъ, служило Бѣлинскому, по большей части, матеріальной точкой отправленія, на полъ-дорогѣ онъ бросалъ ее и впивался въ какой-нибудь вопросъ современной жизни. Послѣдующая критика 60-хъ годовъ не даромъ ставила себя въ нравственную связь съ Бѣлинскимъ: въ его статьяхъ мы впервые видимъ зародышъ такъ называемой публистической критики, которая очень мало занимается эстетической стороною произведенія и очень много—общественными выводами, изъ его вытекающими. Можно различнымъ образомъ относиться къ подобнаго рода критикѣ, но нельзя отрицать того, что въ свое время она сыграла выдающуюся роль въ исторіи нашего умственнаго развитія. Во всякомъ случаѣ, за этой критикой остается всегда одно неоспоримое достоинство: она наиболѣе способна пробуждать самостоятельную мысль читателя, и именно таково было значеніе многихъ статей Бѣлинскаго, написанныхъ въ послѣдніе шесть-семь лѣтъ его дѣятельности. Въ нихъ Бѣлинскій является не только литературнымъ критикомъ, но и смѣлымъ, страстнымъ публицистомъ, вождемъ общества во многихъ текущихъ вопросахъ жизни. И читатели понимали и цѣнили это. „Статьи Бѣлинскаго,— разсказываетъ современникъ, — судорожно ожидались молодежью въ Москвѣ и Петербургѣ съ 25-го числа каждаго мѣсяца. Пять разъ хаживали студенты въ кофейни спрашивать, получены-ли „Отеч. Зап.", тяжелый номеръ рвали изъ рукъ въ руки.—„Есть Бѣлинскаго статья?"—„Есть", и она поглощалась съ лихорадочнымъ сочувствіемъ, со смѣхомъ, со спорами... и трехъ-четырехъ вѣрованій, уваженій какъ не бывало"...

И. С. Аксаковъ, противникъ Бѣлинскаго по своимъ общественнымъ и полити-

ческимъ взглядамъ, въ 1846-мъ году такъ писалъ своему отцу о необычайной популярности Бѣлинскаго: „Много я ѣздилъ по Россіи; имя Бѣлинскаго извѣстно каждому сколько-нибудь мыслящему юношѣ, всякому жаждущему свѣжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Мы обязаны Бѣлинскому счастьемъ, говорили мнѣ вездѣ молодые честные люди въ провинціи. Если вамъ нужно честнаго человѣка, способнаго сострадать болѣзнямъ и несчастьямъ угнетенныхъ, честнаго доктора, честнаго слѣдователя, который полѣзъ бы на борьбу, ищите таковыхъ между послѣдователями Бѣлинскаго“.

Въ этой неустанной работѣ надъ пробиваніемъ толстой коры общественнаго индифферентизма, въ постоянномъ призываніи общества къ прогрессивному развитію, къ активной общественной жизни, въ указаніи язвъ и болячекъ соціальной и семейной жизни, въ проповѣди свѣтлаго идеала и состоитъ одна изъ главнѣйшихъ заслугъ Бѣлинскаго, какъ вождя и руководителя общества.

Какое значеніе имѣла для современниковъ сейчасъ отмѣченная сторона Бѣлинскаго, это очень хорошо охарактеризовано Некрасовымъ въ немногихъ прочувствованныхъ стихахъ:

Въ тѣ дни, какъ все коснѣло на Руси,
Дремля и раболѣпствуя позорно,
Твой умъ кипѣлъ и новыя стези
Прокладывалъ, работая упорно.
Ты не гнушался никакимъ трудомъ:
„Чернорабочій я—не бѣлоручка!“
Говаривалъ ты намъ и напроломъ
Шелъ къ истинѣ, великой самоучка:
Ты насъ гуманно мыслить научилъ,
Едва-ль не первый вспомнилъ о народѣ,
Едва-ль не первый ты заговорилъ
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ...
Не думалъ ты, что стоишь ты вѣнца,
И разумъ твой горѣлъ не угасая,
Самимъ собой и жизнью до конца
Святое недовольство сохраняя,—
То недовольство, при которомъ нѣтъ
Ни самообольщенья, ни застоя.
Молясь твоей многострадальной тѣни,
Учитель, передъ именемъ твоимъ
Позволь смиренно преклонить колѣни.

Прошло болѣе пятидесяти лѣтъ, какъ скончался этотъ великій учитель русскаго общества. Полъ-вѣка—срокъ долгій, но онъ не состарилъ Бѣлинскаго. Многое, очень многое изъ сказаннаго имъ сохранятъ все свое значеніе и для нашего времени, на многихъ его статьяхъ еще долго будетъ учиться мыслить и чувствовать русское общество.

И. С. Тургеневъ.

исторія многихъ его произведеній показываетъ, что въ основѣ ихъ обыкновенно лежитъ какой-либо житейскій случай, въ томъ или другомъ видѣ извѣстный писателю, а въ дѣйствующихъ лицахъ можно отыскать нѣкоторыя черты, присущія знакомымъ автору людямъ. Эти люди и отдѣльные факты служили ему исходной точкой для творческаго воссозданія современной дѣйствительности. Неудивительно поэтому, что, пребывая долгое время за границей, онъ порою ничего не писалъ. Онъ самъ указалъ причину этого явленія въ одномъ изъ писемъ, объясняя его особенностями своего дарованія: „Талантъ, отпущенный мнѣ природой, не умалился, но мнѣ нечего съ нимъ дѣлать. Голосъ остался, да пѣть нечего. А пѣть нечего потому, что я живу внѣ Россіи“. Понятно также, почему онъ въ своемъ совѣтѣ молодымъ писателямъ говоритъ о томъ, что нужно постоянное общеніе со средой, которую берешься воспроизводить.

Другая черта таланта Тургенева, вытекающая изъ способности художественно-правдиво изображать дѣйствительность, есть объективность, понимаемая здѣсь, съ одной стороны, какъ способность создавать типы, характеры и т. д., болѣе или менѣе противоположные личности художника, и съ другой—какъ умѣніе воздержаться отъ произнесенія надъ ними въ томъ или другомъ видѣ своего авторскаго суда. Благодаря этой особенности своего дарованія, Тургеневу удалось дать единственное въ своемъ родѣ по безпристрастію изображеніе разнообразныхъ типовъ пережитыхъ имъ эпохъ въ развитіи русскаго общества.

Чрезвычайно цѣннымъ, затѣмъ, свойствомъ поэтическаго таланта Тургенева является его необыкновенно тонко развитая способность наблюденій, удивительная чуткость ко всѣмъ измѣненіямъ общественной жизни, умѣніе уловить и воспроизвести въ художественномъ образѣ едва только народившіеся типы и настроенія. За эту въ высшей степени цѣнную черту его таланта онъ получилъ въ русской критикѣ эпитетъ „ловца момента“. Эпитетъ этотъ какъ нельзя болѣе подходитъ къ Тургеневу. Стоя на стражѣ нашихъ общественныхъ движеній въ теченіе болѣе, чѣмъ сорока лѣтъ, въ продолженіе которыхъ Россія жила напряженной умственной жизнью, съ рѣзкими переходами отъ одного направленія къ другому, онъ все время съ великой точностью отражалъ въ своемъ творчествѣ разнообразныя измѣненія общественной мысли и чувства, умѣя схватить ихъ при самомъ возникновеніи. Вслѣдствіе этого его произведенія представляютъ богатѣйшій матеріалъ для характеристики развитія русской общественной жизни въ такія эпохи, какъ сороковые, шестидесятые и семидесятые годы. Это живая картина развитія нашего общественнаго самосознанія въ указанный періодъ, столь близкій къ намъ по тѣмъ настроеніямъ, какія господствовали тогда: основныя идеи, возникшія въ этотъ періодъ общественнаго возрожденія, и до сихъ поръ волнуютъ нашихъ современниковъ.

Записки охотника.

Отмѣченныя только что характерныя особенности таланта Тургенева отразились въ цѣломъ рядѣ его произведеній; съ достаточной силой сказались онѣ и въ первомъ его выдающемся сочиненіи—сборникѣ разсказовъ, извѣстныхъ подъ скромнымъ заглавіемъ: „Записки охотника“. Здѣсь, какъ и въ позднѣйшихъ своихъ со-

зданіяхъ, Тургеневъ обнаружилъ удивительную чуткость къ пониманію настроенія лучшей части русскаго общества и съ помощью яркихъ художественныхъ картинъ съ особенной силой выдвинулъ то гуманное чувство по отношенію къ мужику, изнывавшему въ крѣпостномъ правѣ, которое отъ времени до времени находило себѣ выраженіе въ русской литературѣ, хотя и въ очень незначительной степени, еще со второй половины XVIII-го вѣка.

Цѣлый рядъ обстоятельствъ содѣйствовалъ тому, чтобы Тургеневъ выступилъ въ своихъ „Запискахъ охотника“ на защиту обездоленнаго народа, за которымъ большинство помѣщиковъ отказывалось признавать какія бы то ни было, хотя бы даже элементарныя, права человѣческой личности.

На первомъ планѣ здѣсь должны быть поставлены дѣтскія впечатлѣнія, воспринятыя маленькимъ Тургеневымъ въ родительскомъ домѣ. Благодаря личнымъ воспоминаніямъ Тургенева, съ одной стороны, и свидѣтельствамъ современниковъ, съ другой, мы можемъ безъ особаго труда уяснить себѣ характеръ этихъ впечатлѣній и то дѣйствіе, какое должны были они имѣть на будущаго автора „Записокъ охотника“.

Тяжело жилось маленькому Тургеневу въ родной семьѣ. Онъ не видѣлъ нѣжной материнской ласки, теплаго участія къ своему внутреннему міру, любовнаго вниманія и сердечности со стороны близкихъ людей. Вмѣсто этого въ семьѣ Тургеневыхъ царила холодность, даже жестокость въ обращеніи съ дѣтьми. Тѣлесное наказаніе считалось едва-ли не единственнымъ средствомъ воспитанія: „Драли меня, разсказываетъ Тургеневъ,—за всякіе пустяки чуть не каждый день“, и въ своихъ воспоминаніяхъ приводитъ нѣсколько фактовъ, ярко иллюстрирующихъ тѣ безобразные воспитательные пріемы, которые, по мнѣнію его родителей, они могли повлiять благотворнымъ образомъ на ихъ дѣтей. Иностранные воспитатели и воспитательницы, смотрѣвшіе чисто формально на свои обязанности, не могли пробудить въ душѣ ребенка теплаго чувства къ себѣ. Одно только лицо относилось съ нѣжной любовью къ маленькому Тургеневу: это былъ дворовый человѣкъ его родителей, простой русскій крестьянинъ Ѳедоръ Ивановичъ Лобановъ, отъ котораго онъ научился русской грамотѣ и, что еще важнѣе, научился страстно любить русскую книгу, русскую поэзію, считавшуюся въ домѣ его родителей чѣмъ-то совсѣмъ непристойнымъ, равно какъ и русскіе писатели, бывшіе, по мнѣнію его бабушки, либо горькими пьяницами, либо круглыми дураками.

Легко понять, какъ долженъ былъ привязаться къ Лобанову одинокій ребенокъ, надѣленный отъ природы нѣжнымъ, отзывчивымъ сердцемъ, жаждавшимъ участія и ласки. Эта нѣжная привязанность къ простому крѣпостному человѣку пробудила въ душѣ маленькаго Тургенева доброжелательное чувство къ русскому мужику вообще и содѣйствовала уничтоженію той созданной вѣками пропасти, которая лежала между нимъ, какъ сыномъ русскаго помѣщика, владѣющаго крѣпостными крестьянами, и находящимся въ рабствѣ народомъ.

Еще болѣе способствовали развитію у Тургенева симпатій къ народу и его горемычной долѣ тѣ картины народныхъ страданій, которыя пришлось наблюдать ему въ родномъ домѣ съ того времени, какъ только онъ помнилъ себя.

Семья Тургеневыхъ причадлежала къ тѣмъ помѣщичьимъ родамъ, у которыхъ жестокое обращеніе съ крѣпостными обратилось въ своего рода традицію, переда-

валось изъ поколѣнія въ поколѣніе. Предки Тургенева съ отцовской и материнской стороны пріобрѣли себѣ печальную извѣстность своимъ безсердечнымъ отношеніемъ къ подвластному народу. Такое же отношеніе сохранилось и у родныхъ будущаго писателя.

„Громадный старинный домъ Тургеневыхъ въ сорокъ комнатъ представлялъ изъ себя гнѣздо всевозможныхъ нравственныхъ пытокъ и физическихъ мученій... Здѣсь ни во что ставили человѣческія слезы и человѣческое счастье. Разбить дорогое чувство, однимъ жестомъ разрушить надежду всей жизни, однимъ капризомъ обездолить цѣлую семью казалось своего рода праздникомъ, торжествомъ власти... Сколько совершалось здѣсь драмъ день за днемъ никѣмъ незримыхъ, никому невѣдомыхъ". Такъ характеризуетъ г. Ивановъ, авторъ лучшаго изслѣдованія о Тургеневѣ (И. С. Тургеневъ. Жизнь. Личность. Творчество) ту обстановку, въ которой пришлось развиваться будущему писателю, и нельзя не признать, что въ этихъ словахъ очень удачно формулировано то впечатлѣніе, какое остается у читателя, ознакомившагося съ различными свѣдѣніями о семьѣ Тургеневыхъ, какія можно найти, какъ въ художественной переработкѣ въ сочиненіяхъ нашего писателя, такъ и въ воспоминаніяхъ о его семьѣ нѣкоторыхъ современниковъ.

Такимъ образомъ, личныя невзгоды одинокаго, лишеннаго любви и ласки ребенка, а съ другой стороны, страданія подневольнаго народа, изъ среды котораго вышелъ самый близкій въ дѣтствѣ къ Тургеневу человѣкъ,—все это должно было содѣйствовать тому, чтобы чуткій, гуманный отъ природы, не выносившій чужого горя ребенокъ еще съ раннихъ лѣтъ проникся глубокой симпатіей къ беззащитному, покорно несущему свой крестъ крестьянину и страстной враждой ко всему тому, что было причиной его горькой доли.

Дальнѣйшая жизнь Тургенева въ молодые годы складывается такимъ образомъ, что чисто безсознательныя симпатіи и антипатіи, возникшія на почвѣ дѣтскихъ впечатлѣній, переходятъ въ ясныя, опредѣленныя убѣжденія, тѣмъ съ большей страстностью исповѣдуемыя, чѣмъ сильнѣе замѣчалось противорѣчіе между ними и окружавшей дѣйствительностью. Сюда нужно отнести, прежде всего, чтеніе такихъ авторовъ, какъ Ауэрбахъ и Жоржъ-Зандъ, произведенія которыхъ проникнуты горячимъ сочувствіемъ къ униженнымъ и оскорбленнымъ, къ меньшей братіи.

Общеніе съ кружкомъ Станкевича и Бѣлинскаго, особенно вліяніе этихъ двухъ замѣчательныхъ представителей поколѣнія идеалистовъ 30-хъ годовъ, а также изученіе нѣмецкой философіи, въ частности системы Гегеля, еще болѣе укрѣпили и осмыслили пробудившееся у Тургенева уже въ раннемъ дѣтствѣ непреодолимое отвращеніе къ грубости, насилію и, прежде всего, къ крѣпостному праву. Мало по малу для него становится прямо невыносимой та жизнь, тотъ общественный строй, который всюду давалъ себя чувствовать въ Россіи, и отъ котораго стонали милліоны русскаго народа. „Все, что я видѣлъ вокругъ себя,—писалъ впослѣдствіи Тургеневъ объ этомъ періодѣ своей жизни,—возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія, отвращенія, наконецъ... Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ... Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все,

противъ чего я рѣшился бороться до конца, съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться. Это была моя Аннибаловская клятва, и не я одинъ далъ ее себѣ тогда". Изъ этого любопытнаго признанія Тургенева ясно видно, какъ онъ относился къ народному рабству, когда его міровоззрѣніе вполнѣ сложилось (это была вторая половина сороковыхъ годовъ): вмѣстѣ съ тѣмъ послѣднія слова его показываютъ, что въ этомъ случаѣ Тургеневъ раздѣлялъ только настроеніе цѣлой группы русскихъ людей, подобно ему сознавшихъ всю ненормальность крѣпостного строя. Это были, прежде всего, молодые идеалисты-энтузіасты, около половины тридцатыхъ годовъ группировавшіеся около Станкевича и Бѣлинскаго, впослѣдствіи значительно разошедшіеся въ своихъ основныхъ взглядахъ, но сохранившіе прежнее отношеніе къ крѣпостному праву, а также то новое поколѣніе русскихъ читателей, которое воспитывалось на статьяхъ Бѣлинскаго и проникалось его міровоззрѣніемъ. Такъ что Тургеневъ въ этомъ случаѣ вполнѣ раздѣлялъ взгляды лучшихъ людей сороковыхъ годовъ и, выражая свою вражду къ народному рабству, вмѣстѣ съ тѣмъ передалъ отношеніе къ этому коренному злу русской жизни тѣхъ изъ своихъ современниковъ, которые начали сознавать свои обязанности передъ обществомъ и народомъ.

Какъ же выполнилъ Тургеневъ свою „Аннибаловскую клятву", какое средство выбралъ онъ для борьбы съ ненавистнымъ врагомъ? Средство это было художественное слово, то благороднѣйшее орудіе, какимъ давно уже пользуются лучшіе представители человѣчества въ борьбѣ со всѣмъ тѣмъ, что давитъ и унижаетъ личность, что мѣшаетъ развиваться истинному прогрессу. Легко понять, почему Тургеневъ остановился именно на этомъ способѣ борьбы. Подъ вліяніемъ такихъ писателей, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь и Бѣлинскій, къ которымъ онъ относился съ глубокимъ уваженіемъ, какъ своимъ учителямъ на литературномъ поприщѣ, у него долженъ былъ выработаться, особенно благодаря двумъ послѣднимъ, взглядъ на поэзію, какъ на могучее орудіе борьбы за лучшіе идеалы жизни, тотъ взглядъ, который такъ пламенно проповѣдывалъ Бѣлинскій въ послѣдній періодъ своей жизни. Если при этомъ принять во вниманіе, что Тургеневъ въ это время уже былъ далеко не чуждъ литературѣ*), то станетъ вполнѣ яснымъ, что онъ, какъ писатель, долженъ былъ вступить въ борьбу съ ненавистнымъ ему враговъ при помощи наиболѣе доступнаго ему оружія—художественнаго слова.

За первымъ разсказомъ: „Хорь и Калинычъ", напечатаннымъ въ январской книжкѣ „Современника" за 1847 годъ, въ томъ же журналѣ помѣщались и другіе разсказы, все болѣе и болѣе создавшіе извѣстность ихъ автору, а черезъ пять лѣтъ, въ началѣ 1852-го года, они вышли отдѣльнымъ изданіемъ, въ двухъ томахъ, подъ общимъ заглавіемъ: „Записки охотника". Авторъ былъ признанъ вреднымъ человѣкомъ, и ему при первомъ удобномъ случаѣ дали почувствовать это: за невиннѣйшій некрологъ о Гоголѣ Тургеневъ, послѣ мѣсячнаго ареста при полиціи, долженъ былъ болѣе, чѣмъ въ теченіе года, жить безвыѣздно въ имѣніи родныхъ. Эта строгая мѣра, вызванная появленіемъ въ свѣтъ „Записокъ охотника", свидѣтельствуетъ

*) Кромѣ стихотворныхъ произведеній, онъ до 1847 года, когда появился въ журналѣ „Современникъ" первый разсказъ изъ „Записокъ охотника", успѣлъ напечатать драматическій очеркъ „Безденежье", разсказы „Андрей Колосовъ", „Три портрета", а также двѣ-три критическихъ статьи.

о томъ, что книга эта далеко не была безопасной для господствовавшаго въ то время на Руси строя.

Что же представляютъ собою „Записки охотника“, что новаго внесли онѣ въ настроеніе русскаго читателя, въ чемъ ихъ общественное и историко-литературное значеніе? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ послужитъ краткій разборъ этого перваго замѣчательнаго произведенія И. С. Тургенева.

„Записки охотника“ распадаются на 25 отдѣльныхъ разсказовъ, считая эпилогъ: „Лѣсъ и степь“. Всѣ они, за исключеніемъ очень немногихъ, посвящены изображенію крѣпостного народа и его жизни, а также помѣщиковъ, главнымъ образомъ, со стороны ихъ отношенія къ крестьянамъ. На ряду съ этимъ въ каждомъ почти разсказѣ читатель находитъ, въ видѣ, такъ сказать, фона, на которомъ разыгривается дѣйствіе, чрезвычайно искусно написанныя картины природы средней полосы Россіи. Въ длинной вереницѣ разнообразныхъ типовъ вывелъ передъ нами Тургеневъ современное ему русское крестьянство. Тутъ и крестьяне-практики, олицетворенная жидейская мудрость, воспитанная многолѣтними тяжелыми трудами; и люди, одаренные необыкновенно тонкой, артистической духовной организаціей, съ изумительно развитымъ чувствомъ природы, ласковые, сердечные, безконечно гуманные; и суровые по виду, но надѣленные золотымъ сердцемъ строгіе исполнители долга, какой наложила на нихъ судьба; и загнанные, забитые, измученные тяжелымъ гнетомъ крѣпостного права, часто потерявшіе человѣческій образъ и подобіе несчастныя жертвы народнаго рабства; и нравственно испорченныя натуры—продуктъ все того-же крѣпостного уклада жизни; и люди, отъ природы одаренные необычайно сильно развитымъ нравственнымъ чувствомъ, врожденные праведники, предъ душевной красотой и величіемъ которыхъ нельзя не преклоняться.

Остановимся нѣсколько подробнѣе на болѣе любопытныхъ представителяхъ народной массы у Тургенева: на крестьянахъ, особенно угнетенныхъ крѣпостнымъ правомъ, и на свѣтлыхъ личностяхъ изъ народа, съ могучимъ нравственнымъ чувствомъ, котораго не могли заглушить ни всесокрушающее вліяніе среды, ни подавляющія все чистое и свѣтлое житейскія невзгоды и испытанія. Разсмотрѣніе первой изъ отмѣченныхъ группъ покажетъ, какъ жилось русскому человѣку подъ властью помѣщиковъ, знакомство съ представителями второй категоріи крестьянства значительно можетъ уяснить основную точку зрѣнія Тургенева на русскій народъ.

Начнемъ съ первыхъ.

Образы загнанныхъ, забитыхъ крѣпостнымъ правомъ крестьянъ встрѣчаемъ мы во многихъ разсказахъ изъ „Записокъ охотника“. Однако, всюду они выступаютъ въ качествѣ второстепенныхъ, эпизодическихъ лицъ; подчасъ художникъ изображаетъ ихъ какъ бы вскользь, мимоходомъ, точно мелкую, мало значительную подробность рисуемой картины. Вмѣстѣ съ тѣмъ нигдѣ Тургеневъ не сгущаетъ красокъ, не рисуетъ потрясающихъ душу сценъ народнаго страданія, хотя такого рода матеріалъ, которымъ широко пользовались позднѣйшіе изобразители народной жизни до 1861-го года, конечно, былъ въ изобиліи къ его услугамъ. Эта кажущаяся съ перваго раза странность въ обрисовкѣ Тургеневымъ крѣпостного строя легко, впрочемъ, объясняется, если вспомнить то время, когда онъ выступилъ со своими „Записками“. Крѣпостное право считалось тогда одной изъ незыблемыхъ основъ русской жизни,

и возставать противъ него значило подрывать коренные устои существовавшаго строя. Понятно, что при господствѣ такой точки зрѣнія на крѣпостной строй невозможно было слишкомъ открыто нападать въ печати на ненормальность положенія народа уже по тому одному, что тогдашняя цензура не пропустила бы подобной книги. Поневолѣ приходилось писать такъ, чтобы чуткій читатель сумѣлъ читать между строкъ, по немногимъ какъ бы вскользь брошеннымъ намекамъ и замѣчаніямъ могъ разгадать сокровенныя мысли автора. Вотъ почему отъ современнаго намъ читателя, желающаго должнымъ образомъ понять „Записки охотника“, особенно тѣ мѣста ихъ, гдѣ рѣчь идетъ о крѣпостномъ правѣ, требуется глубокая вдумчивость, большое вниманіе къ дѣятелямъ, умѣніе по немногимъ отдѣльнымъ художественнымъ штрихамъ возстановить и прочувствовать цѣлую картину жизни.

Такими разсказами, гдѣ съ особенной силой выступаетъ неприглядная доля русскаго простолюдина, отданнаго въ рабство помѣщикамъ, являются „Бурмистръ“, „Льговъ“, „Малиновая вода“, „Контора“, „Свиданіе“, „Ермолай и Мельничиха“, „Два помѣщика“, отчасти „Бирюкъ“ и нѣк. др. Разсмотримъ двѣ-три сцены изъ этихъ разсказовъ, чтобы по нимъ судить какъ о манерѣ изображенія Тургеневымъ страданій народа подъ властью помѣщиковъ, такъ и томъ чувствѣ, какое возникаетъ у читателя при вдумчивомъ отношеніи къ этимъ сценамъ.

Вотъ любопытный въ этомъ отношеніи эпизодъ изъ разсказа: „Бурмистръ“, ярко характеризующій, несмотря на свою сжатость, отношеніе къ крестьянамъ помѣщиковъ и безпомощность этихъ послѣднихъ. Предъ нами два мужика, „оба въ домашнихъ заплатанныхъ рубахахъ, на босу ногу и подпоясанные веревками“. Не обращая вниманія на кулаки растерявшагося старосты, они становятся на колѣни возлѣ грязной лужи въ ожиданіи появленія барина, пріѣхавшаго посѣтить своихъ крестьянъ. Стоило только Пѣночкину (фамилія помѣщика) замѣтить, что крестьяне имѣютъ къ нему дѣло, какъ онъ „нахмурился и закусилъ губы“· онъ, еще не зная, въ чемъ дѣло, уже недоволенъ тѣмъ, что осмѣливаются безпокоить его особу. Однако съ нимъ гость, и онъ находитъ неудобнымъ не выслушать просителей. Понуждаемый грубыми понукиваніями Пѣночкина, одинъ изъ нихъ шестидесятилѣтній старикъ, уже внѣшній видъ котораго говоритъ о невозможныхъ условіяхъ существованія, наконецъ, поборовъ волненіе, говоритъ, въ чемъ дѣло: оказывается, онъ вмѣстѣ съ сыномъ пришелъ искать у барина защиты противъ бурмистра, который „замучилъ совсѣмъ, разорилъ въ конецъ. Двухъ сыновей безъ очереди въ рекруты отдалъ... и третьяго отнимаетъ... послѣднюю коровушку со двора свелъ... и хозяйку избилъ“... Передъ нами въ этихъ немногихъ словахъ—цѣлая драма крестьянской семьи, разоренной до тла, благодаря произволу бурмистра. Наконецъ, не въ моготу стало несчастному крестьянину, и онъ осмѣлился искать спасенія у того, кто, по его мнѣнію, одинъ могъ помочь ему, отъ кого зависѣло все его жалкое существованіе. Кому, казалось бы, какъ не помѣщику, слѣдовало позаботиться о своихъ крестьянахъ, всю жизнь трудившихся для его благополучія? Но Пѣночкинъ разсуждаетъ иначе. Онъ считаетъ совершенно естественнымъ выжимать послѣдніе соки изъ крестьянъ, но думать объ ихъ благополучіи—это не его дѣло. И вотъ онъ, возмущенный тѣмъ, что его осмѣлились обезпокоить, уже негодуетъ на дерзкаго, по его мнѣнію, просителя и только ищетъ повода, чтобы сорвать на немъ свою злобу. Поводъ не замедлилъ отыскаться. Въ своей жалобѣ старикъ, между

прочимъ, упомянулъ, что бурмистръ съ тѣхъ поръ забралъ его въ кабалу, какъ пять лѣтъ тому назадъ внесъ за него недоимку. Упоминаніе о недоимкѣ было достаточно, чтобы Пѣночкинъ счелъ себя въ правѣ обрушиться всей силой своего барскаго гнѣва на просителя. „А отчего недоимка за тобой завелась“? (Старикъ понурилъ голову). „Чай, пьянствовать любишь, по кабакамъ шататься“? (Старикъ разинулъ было ротъ). „Знаю я васъ,—съ запальчивостью продолжалъ Пѣночкинъ,—ваше дѣло пить да на печи лежать, а хорошій мужикъ за васъ отвѣчай“, и т. д. и т. д. А когда сынъ старика отъ себя вставилъ слово въ отцовскую мольбу о защитѣ, указывая на то, что бурмистръ не ихъ однихъ притѣсняетъ, Пѣночкинъ готовъ видѣть въ этомъ бунтъ, и только присутствіе посторонняго человѣка удерживаетъ его отъ кулачной расправы.

Эта небольшая сцена достаточно ярко характеризуетъ какъ полную безпомощность крѣпостного крестьянина, такъ и обращеніе съ нимъ помѣщика. Не нужно при этомъ забывать, что Пѣночкинъ, вѣдь, не чуждъ культуры: онъ и воспитаніе получилъ модное, и въ высшемъ обществѣ потерся, выписываетъ французскія книги и газеты, и музыкой увлекается, и на зиму въ Петербургъ ѣздитъ. Какъ-же должны были относиться къ крестьянамъ тѣ представители русскаго дворянства, которыхъ просвѣщеніе не коснулось даже въ такой мѣрѣ? Подобнаго рода болѣе, чѣмъ равнодушное отношеніе къ крѣпостнымъ далеко не было рѣдкостью въ дореформенное время: не даромъ Тургеневъ неоднократно и въ другихъ разсказахъ отмѣчаетъ безвыходное положеніе крестьянина, обратившагося за помощью ко всемогущему въ его глазахъ барину и получившаго въ отвѣтъ одну ругань.

Такъ, напримѣръ, въ „Малиновой водѣ“ передъ нами выступаетъ эпизодическое лицо—крестьянинъ Власъ, которому не подъ-силу стало, со смертью сына-работника, платить громадный оброкъ. Отправился онъ пѣшкомъ изъ Орловской губерніи въ Москву къ барину, въ наивной надеждѣ, что тотъ, выслушавъ его, сбавитъ оброкъ. „Что-жъ твой баринъ“? спрашиваетъ у Власа одно изъ дѣйствующихъ лицъ разсказа—„Что баринъ? Прогналъ меня! Говоритъ, какъ смѣешь прямо ко мнѣ итти: на то есть приказчикъ; ты, говоритъ, сперва приказчику обязанъ донести“. И пошелъ ни съ чѣмъ Власъ назадъ съ перспективой все новыхъ и новыхъ недоимокъ, непосильнаго труда, голодовки, полнаго разоренія всей семьи—и такъ до самой могилы.

Какъ бы не пришлось плохо крестьянину, помѣщики, въ большинствѣ случаевъ, не находятъ нужнымъ итти къ нему на помощь и тѣмъ или инымъ способомъ облегчить его бѣдственное положеніе; вмѣсто этого они стараются всѣми правдами и неправдами извлечь для себя возможно болѣе матеріальной выгоды изъ крестьянскаго труда, хотя бы это стоило порою полнаго разоренія ихъ крѣпостныхъ и превращало ихъ во вьючныхъ животныхъ, отъ колыбели до могилы изнывающихъ отъ непосильной работы. Вслѣдствіе этого страшная бѣдность являлась нерѣдко постоянной спутницей крѣпостныхъ крестьянъ, и Тургеневъ неоднократно обращаетъ вниманіе читателя на эту сторону народной жизни. Избѣгая всякихъ подчеркиваній, преувеличеній, въ двухъ-трехъ словахъ онъ всегда ярко оттѣняетъ безысходную нужду въ народной жизни. Такъ, изображая, напримѣръ, въ „Бирюкѣ“ мужика, ворующаго лѣсъ, авторъ очень искусно, указаніемъ на его наружность, дрянную лошаденку, отмѣчаетъ его тяжелую нужду, а безсвязной рѣчью мужика,

обращенной къ поймавшему его лѣсничему („Отпусти... съ голодухи... приказчикъ —разорены во̀ какъ... не погуби. Вашъ-то самъ знаешь, заѣстъ, во̀ какъ... отпусти... ей Богу, съ голодухи... дѣтки пищатъ, самъ знаешь. Круто, во̀ какъ, приходится"), лучше, чѣмъ длинными описаніями, даетъ понять читателю, какъ жилось этому несчастному мужику, и пробуждаетъ въ душѣ его чувство глубокаго сострадания. Такъ же сжато, путемъ мимолетныхъ замѣчаній объ убогой обстановкѣ избы лѣсника, онъ вызываетъ у читателя очень яркое и сильное представленіе о нищенскомъ существованіи лѣсника Ѳомы, опять-таки пробуждая къ нему живое участіе.

Еще примѣръ, который покажетъ намъ одну любопытную сторону жизни крестьянъ подъ властью помѣщиковъ. Нисколько не заботясь о нихъ, думая только о полученіи возможно большей выгоды отъ дарового труда, обременяя народъ тяжелой работой или же оброками, послѣдніе, естественно, ни во что не ставили личность простого человѣка и распоряжались ими такъ, какъ если бы это были не люди, безсловесныя животныя или же неодушевленные предметы. Исторія Сучка изъ разсказа: „Льговъ"—прекрасная иллюстрація къ сдѣланному только что утвержденію. По произволу господъ, ни на чемъ разумномъ не основанному, онъ то назначается кучеромъ, то буфетчикомъ, то актеромъ, то поваромъ, то „фалеторомъ", то казачкомъ, то садовникомъ, то сапожникомъ, то, наконецъ, рыболовомъ... Вотъ отрывокъ изъ бесѣды автора съ этимъ Сучкомъ, характеризующій мотивы такого отношенія къ крѣпостному, какъ къ человѣку, который не долженъ имѣть своихъ вкусовъ и наклонностей къ тому или иному образу жизни и занятіямъ, а быть только слѣпымъ исполнителемъ барской воли. „За что же тебя въ повара разжаловали"? (изъ актеровъ) спрашиваетъ авторъ у Сучка.—„А братъ у меня сбѣжалъ", отвѣчаетъ тотъ, проливая своимъ отвѣтомъ яркій свѣтъ на помѣщичью логику. Этотъ же самый Кузьма Сучекъ, въ бытность свою буфетнымъ служителемъ, долженъ былъ называться Антономъ, а не Кузьмой,—„такъ барыня приказать изволила". Крѣпостная одиссея этого Кузьмы Сучка какъ нельзя лучше показываетъ, какъ относились нѣкоторые помѣщики къ личности своихъ крестьянъ, какъ мало задумывались они надъ тѣмъ, что это тоже люди, и что нельзя ихъ, подобно мячу, швырять по безсмысленному капризу съ одного мѣсто на другое.

Этихъ немногихъ примѣровъ будетъ достаточно, чтобы судить о томъ, какъ изображаетъ Тургеневъ жизнь крестьянъ подъ гнетомъ крѣпостного права. Нигдѣ не прибѣгая къ излишнему подчеркиванію, совершенно обходясь безъ раздирающихъ душу сценъ и крикливыхъ эфектовъ, онъ сумѣлъ истинно-художественнымъ путемъ вызвать въ сердцѣ современнаго читателя и гуманное чувство къ обездоленному народу, указывая на тѣ незаслуженныя страданія, какія сплошь и рядомъ приходилось испытывать ему въ эпоху крѣпостного права. Такимъ образомъ, та группа разсказовъ, которые были поименованы выше, равно какъ и множество мелкихъ, но яркихъ подробностей, разсѣянныхъ въ другихъ очеркахъ изъ „Записокъ охотника", указывали современникамъ Тургенева всю тягость положенія закрѣпощеннаго люда и пробуждали въ душѣ ихъ искреннюю жалость къ его горемычной долѣ.

Но значеніе „Записокъ охотника" далеко не исчерпывается указаннымъ сейчасъ дѣйствіемъ ихъ на современныхъ читателей. Вызывая сочувствіе къ народу и его судьбѣ путемъ изображенія тѣхъ невзгодъ, которыя ему приходилось пере-

живать, Тургеневъ въ тоже время заставляетъ читателя проникнуть самымъ глубокимъ уваженіемъ къ этому народу, искренно полюбить его. Достигаетъ онъ этого чисто художественнымъ путемъ—созданіемъ народныхъ образовъ высокой нравственной чистоты, духовное величіе которыхъ становится тѣмъ болѣе чарующимъ, чѣмъ неприглядиѣе тѣ условія, гдѣ проявляется ихъ благородная душа. Такими образами являются Касьянъ съ Красивой Мечи (въ разсказѣ того-же имени), Лукерья (Живыя мощи), лѣсничій Ѳома (Бирюкъ) и нѣкоторыя другія лица.

Въ лицѣ Касьяна Тургеневъ впервые намѣтилъ тотъ типъ, свойственной русской народной жизни, который позднѣе привлекалъ къ себѣ вниманіе многихъ русскихъ писателей своей чисто органической, врожденной духовной красотой и величіемъ. Различныя видоизмѣненія этого типа можно найти и у Достоевскаго и у писателей народническаго направленія и особенно у Л. Толстого. Необычайно нѣжная, трогательная любовь къ природѣ и ко всему живому, врожденное отвращеніе къ убійству живого существа, къ пролитію крови, вслѣдствіе боязни причинить кому бы то ни было страданіе, являются однѣми изъ характерныхъ чертъ Касьяна. Какъ человѣкъ, не владѣющій способностью ясно передать словами свое душевное настроеніе, онъ безсвязными, отрывочными фразами и восклицаніями выражаетъ свое любовное отношеніе къ природѣ и восторгъ передъ ея красотой, но за этими однообразными, шаблонными словами такъ и чуется высоко-поэтическая душа Касьяна, который въ полномъ смыслѣ дышетъ съ природой одной жизнью. Онъ глубоко скорбитъ, напримѣръ, по случаю истребленія купцами березовой рощи и, даже не стѣсняясь барина, выражаетъ свой восторгъ, вспоминая о природѣ Красивой Мечи. Любовь къ живымъ существамъ и отвращеніе ко всему, что причиняетъ имъ страданіе, вылились у Касьяна въ мистическую боязь крови. Когда авторъ „Записокъ“ убиваетъ въ его присутствіи коростеля, Касьянъ подходитъ къ тому мѣсту, гдѣ упала подстрѣленная птица, и брызнуло нѣсколько капель крови, пугливо взглядываетъ на охотника и шепчетъ: „Грѣхъ! Ахъ, вотъ это грѣхъ!“ Чувство жалости къ погибшей птицѣ такъ мучитъ его, что онъ не выдерживаетъ и, нѣкоторое время спустя, заводитъ такой разговоръ съ бариномъ: „Ну, для чего ты пташку убилъ?.. станешь ты ее ѣсть! Ты ее для потѣхи своей убилъ .. Коростель—птица вольная, лѣсная. И не онъ одинъ: много ея, всякой лѣсной твари, и полевой, и рѣчной твари, и болотной, и луговой, верховой и низовой—и грѣхъ ее убивать, и пускай она живетъ на землѣ до своего предѣла... Кровь, продолжалъ онъ, помолчавъ,—святое дѣло кровь! Кровь солнышка Божія не видитъ, кровь отъ свѣту прячется... великій грѣхъ показывать свѣту кровь, великій грѣхъ и страхъ... Охъ, великій!“ Изъ отдѣльныхъ замѣчаній Касьяна, вставляемыхъ въ разговоръ съ авторомъ, видно, что его мысль неустанно занята вопросомъ о томъ, какъ должна итти жизнь согласно съ внутреннимъ закономъ совѣсти. Онъ неоднократно говоритъ о томъ, что „справедливъ долженъ быть человѣкъ“, Богу угоденъ, жить, какъ Господь велитъ и т. п. Вопросъ о внутренней правдѣ жизни не даетъ ему покоя. Въ поискахъ за этой святой правдой-матушкой, о которой такъ тоскуютъ лучшіе русскіе люди, исколесилъ онъ чуть не всю Русь—и все не можетъ успокоиться, все не можетъ примириться съ тѣмъ, что „дома“ дѣлается, что „справедливости въ человѣкѣ нѣтъ“. Глубоко вѣрныя слова Касьяна: „и не одинъ я грѣшный, много другихъ крестьянъ въ лаптяхъ ходятъ, по міру бродятъ,

правды ищутъ" указываютъ намъ, что въ лицѣ этого юродиваго Тургеневъ далъ читателю типическій образъ человѣка изъ народа, проникнутаго высшими нравственными началами, занятаго рѣшеніемъ вопроса о томъ, какъ жить по Божьему, по совѣсти. Тѣмъ болѣе величественной представляется духовная красота Касьяна, что самъ онъ находится въ пренебреженіи у окрестныхъ жителей, глядящихъ на него, какъ на чудака, юродиваго.

Еще болѣе свѣтлое впечатлѣніе производитъ трогательный образъ несчастной Лукерьи изъ разсказа: „Живыя мощи" *). Судьба сыграла злую шутку съ Лукерьей. Первая красавица во всей деревнѣ, хохотунья, плясунья, пѣвунья, предметъ воздыханій всѣхъ деревенскихъ парней, Лукерья, вскорѣ послѣ помолвки съ нѣжно любимымъ женихомъ, случайно упала съ крыльца и съ тѣхъ поръ начала сохнуть, чахнуть и въ короткое время превратилась въ жалкую калѣку, неспособную двигаться, говорящую чуть не шепотомъ. Даже близкіе родные, занятые особенно въ лѣтнее время, неотложными работами, не имѣютъ возможности дать хоть какой-нибудь уходъ за несчастной, и лежитъ она одинокая, безпомощная въ заброшенномъ сараѣ; поставятъ ей съ утра кружку воды, чего нибудь поѣсть—и она на цѣлый день одна,—только дѣвочка-сиротка, такая же одинокая, какъ и она, изрѣдка навѣщаетъ ее. Какъ можно очерствѣть, озлобиться отъ такой судьбы, когда нелѣпый случай разбиваетъ всякую надежду на близкое счастье, когда изъ полнаго жизни и довольства существа превращаешься въ жалкое ничтожество, способное вызывать у другихъ отвращеніе къ себѣ! И однако же Лукерья не только не очерствѣла, не пала духомъ, но, наоборотъ, подъ вліяніемъ страданія, просвѣтлѣла душой и стала настолько же прекрасна своимъ нравственнымъ обликомъ, насколько безобразна по внѣшности. Она, прежде всего, поражаетъ насъ своею незлобливостью, умѣніемъ примириться со своимъ тяжелымъ положеніемъ. Ни одного слова ропота, недовольства судьбою не услышимъ мы отъ нея. Наоборотъ, она убѣждена, что другіе бываютъ еще въ худшемъ положеніи,—„у иного и пристанища нѣтъ". Вмѣстѣ съ тѣмъ въ высокой степени привлекательной представляется ея нѣжная любовь къ природѣ и всему живущему. Ей доставляетъ искреннюю радость наблюдать жизнь природы, слѣдить за тѣмъ, какъ пчелы жужжатъ на пасѣкѣ, какъ воркуютъ на крышѣ голуби, какъ насѣдка съ цыплятами клюетъ крошки, какъ ласточка кормитъ своихъ птенчиковъ. Весь ея внутренній міръ освѣщается глубокимъ религіознымъ чувствомъ, вѣрою въ загробное существованіе, въ то, что тамъ, въ новой жизни, она избавится отъ страданій и получитъ награду въ царствіи небесномъ. Однако, пока она жива, ея душа полна скорби за своихъ односельчанъ, которымъ далеко не весело живется подъ властью помѣщицы. Прощаясь съ Лукерьей, авторъ спрашиваетъ, не нужно-ли ей чего, отъ души желая хоть чѣмъ-нибудь облегчить ея тяжелое положеніе. И вотъ какой отвѣтъ получаетъ онъ на свой вопросъ: „Ничего мнѣ не нужно, всѣмъ довольна, слава Богу! Дай Богъ всѣмъ здоровья! А вотъ вамъ бы, баринъ, матушку вашу уговорить—крестьяне здѣш-

*) Разсказъ этотъ написанъ значительно позднѣе—въ 1875-мъ году, но самимъ авторомъ внесенъ въ „Записки охотника"; по всей вѣроятности, онъ былъ задуманъ одновременно съ другими, но получилъ окончательную обработку, чуть не четверть вѣка спустя.

ніе бѣдные—хоть бы малость оброку она съ нихъ сбавила! Земли у нихъ недостаточно, угодій нѣтъ... Они бы за васъ Богу помолились... А мнѣ ничего не нужно,—всѣмъ довольна". Развѣ это не образецъ кротости и самоотреченія, согрѣтаго самой живой любовью къ своимъ ближнимъ? И это простая русская крестьянская дѣвушка; ей не отъ кого было воспринять свое міровоззрѣніе; оно —результатъ ея благородной души, очищенной страданіями.

Въ ряду лицъ, привлекательныхъ по своему нравственному облику, обращаетъ на себя вниманіе въ „Запискахъ охотника" образъ Ѳомы лѣсника, по прозванію Бирюкъ, въ разсказѣ того же имени. Подъ суровой наружностью этого человѣка скрывается золотое сердце, котораго, однако, никто не хочетъ разгадать въ немъ. Наоборотъ, окрестные мужики ненавидятъ его потому, что онъ „вязанки хворосту не дастъ утащить; въ какую бы ни было пору, хоть въ самую полночь, нагрянетъ, какъ снѣгъ на голову—и ты не думай сопротивляться: силенъ и ловокъ, какъ бѣсъ... И ничѣмъ его взять нельзя: ни виномъ, ни деньгами; ни на какую приманку не идетъ". Однако это отношеніе Ѳомы къ своимъ обязанностямъ, столь возмущающее сосѣднихъ мужиковъ, съ нашей точки зрѣнія, можетъ быть поставлено ему только въ заслугу, ибо свидѣтельствуетъ о его честномъ отношеніи къ возложеннымъ на него обязанностямъ. Но это строгое исполненіе долга передъ помѣщикомъ не даетъ, тѣмъ не менѣе, душевнаго спокойствія Ѳомѣ. Отстаивая господскіе интересы, строго слѣдя за сохранностью ввѣреннаго его попеченію лѣса, онъ постоянно мучится сознаніемъ, что доведенные до полнаго разоренія крестьяне часто идутъ воровать „съ голодухи", и въ душѣ его, поэтому, вѣчная борьба между чувствомъ долга и жалостью къ пойманнымъ похитителямъ. Сознаніе своихъ обязанностей обыкновенно одерживаетъ верхъ, но бываетъ и такъ, что чувство состраданья оказывается сильнѣе, и Бирюкъ щадитъ пойманнаго вора, отпуская его на волю. Но ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ онъ не получаетъ душевнаго удовлетворенія, такъ какъ внутренній разладъ постоянно гложетъ его сердце.

Краткимъ разсмотрѣніемъ образовъ Касьяна, Лукерьи и Бирюка мы ограничимся, разбирая привлекательные въ нравственномъ отношеніи крестьянскіе типы въ изображеніи Тургенева. Если тѣ мѣста изъ „Записокъ охотника", гдѣ рѣчь идетъ о крестьянахъ, несущихъ на себѣ гнетъ крѣпостного права, вызывали живое сочувствіе къ народу и стремленіе помочь ему, то такіе образы, какъ Касьянъ, Лукерья, лѣсникъ Ѳома и нѣкоторые другіе, должны были научить современнаго читателя уважать въ мужикѣ человѣка, внушить ему мысль о томъ, что среди простого народа есть люди, которые, по своимъ нравственнымъ качествамъ, достойны быть поставленными на ряду съ лучшими представителями образованнаго общества. А прямымъ слѣдствіемъ этой мысли было сознаніе всей ненормальности, всего позора крѣпостного права какъ для народа, такъ и для помѣщиковъ, ибо рабство унизительно не только для рабовъ, но и для рабовладѣльцевъ. И „Записки охотника" именно такъ вліяли на читателей и, такимъ образомъ подготовили сознаніе общества къ великому акту 19-го февраля 1861-го года. Не даромъ императоръ Александръ II, какъ говорятъ, лично заявилъ автору, что съ тѣхъ поръ, какъ онъ, государь, прочелъ „Записки охотника", его ни на минуту не оставляла мысль о необходимости освобожденія крестьянъ отъ

крѣпостной зависимости; не даромъ Тургеневъ, вообще удивительно скромный въ признаніи своихъ литературныхъ заслугъ, замѣтилъ однажды, что если-бы онъ гордился своей дѣятельностью, какъ писателя, то просилъ-бы только объ одномъ,—чтобы на его могилѣ изобразили, что сдѣлала его книга для освобожденія порабощеннаго народа.

Таково великое общественное значеніе „Записокъ охотника“.

Не менѣе важно ихъ значеніе историко-литературное. Идя по пути поэтическаго воспроизведенія простонародной жизни, намѣченному Пушкинымъ и Гоголемъ, Тургеневъ широко расчистилъ эту дорогу, впервые въ русской литературѣ давъ въ своихъ „Запискахъ охотника“ рѣдкое разнообразіе типовъ изъ крестьянской жизни, открывъ читателямъ сокровенные тайники народнаго духа, показавъ въ немъ черты истинно-человѣческой и при томъ богато одаренной натуры. Вмѣстѣ съ тѣмъ, одновременно съ Григоровичемъ, но съ гораздо большимъ разнообразіемъ, яркостью и художественностью, воспроизвелъ онъ впервые послѣ „Вечеровъ на хуторѣ“ Гоголя многочисленныя бытовыя стороны народной жизни и съ удивительной правдой изобразилъ природу средней полосы Россіи. Если послѣдующіе писатели, посвятившіе себя художественному изображенію простонароднаго быта и типовъ, ушли значительно дальше Тургенева въ полнотѣ и разнообразіи картины, то, какъ художникъ русской природы, онъ до сихъ поръ не имѣетъ себѣ равныхъ, и въ этомъ отношеніи „Записки охотника“ надолго еще сохранятъ интересъ современности, развивая въ то же время любовь и уваженіе къ простому человѣку.

Въ томъ же 1852-мъ году, когда вышли отдѣльнымъ изданіемъ „Записки охотника“, Тургеневъ написалъ двѣ повѣсти: „Муму“ и „Постоялый дворъ“, которыя по своему содержанію и основному настроенію вполнѣ примыкаютъ къ „Запискамъ охотника“. Первая изъ нихъ замѣчательна въ двухъ отношеніяхъ: по удивительной художественной разработкѣ, согрѣтой нѣжнымъ гуманнымъ чувствомъ, внутренняго міра нѣмого крестьянина Герасима, съ одной стороны, и съ другой—по не многословному, но яркому изображенію того тупого безсердечія и равнодушія къ личности крѣпостного человѣка, какое нерѣдко можно было встрѣтить среди тогдашнихъ помѣщиковъ. Повѣсть: „Постоялый дворъ“, какъ и „Муму“, какъ и нѣкоторые изъ разсмотрѣнныхъ выше разсказовъ изъ „Записокъ охотника“, рисуетъ намъ глубоко симпатичный образъ крестьянина Акима съ истинно христіанскою чертою всепрощенія и незлобливости, а также капризную прихоть и незнающее удержку самовластное барское корыстолюбіе, въ жертву которому приносится безъ всякаго колебанія, созданное долголѣтнимъ трудомъ и лишеніями, благосостояніе крѣпостного человѣка. Эти повѣсти, какъ и „Записки охотника“, явились, очевидно, результатомъ той „Аннибаловской клятвы“, которую далъ себѣ Тургеневъ, вступая въ борьбу съ ненавистнымъ ему крѣпостнымъ правомъ.

Причины появленія „лишнихъ людей“ въ русской жизни. Гамлетъ Щигровскаго уѣзда и Чулкатуринъ.

Послѣ 1852 года Тургеневъ не возвращался больше къ изображенію народа. Вся его дѣятельность съ этого времени посвящена художественному воспроизведенію жизни русской интеллигенціи. Въ цѣломъ рядѣ живыхъ образовъ далъ онъ намъ яркую характеристику современнаго ему поколѣнія—людей сороковыхъ годовъ. Чтобы ознакомиться съ типичными представителями этого поколѣнія въ тургеневскомъ изображеніи, мы остановимся на выясненіи основныхъ особенностей главныхъ героевъ такихъ произведеній, какъ „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“, „Дневникъ лишняго человѣка“, „Рудинъ“, „Дворянское гнѣздо“.

Какъ истинный художникъ, творчество котораго опирается на впечатлѣнія дѣйствительной жизни, Тургеневъ, создавая образы своихъ героевъ, на ряду съ типическими чертами, свойственными представителямъ извѣстной эпохи, надѣлилъ въ то же время каждаго изъ нихъ чисто индивидуальными, имъ лично присущими свойствами. Вотъ почему, говоря о его герояхъ, какъ представителяхъ того или иного періода русской жизни, необходимо, оставивъ въ сторонѣ ихъ личныя особенности, сосредоточить свое вниманіе на немногихъ типическихъ. Отсюда ясно, что если мы имѣемъ въ виду опредѣлить по указаннымъ произведеніямъ типическія черты поколѣнія людей сороковыхъ годовъ, намъ незачѣмъ давать ихъ полную характеристику; достаточно будетъ указать тѣ свойства, которыя являются общими для нѣсколькихъ изъ нихъ или же роднятъ ихъ съ лицами, дѣйствительно существовавшими въ эту эпоху и литературными представителями ея у другихъ писателей. Всѣ эти черты въ значительной степени объясняются вліяніемъ общихъ условій, въ которыхъ находилось въ тридцатые и сороковые годы русское общество.

Условія эти создались не сразу. Грозные признаки надвигавшейся реакціи все болѣе и болѣе давали чувствовать себя еще со второй половины царствованія императора Александра I. Въ сущности говоря, реакція, охватившая всю русскую жизнь, начиная съ 1825 года, и тяготѣвшая надъ нею до 1856-го года, является только нѣкоторымъ усиленіемъ тѣхъ правительственныхъ мѣропріятій, которыя бросаются въ глаза со времени возникновенія Священнаго Союза. Вотъ почему, для лучшаго пониманія особенностей общихъ условій русской жизни въ 30-е и 40-е годы, необходимо остановиться на общемъ характерѣ правительственныхъ начинаній во вторую половину царствованія Александра I.

Какъ это всегда бываетъ, новое направленіе правительственной политики нашло себѣ наиболѣе яркое выраженіе, прежде всего, въ рядѣ мѣропріятій, касавшихся дѣла просвѣщенія въ широкомъ смыслѣ слова. Здѣсь на первомъ планѣ должны быть поставлены безпримѣрныя гоненія на университетскую науку и причастныхъ къ ней лицъ—профессоровъ и студентовъ, а также все усиливавшіяся цензурныя строгости.

Такъ, въ 1822 г. комитетъ министровъ, полагая, что юношество, обучаясь въ германскихъ университетахъ, можетъ тамъ усваивать духъ мятежа и нечестія, предписалъ отозвать оттуда русскую молодежь, „поставивъ тому причиною, что университеты и другія учебныя заведенія въ Россіи достигли уже той степени, что нѣтъ

никакой нужды русскому юношеству обучаться въ иностранныхъ училищахъ". Такимъ образомъ, русская молодежь была лишена возможности пріобрѣтать научныя знанія въ той странѣ, гдѣ университетская наука стояла на самомъ высокомъ уровнѣ. Если принять во вниманіе, что наши университеты въ первую половину Александровской эпохи были организованы по образцу нѣмецкихъ, то будетъ ясно, что и отечественная наука, вслѣдствіе новаго, реакціоннаго настроенія правящихъ сферъ, всюду готовыхъ видѣть разрушающій старые устои жизни духъ, должна была подвергнуться жестокимъ гоненіямъ. И дѣйствительно, послѣдніе годы царствованія Александра I представляютъ собою печальныя страницы въ исторіи русскихъ университетовъ. Для примѣра укажемъ нѣкоторые факты, относящіеся хотя-бы къ дѣятельности правой руки тогдашняго министра народнаго просвѣщенія, члена главнаго управленія училищъ Магницкаго, единственнаго въ своемъ родѣ гонителя просвѣщенія. Производя ревизію казанскаго университета, Магницкій, прежде всего, уволилъ 11 профессоровъ за неблагонадежность или недостатокъ знаній; затѣмъ, подверглись удаленію всѣ, кто сколько-нибудь могъ быть заподозрѣнъ въ свободомысліи. Послѣ этого была подвергнута строгой ревизіи университетская библіотека; результатомъ ревизіи было истребленіе всѣхъ книгъ, которыя, по мнѣнію Магницкаго, въ той или иной степени носили на себѣ печать вреднаго направленія. Другія книги хотя и были оставлены, но ими не могли пользоваться даже профессора, не говоря уже о студентахъ. Изъ библіотеки казанской гимназіи Магницкій разрѣшилъ оставить всего *двѣ* книги, а остальныя распорядился сжечь.

Безпримѣрная по своему вандализму дѣятельность Магницкаго была только наиболѣе яркимъ выраженіемъ того общаго духа реакціи, который все болѣе и болѣе распространялся въ Россіи во вторую половину царствованія Александра I. Съ нею, какъ нельзя болѣе, гармонировало общее направленіе министерства просвѣщенія, стремившагося совершенно искоренить въ университетахъ духъ свободнаго научнаго изслѣдованія и сдѣлать русскихъ ученыхъ своими покорными слугами.

Легко себѣ представить, каково было, при такихъ условіяхъ, положеніе профессоровъ и, вообще, всѣхъ лицъ, подвѣдомственныхъ министерству народнаго просвѣщенія. Обвиненія въ подрываніи основъ и соотвѣтствующія мѣры наказанія сыпались на головы ни въ чемъ неповинныхъ лицъ. Такъ, извѣстный харьковскій профессоръ чистой математики Осиповскій, замѣтившій на экзаменѣ студенту, что о Богѣ умѣстнѣе употребить выраженіе „существуетъ" вмѣсто „живетъ", единственно изъ за этого былъ лишенъ каѳедры, ибо это замѣчаніе дало поводъ обвинить его въ разрушеніи основъ православной вѣры. Подобная участь едва не постигла и четырехъ профессоровъ петербургскаго университета, обвиненныхъ въ томъ, будто они вели преподаваніе въ духѣ, противномъ христіанству, и внушали студентамъ идеи, пагубныя для общественнаго порядка и благосостоянія. Такого же рода исторіи имѣли мѣсто и въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

При какихъ условіяхъ приходилось профессорамъ вести свои научныя занятія со студентами, можно составить себѣ нѣкоторое понятіе по той инструкціи, которой онѣ обязаны были подчиняться въ Казанскомъ университетѣ въ попечительство Магницкаго. Единственной конечной цѣлью ихъ занятій со студентами, какую-бы они науку ни преподавали, было насажденіе благочестія. Такъ, по требованію инструкціи, профессоръ естественныхъ наукъ долженъ „упоминать, что обширное цар-

ство природы, какъ ни представляется оно премудро и въ своемъ цѣломъ для насъ непостижимо, есть только слабый отпечатокъ того высшаго порядка, которому послѣ кратковременной жизни мы предопредѣлены, а преподаватель астрономіи укажетъ на тверди небесной пламенными буквами начертанную премудрость творца...; студентамъ (имѣется въ виду медицинскій факультетъ) нужно внушить, что Св. писаніе нераздѣльно полагаетъ искусство врачеванія съ благочестіемъ", и т. п. Обидный, унизительный контроль начальства распространялся даже на частную, домашнюю жизнь профессоровъ. Извѣстный романистъ Лажечниковъ разсказываетъ, что за профессорами наблюдали, чтобъ они не пили вина. „У одного изъ ученыхъ мужей, которому прописали вино въ микстурѣ, былъ директоромъ, внезапно посѣтившимъ его, запечатанъ сосудъ, вмѣщавшій въ себѣ запрещенное питье. Медикъ, осмѣлившійся прописать такое лѣкарство, равно какъ и паціентъ его, остались на замѣчаніи... На торжественныхъ университетскихъ обѣдахъ пили тосты не шампанскимъ, а медомъ".

Тяжелое ярмо правительственной опеки, готовой всюду видѣть сѣмена безбожія и стремленіе ниспровергнуть существующій строй, распространилось и на область средняго и низшаго образованія. Ученый комитетъ подвергъ пересмотру одобренные раньше учебники и нѣкоторые изъ нихъ, какъ могущіе оказать вредное вліяніе на учащихся, предписалъ уничтожить. Такъ, была изъята изъ обращенія „Книга о должностяхъ гражданина и человѣка", написанная для народныхъ училищъ извѣстнымъ педагогомъ екатерининскихъ временъ Янковичемъ-де-Миріево и употребляемая въ нихъ съ 1783 года. Отобранные изъ училищъ экземпляры предписано было продать бумажному фабриканту по 50 к. за пудъ, съ условіемъ, чтобы „никому оныхъ не раздавать" *).

Рука объ руку съ гоненіями на университетскую науку идутъ преслѣдованія вообще печатнаго слова путемъ цензурныхъ строгостей. Достигнуть полнаго въ этомъ отношеніи единства въ области учебной и цензурной было тѣмъ легче, что эта послѣдняя была подчинена въ то время министру народнаго просвѣщенія и представляла собою какъ-бы особый отдѣлъ его управленія. Хотя еще дѣйствовалъ старый цензурный уставъ 1804 года, тѣмъ не менѣе отношеніе цензоровъ къ печатному слову носило совершенно иной характеръ, чѣмъ въ первую половину царствованія Александра I. При министерствѣ создается особый „ученый комитетъ", который, между прочимъ, долженъ былъ выражать свои сужденія о книгахъ всякаго рода. О направленіи дѣятельности этого комитета въ области цензуры можно судить по тому, что по его распоряженію было изъято изъ библіотекъ оффиціальное изданіе министерства „Періодическое сочиненіе о успѣхахъ народнаго просвѣщенія", какъ книга „опасная по нѣкоторымъ ея мѣстамъ"; профессора петербургскаго университета Галичъ, Арсеньевъ и нѣк. др. подверглись преслѣдованію за свои раньше одобренныя цензурой книги. Въ высшей степени характернымъ является также циркуляръ, направленный противъ театральной критики и воспрещающій „сужденія объ императорскомъ театрѣ и актерахъ, находящихся на службѣ его Величества". Историки русской цензуры второй половины царствованія Александра I, характеризуя общее положеніе тогдашней печати, обыкновенно останавливаются на дѣятельности цензора Красовскаго, игравшаго важную роль и впослѣдствіи, въ Нико-

*) Болѣе подробныя свѣдѣнія о положеніи просвѣщенія въ концѣ царствованія Александра 1 см. акад. Сухомлиновъ. Изсл. и статьи по рус. лит. т. I.

лаевскую эпоху. Дѣйствительно, документальныя данныя, рисующія цензорскій обликъ Красовскаго, даютъ очень ясное понятіе о томъ, какимъ нелѣпымъ гоненіямъ подвергалось въ то время русское печатное слово. Такъ, въ одномъ спеціальномъ сочиненіи о военномъ дѣлѣ, представленномъ ему на разсмотрѣніе, онъ слово „свобода“ замѣнилъ всюду словомъ „независимость“; въ фразѣ, гдѣ говорится, что Наполеонъ направляется въ Моравію, поражаетъ русскихъ и подъ Австерлицомъ заключаетъ миръ, слова: „поражаетъ русскихъ“ были вычеркнуты; въ другихъ мѣстахъ сдѣланы цензоромъ различнаго рода вставки, зачастую совершенно искажавшія мысль автора. Этотъ-же Красовскій запретилъ статью „О вредности грибовъ“ на томъ основаніи, что „грибы—постная пища православныхъ и писать о вредности ихъ—значитъ подрывать вѣру и распространять невѣріе“.

Таковы были грозныя проявленія все болѣе и болѣе надвигавшейся въ послѣдніе годы Александровской эпохи реакціи, видѣвшей въ безпрепятственномъ широкомъ развитіи просвѣщенія угрозу существовавшему государственному строю и ревниво ополчившейся на защиту его. Само собою разумѣется, что когда 14 декабря 1825 года въ лицѣ декабристовъ, пытавшихся устроить государственный переворотъ, встала дѣйствительно серьезная угроза господствовавшему, признаваемому ненарушимымъ государственному порядку, правительство не останавливалось ни передъ какими мѣрами, чтобы истребить въ корнѣ зародившіяся въ русскомъ обществѣ либеральныя идеи. Правительственная власть съ изумительной настойчивостью и систематичностью подчиняетъ себѣ всѣ стороны государственной, общественной и домашней жизни многомилліоннаго народа. „Она,—говоритъ академикъ А. Н. Пыпинъ,—стремилась связать въ одномъ крѣпкомъ узлѣ всѣ нити управленія, распространить надзоръ на всѣ движенія національной жизни, все подвести къ одному уровню... За обществомъ не признавалось никакого значенія; общественное мнѣніе лишено было всякаго вліянія; общество не могло само ничего дѣлать въ своихъ интересахъ, даже самыхъ элементарныхъ, и могло двигаться только въ данныхъ рамкахъ; за него думали и дѣйствовали канцеляріи, и ему оставалось только повиноваться“. Общества, какъ сознающей себя единицы общественной жизни, самодѣятельности, съ точки зрѣнія правительственной власти, не должно было быть. Это было время высшаго расцвѣта государственности, властно подавлявшей всякія попытки къ существованію внѣ ея контроля. „Такая государственность, по словамъ другого изслѣдователя, не признавала за человѣкомъ ни права любить, ни права думать, ни права говорить, ни даже права выбирать себѣ занятіе... Его жизнь была предопредѣлена заранѣе, она вся протекала по чужой волѣ.“

Самымъ опаснымъ врагомъ этого систематическаго, безпощаднаго подавленія всякой общественности была, конечно, свободная человѣческая мысль, и потому нѣтъ ничего удивительнаго, что правительствомъ предпринимается цѣлый рядъ новыхъ мѣръ, направленныхъ противъ печатнаго слова. Во главѣ цензуры съ 1826-го года былъ поставленъ особый верховный цензурный комитетъ, состоявшій изъ министровъ просвѣщенія, иностранныхъ и внутреннихъ дѣлъ; новый цензурный уставъ, введенный въ томъ-же году, отличался необычайной строгостью и предоставлялъ широкое поле для всякаго произвола. Согласно этому уставу, въ печати нельзя было вовсе касаться отрицательныхъ сторонъ дѣятельности какой-бы то ни было „власти“ (не исключая и будочника), чтобы не ослаблять къ ней „должнаго почтенія,

чувства преданности, вѣрности и добровольнаго повиновенія"; воспрещалось поднимать какіе бы то ни было вопросы, касавшіеся вѣдѣнія того или иного министерства; предписывалось подвергать просмотру книги, выходящія вторымъ и т. д. изданіемъ. Любопытно отношеніе новаго устава къ сочиненіямъ по философіи, исторіи, статистикѣ и географіи. По философіи, кромѣ учебниковъ, необходимыхъ для юношества, „прочія сочиненія сего рода, наполненныя безплодными и пагубными мудрствованіями новѣйшихъ временъ, вовсе печататься быть не должны". Относительно сочиненій по исторіи, статистикѣ и географіи новый уставъ предписывалъ обращать главное вниманіе на цѣль и духъ ихъ, чтобы они не заключали ничего неблагопріятнаго монархическому правленію, никакихъ вредныхъ умствованій. Хотя въ 1828-мъ году былъ изданъ новый, казалось, болѣе благопріятный для печатнаго слова уставъ, однако цензурный гнетъ нисколько не уменьшился. Дошло дѣло до того, что періодическимъ изданіямъ было воспрещено перепечатывать изъ „Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія" распоряженія по этому министерству и другія свѣдѣнія, а по поводу одной газетной затѣтки о дороговизнѣ извозчиковъ,—что было принято за порицаніе полиціи,—было издано распоряженіе, „дабы впредь не было допускаемо въ печати никакихъ, хотя-бы и косвенныхъ порицаній дѣйствій или распоряженій правительства и установленныхъ властей, къ какой-бы степени сіи послѣднія ни принадлежали".

Но гоненія на мысль и печатное слово, какъ выразителя ея, въ Николаевскую эпоху на этомъ не остановились. Дальнѣйшій ходъ событій русской и западно-европейской жизни вызвалъ новыя и новыя репрессіи.

Польскій мятежъ 1830-го года и февральская революція на Западѣ въ 1848-мъ году съ новой силой вызвали преувеличенныя опасенія за прочность существовавшаго строя русской жизни, и потому эта послѣдняя съ еще большей тщательностью оберегалась отъ вторженія новыхъ идей, могущихъ такъ или иначе поколебать установленный порядокъ. Какъ и раньше, литература въ различныхъ ея видахъ считалась въ этомъ случаѣ наиболѣе могущественнымъ орудіемъ, при помощи котораго можно было распространять злонамѣренныя, съ точки зрѣнія реакціи, идеи. Отсюда доходившая до крайностей боязнь, что то или другое произведеніе окажетъ нежелательное вліяніе на общество. Въ виду этихъ соображеній, цензура не разрѣшила къ печати и постановкѣ на сценѣ такихъ, напримѣръ, произведеній, какъ „Горе отъ ума" Грибоѣдова и „Ревизоръ" Гоголя, и, только благодаря монаршей волѣ императора Николая I, эти пьесы были напечатаны и исполнены въ театрѣ. Много непріятностей вынесъ Гоголь, прежде чѣмъ добился разрѣшенія издать „Мертвыя души". Еще болѣе испыталъ невзгодъ отъ недальновидныхъ цензоровъ Пушкинъ, которому, напримѣръ, такъ и не удалось видѣть въ печати, вслѣдствіе цензурнаго запрещенія, поэмы: „Мѣдный всадникъ". Но особенно опасались вреднаго вліянія на общество періодическихъ изданій. Въ виду этого, въ 1836-мъ году даже издано было распоряженіе, воспрещавшее появленіе новыхъ газетъ и журналовъ. Что касается до уже существовавшихъ, то многіе изъ нихъ принуждены были прекратиться. Результатъ такого положенія литературы не замедлилъ сказаться какъ на количественномъ уменьшеніи вновь выходившихъ книгъ, такъ и на пониженіи литературнаго вкуса читателей. Въ четырехлѣтіе съ 1833-го по 1837-й годъ было издано въ Россіи 51828 книгъ, а черезъ десятилѣтіе, въ періодъ съ 1843-го

по 1847-й—только 45793 книги; особенно уменьшилось количество поэтическихъ произведеній, сочиненій по теоріи словесности и искусствъ, исторіи, а болѣе всего по философіи и естествовѣдѣнію, такъ какъ эти науки считались наиболѣе способными внушать ложныя идеи. Насколько понизились литературные интересы читателей, можно судить по тому, что когда въ 1841-мъ году вышли изъ печати 9, 10 и 11 томы сочиненій Пушкина, гдѣ впервые появились „Мѣдный всадникъ“, „Русалка“, „Арапъ Петра Великаго“ и множество лирическихъ стихотвореній, они совершенно не заинтересовали общества, такъ что 5000 экземпляровъ продавались въ теченіе 10 лѣтъ. Зато громаднымъ успѣхомъ пользовались произведенія такихъ писателей, какъ Булгаринъ, Кукольникъ и др., лишенныхъ вовсе истиннаго поэтическаго таланта и умѣвшихъ только угадать грубые вкусы толпы.

Крайней степени достигло это реакціонное теченіе, охватившее русскую жизнь, въ послѣднее семилѣтіе указаннаго періода, начиная съ 1848-го года. Боязнь вредныхъ идей перешла въ боязнь мысли вообще, страхъ передъ наукой, просвѣщеніемъ. Преподаваніе философіи было исключено изъ университетскаго курса. Духъ свободнаго изслѣдованія, безъ котораго не можетъ развиваться никакая наука, всѣми мѣрами преслѣдовался въ русскихъ ученыхъ. Положеніе литературы сдѣлалось еще болѣе тягостнымъ, чѣмъ въ предыдущіе годы. Во всемъ готовы были видѣть вредное направленіе мысли, недоброжелательство къ господствовавшему строю.

Прежнія мѣры, связавшія русское печатное слово по рукамъ и ногамъ, казались все еще недостаточными. И вотъ возникаетъ новое грозное судилище для печати, знаменитый комитетъ 2-го апрѣля 1848 года, извѣстный подъ именемъ Бутурлинскаго, просуществовавшій до конца 1855-го года. Извѣстный историкъ николаевской эпохи Шильдеръ такъ характеризуетъ дѣятельность этого комитета: „такимъ образомъ, образовалась у насъ двойная цензура въ 1848 году: предварительная, въ лицѣ обыкновенныхъ цензоровъ, просматривавшая до печати, и взыскательная, или карательная, подвергавшая своему разсмотрѣнію только уже напечатанное и привлекавшая, съ утвержденія и именемъ Государя, къ отвѣтственности, какъ цензоровъ, такъ и авторовъ за все, что признавали предосудительнымъ или противнымъ видамъ правительства. Спрашивается, какимъ образомъ могла существовать при такихъ условіяхъ какая бы то ни было печать?“ Дѣйствительно, дальше итти было некуда. Этотъ періодъ недаромъ получилъ названіе эпохи цензурнаго террора: отдѣльные цензора, чувствуя надъ собою недремлющее око Бутурлинскаго комитета, боясь взысканій за малѣйшую оплошность, въ своемъ усердіи истребить зловредныя мысли доходили до чрезвычайныхъ нелѣпостей. Факты, сообщаемыя современниками объ этой эпохѣ цензурныхъ гоненій, представляются прямо невѣроятными, но имъ нельзя не вѣрить, ибо свѣдѣнія о нихъ идутъ изъ вполнѣ достовѣрныхъ источниковъ. Вотъ что, напримѣръ, разсказываетъ въ своемъ „Дневникѣ“ профессоръ петербургскаго университета и цензоръ Никитенко. „Дѣйствія цензуры превосходятъ всякое вѣроятіе. Чего этимъ хотятъ достигнуть? Остановить дѣятельность мысли? Но вѣдь, это все равно, что велѣть рѣкѣ течь обратно. Вотъ изъ тысячи фактовъ нѣкоторые самые свѣжіе. Цензоръ Ахматовъ остановилъ печатаніе одной ариѳметики, потому что между цыфрами какой-то задачи тамъ помѣщенъ рядъ точекъ. Онъ подозрѣваетъ здѣсь какой-то умыселъ составителя ариѳметики... Цензоръ Елагинъ не пропустилъ въ одной географической статьѣ мѣста, гдѣ говорится, что въ Сиби-

ри ѣздятъ на собакахъ. Онъ мотивировалъ свое запрещеніе необходимостью, чтобы это извѣстіе предварительно получило подтвержденіе со стороны министерства внутреннихъ дѣлъ... Цензоръ Мехелинъ вымариваетъ изъ древней исторіи имена всѣхъ великихъ людей, которые сражались за свободу отечества или были республиканскаго образа мыслей—въ республикахъ Греціи и Рима. Вымариваются не разсужденія, а просто имена и факты. Такой ужасъ навелъ на цензоровъ Бутурлинъ съ братіей". Приведенные факты говорятъ сами за себя и достаточно характеризуютъ тѣ мѣры, которыми тогда пытались ограбить русскую жизнь отъ признаваемыхъ гибельными идей, идущихъ къ намъ съ Запада.

Въ противовѣсъ имъ были выдвинуты считаемыя истинно русскими начала, на которыхъ должна была основываться вся государственная и общественная жизнь; эти начала были положены въ основу воспитанія юношества, литература и наука обязаны были, подъ страхомъ смерти, поддерживать и развивать ихъ. Что-же это были за начала?

По удачному опредѣленію академика А. Н. Пыпина, это была теорія „оффиціальной народности", основныя положенія которой давно проглядывали во мнѣніяхъ русской консервативной партіи и нашли себѣ систематическій сводъ въ извѣстной запискѣ Карамзина о древней и новой Россіи. Сущность ея сводилась къ слѣдующему. Россія и по характеру своего населенія, и по историческому прошлому, на основѣ котораго выработались формы ея государственнаго, общественнаго и семейнаго быта, рѣзко отличается отъ Западной Европы. Ей удалось пронести незыблемыми черезъ рядъ вѣковъ преданія старины и потому, будучи предохранена отъ ложныхъ увлеченій конституціонными миражами, „она не можетъ сочувствовать либеральнымъ стремленіямъ, какія обнаруживаются и даже находятъ снисхожденіе правительствъ въ разныхъ государствахъ Европы, и не можетъ не поддерживать, съ своей стороны, принципа чистой монархіи". Что касается до формъ внутренняго быта, то и здѣсь, согласно этой теоріи, замѣчается громадное отличіе западно-европейскихъ государствъ отъ Россіи, въ которой есть свои патріархальныя добродѣтели, невѣдомыя Западу. „Таково, прежде всего, народное благочестіе, полное довѣріе народа къ предержащимъ властямъ и безпрекословное повиновеніе; такова простота нравовъ и потребностей, не избалованныхъ роскошью и не нуждающихся въ ней". Самое крѣпостное право заключаетъ въ себѣ, по мнѣнію сторонниковъ оффиціальной народности, много благотворнаго для народа, положеніе котораго подъ властью помѣщиковъ куда лучше положенія западно-европейскаго рабочаго класса. Правда, Россія отстала отъ Запада въ развитіи науки, просвѣщенія народныхъ массъ, но зато, благодаря бдительности цензуры, мы не знаемъ „извращенныхъ умствованій западныхъ вольнодумцевъ, тѣхъ необузданныхъ ученій, которыя нарушаютъ въ Европѣ общественное спокойствіе и наполняютъ умы ложными теоріями и неуваженіемъ къ власти и порядку". Оттого между народомъ и властью царитъ полное единеніе; мѣропріятія мудраго правительства, какъ нельзя болѣе, отвѣчаютъ потребностямъ опекаемаго имъ народа. Россія благоденствуетъ и процвѣтаетъ и во много разъ счастливѣе и могущественнѣе во всѣхъ отношеніяхъ своихъ западныхъ сосѣдей (Срав. Пыпинъ. Характеристики литературныхъ мнѣній съ 20-хъ до 50-хъ годовъ, с. 113—115).

Эта теорія, такъ блестяще доказавшая свою полную несостоятельность въ эпоху Крымской войны и едва не приведшая Россію на край гибели, въ 40-е годы была очень усердно распространяема представителями оффиціальной Россіи и, благодаря этому, стала, можно сказать, господствовавшимъ общественнымъ настроеніемъ.

Есть одинъ литературный памятникъ, основные мотивы котораго, несомнѣнно, навѣяны только что охарактеризованной теоріей оффиціальной народности, и который поэтому является прекраснымъ документомъ, иллюстрирующимъ преобладавшія настроенія эпохи. Это—надѣлавшія столько шуму при своемъ появленіи въ свѣтъ пресловутыя „Выборныя мѣста изъ переписки съ друзьями“. Гоголь, тотъ самый Гоголь, который своими безсмертными „Ревизоромъ“ и „Мертвыми душами“, быть можетъ, какъ никто, содѣйствовалъ развитію критическаго отношенія къ окружавшей русской дѣйствительности, при отсутствіи широкаго умственнаго развитія и кругозора, не шелъ въ своихъ теоретическихъ понятіяхъ дальше обиходнаго консерватизма, столь усердно всѣми средствами поддерживаемаго правительствомъ, и въ своей странной книгѣ оказался самымъ горячимъ сторонникомъ современнаго ему общественно-государственнаго строя Россіи. Ему въ голову не приходила мысль о необходимости измѣненія правительственныхъ учрежденій, сословныхъ отношеній крестьянъ и помѣщиковъ, установившихся формъ личнаго и общественнаго безправія. Все то, что было создано правительственной властью, все это, съ точки зрѣнія Гоголя, не заставляло желать ничего лучшаго. Вся бѣда въ исполнителяхъ: законы святы, да исполнители лихіе супостаты!

Если такой могучій талантъ, какъ Гоголь, которому больше, чѣмъ кому-нибудь другому, дано было узрѣть и выставить на всенародныя очи всю современную пошлость пошлаго человѣка, не могъ не заразиться тлетворнымъ духомъ реакціи, то что-же говорить о другихъ, заурядныхъ людяхъ. Въ такіе печальные періоды жизни наступаютъ сумерки общественнаго сознанія, а для большинства и глубокая ночь.

Такъ было и въ это время, особенно съ конца сороковыхъ годовъ. Общественная масса, и безъ того стоявшая на невысокомъ уровнѣ культуры, погрузилась въ полную духовную спячку, жила одними грубо-матеріальными интересами. Лучшіе люди изнывали въ этомъ гнетущемъ душу мракѣ. Тяжелое бремя реакціи, зорко слѣдившей за тѣмъ, чтобы никто не пытался тѣмъ или инымъ способомъ вліять на общественную жизнь внѣ правительственныхъ предначертаній, отрѣзало всѣ пути самой скромной общественной дѣятельности, заставило замкнуться въ личномъ внутреннемъ мірѣ, на него обращать всю силу аналитической мысли. „У насъ, русскихъ, нѣтъ другой жизненной задачи, какъ переработка нашей личности“, говоритъ одинъ изъ Тургеневскихъ героевъ. Какъ ближайшее слѣдствіе этой „разработки личности“, является чрезмѣрно развитая рефлексія, самоанализъ, убивающій всякую энергію, парализующій малѣйшее проявленіе самобытной дѣятельности. Такъ оно и было у насъ въ 40-е и первую половину 50-хъ годовъ. „Отличительная черта нашей эпохи,—говоритъ одинъ изъ современниковъ,—есть grübeln (копаться въ себѣ). Мы не хотимъ шага сдѣлать, не выразумѣвъ его, мы безпрестанно останавливаемся, какъ Гамлетъ, и думаемъ, думаемъ“... Если къ этому прибавить, что у большинства

представителей тогдашняго образованнаго дворянскаго класса нашего общества вовсе не была развита „благородная привычка къ труду“, вслѣдствіе возможности пользоваться даровой крестьянской работой, то вполнѣ будетъ понятна неспособность представителей этого поколѣнія къ дѣятельности даже самой скромной, носящей хотя бы чисто личный характеръ. Однако въ чемъ же проявляли себя энергія, творческая сила мысли и чувства, потребность къ дѣятельности, присущія наиболѣе даровитымъ представителямъ всякаго поколѣнія? Пищу для ума давала нѣмецкая идеалистическая философія, главнымъ образомъ, Гегель, энергія, до извѣстной степени, разряжалась цѣлыми потоками краснорѣчія, а чувство находило себѣ выходъ въ поклоненіи искусству и затѣмъ, въ гораздо еще большей степени, въ погонѣ за любовными наслажденіями, до которыхъ люди сороковыхъ годовъ были большіе охотники.

Типичнымъ представителемъ человѣка, заѣденнаго рефлексіей, является у Тургенева герой разсказа „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“, а также Чулкатуринъ, отъ имени котораго ведется „Дневникъ лишняго человѣка“. Отличительной чертой перваго служитъ, при недюжинномъ умѣ, способномъ ясно подмѣчать несообразности окружающей жизни, не въ мѣру развитой самоанализъ, который подрѣзалъ крылья его волѣ, внушилъ ему мысль о полномъ ничтожествѣ собственной особы. Его удручаетъ сознаніе отсутствія всякой оригинальности, самобытности. „Я именно и гибну оттого, что во мнѣ рѣшительно нѣтъ ничего оригинальнаго. Что мнѣ въ томъ,—продолжаетъ онъ, говоря далѣе о себѣ во второмъ лицѣ,—что мнѣ въ томъ, что у тебя голова велика и умѣстительна, и что понимаешь ты все, много знаешь, за вѣкомъ слѣдишь,—да всего-то, особеннаго, собственнаго у тебя ничего нѣту!“ Оглядываясь на прошлое, онъ видитъ въ немъ однѣ ошибки и заблужденія: дѣтство прошло „глупо и вяло, словно подъ периной“, учился, влюбился и женился, наконецъ, словно не по собственной охотѣ, словно исполняя какой-то не то долгъ, не то урокъ“, такъ-же безцѣльно, безъ глубокихъ внутреннихъ побужденій, изучалъ философію Гегеля, которая не имѣетъ рѣшительно ничего общаго съ русской жизнью. „Такъ зачѣмъ же ты таскался за границу? Зачѣмъ не сидѣлъ дома да не изучалъ окружающей тебя жизни на мѣстѣ?“ восклицаетъ онъ, негодуя самъ на себя, и тутъ же даетъ отвѣтъ на свой вопросъ: „Да помилуйте... гдѣ же нашему брату изучать то, чего еще ни одинъ умница въ книгу не вписалъ! Я бы и радъ брать у нея уроки, у русской жизни-то, да молчитъ она, моя голубушка-то. Пойми меня, дескать, такъ, а мнѣ это не подъ силу, мнѣ вы подайте выводъ, заключеніе мнѣ представьте!“ Въ этихъ словахъ Щигровскаго Гамлета заключается указаніе на другую его особенность: неумѣніе разобраться въ практической жизни, неподготовленность къ ней. Такимъ образомъ, въ лицѣ героя Гамлета Щигровскаго уѣзда, передъ нами заѣденный самоанализомъ человѣкъ, который до такой степени привыкъ заниматься самобичеваніемъ, что въ этомъ находитъ своеобразное наслажденіе и совершенно неспособенъ къ какому бы то ни было дѣлу. Онъ въ полномъ смыслѣ слова „лишній человѣкъ“, какъ и Чулкатуринъ, герой повѣсти: „Дневникъ лишняго человѣка“. Незадолго до смерти Чулкатуринъ начинаетъ писать дневникъ и такъ характеризуетъ себя: „Про меня ничего другого и сказать нельзя: лишній—да и только. Сверхштатный человѣкъ—вотъ и все“. Оказывается, въ теченіе всей своей

жизни онъ не находилъ своего мѣста: всегда оно было кѣмъ-нибудь занято. Происходило это, по его же собственному объясненію, оттого, что онъ постоянно уходилъ въ себя, „разбиралъ себя до послѣдней ниточки... Цѣлые дни проходили въ этой мучительной, безплодной работѣ“. И вотъ вся жизнь прошла безслѣдно, не оставивъ ни одного свѣтлаго воспоминанія; она такъ мучительна для этого „лишняго“, „сверхштатнаго“, человѣка, что онъ радъ умереть, радъ „отдѣлаться, наконецъ, отъ томящаго сознанія жизни, отъ неотвязнаго и безпокойнаго чувства существованія“. И тутъ, какъ у Щигровскаго Гамлета, тотъ же убивающій живую душу самоанализъ, неспособность найти въ жизни свою точку, неумѣніе взяться хоть за какое-нибудь дѣло. Вмѣстѣ съ тѣмъ у Чулкатурина выдвигается еще одна характерная черта людей его поколѣнія: въ его жизни неудачная любовь играетъ роковую роль; подводя итоги своему существованію, онъ почти только говоритъ о ней,—очевидно, это самое сильное впечатлѣніе, какое дала ему жизнь.

Въ лицѣ Гамлета Щигровскаго уѣзда и Чулкатурина Тургеневъ сдѣлалъ первую попытку возсоздать въ художественныхъ образахъ наиболѣе характерныя черты своего поколѣнія. Насколько удачно были схвачены эти черты и соотвѣтствовали дѣйствительности, можно судить уже по одному тому, что, несмотря на сравнительную бѣдность содержанія только что разсмотрѣнныхъ произведеній и нѣкоторую односторонность въ обрисовкѣ дѣйствующихъ лицъ, клички „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“ и особенно „лишній человѣкъ“ стали ходячими не только въ примѣненіи къ поколѣнію людей сороковыхъ годовъ, но и къ многочисленному общественному и литературному ихъ потомству.

Гораздо полнѣе и разностороннѣе изображенъ типъ „лишняго человѣка“ 40-хъ годовъ въ лицѣ Рудина въ романѣ того же имени, появившемся въ печати въ началѣ 1856-го года.

Рудинъ.

Образъ Рудина вызвалъ самые разнорѣчивые толки. Нѣкоторые представители критики 60-хъ годовъ ставили его очень низко, видя въ немъ полную неспособность измѣнить къ лучшему даже способности своего домашняго быта. Вся его жизнь, по словамъ Писарева, не что иное, какъ длинный рядъ самообольщеній, разочарованій, мыльныхъ пузырей и миражей. Это обезпеченный тунеядецъ, жалкій продуктъ русскаго барства. На ряду съ подобными отзывами въ статьяхъ, посвященныхъ анализу Рудина, встрѣчается и очень сочувственное, чуть не восторженное отношеніе къ нему.

Такое же разнорѣчіе замѣчается и въ опредѣленіи критиками отношенія Тургенева къ своему герою. По мнѣнію Писарева, Тургеневъ ясно и открыто становится въ положеніе обвинителя людей рудинскаго типа; онъ безпощадно разоблачаетъ ихъ мнимое обаяніе и красивую пошлость. Совсѣмъ иначе смотритъ на отношеніе автора къ Рудину другой извѣстный критикъ-публицистъ Шелгуновъ, ставящій ему въ вину сочувствіе къ Рудинымъ.

Эти діаметрально противоположныя сужденія выдающихся критиковъ о личности Рудина, а главное, объ отношеніи къ нему автора, показываютъ, что не такъ-то легко разобраться въ этомъ образѣ. Дѣйствительно, онъ какъ то двоится въ сознаніи читателя; передъ нами то обычный фразеръ, щеголяющій умѣніемъ красно говорить на возвышенныя темы, человѣкъ съ холодной душой и только прикидывающійся пламеннымъ, актеръ, „кокетка“, по выраженію Лежнева, то идеалистъ чистѣйшей воды, полный благородныхъ мыслей, но слишкомъ неприспособленный къ условіямъ окружающей его среды и обстановки. То же самое приходится сказать и относительно взгляда на него самого автора, насколько онъ отразился въ рѣчахъ прочихъ дѣйствующихъ лицъ, высказывающихъ свое мнѣніе о немъ, и въ отдѣльныхъ пояснительныхъ замѣчаніяхъ. Намъ необходимо разобраться въ этихъ странныхъ противорѣчіяхъ, ибо иначе невозможно понять должнымъ образомъ Рудина. Начнемъ со второго.

Было нѣсколько попытокъ разъяснить причину двойственнаго отношенія Тургенева къ Рудину, которое особенно ярко бросается въ глаза, если принять во вниманіе совершенно различные по своему характеру отзывы о немъ Лежнева въ первой и во второй половинѣ романа. По мнѣнію однихъ, эта двойственность объясняется симпатіей автора къ людямъ сороковыхъ годовъ вообще при крайней антипатіи къ одному изъ нихъ, М. Б., который будто бы послужилъ прототипомъ для Рудина. Но это объясненіе не можетъ быть принято уже потому одному, что Б. далеко не отличался всѣми тѣми недостатками, которые приписалъ Тургеневъ Рудину въ первой половинѣ романа.

Другіе находятъ, что рѣшеніе загадки слѣдуетъ искать въ нравственномъ и творческомъ мірѣ самого автора. Въ лицѣ Рудина, говоритъ г. Ивановъ, авторъ названнаго выше изслѣдованія о творчествѣ нашего автора, Тургеневъ совершаетъ надъ собою тотъ самый судъ художника, къ которому неоднократно прибѣгаютъ великіе писатели. Желая истребить въ себѣ тѣ или другіе недостатки, они нерѣдко надѣляютъ ими своихъ героевъ и, такимъ образомъ, держатъ надъ собою нелицемѣрный судъ. Дѣйствительно, указанный сейчасъ мотивъ къ творчеству не разъ былъ источникомъ созданія художественныхъ поэтическихъ образовъ, но такая гипотеза едва-ли можетъ быть принята относительно Тургенева, прежде всего потому, что онъ по существу своего таланта, какъ было указано выше,—объективный писатель, а приписываніе авторомъ въ значительномъ количествѣ своихъ личныхъ чертъ тому или иному изъ дѣйствующихъ лицъ присуще писателямъ, отличающимся способностью, главнымъ образомъ, субъективнаго творчества. Да и кромѣ того, если даже предположить на время возможность подобнаго рода субъективизма со стороны автора „Рудина“, въ нашемъ распоряженіи слишкомъ мало біографическихъ данныхъ, чтобы съ достаточной полнотой обосновать сдѣланное предположеніе.

Наиболѣе вѣроятнымъ представляется взглядъ на Рудина, какъ на такой литературный образъ, въ которомъ объединились не одинъ, а цѣлыхъ два характера. Это станетъ яснымъ, если вспомнить одно очень обычное явленіе, съ которымъ однако до сихъ поръ многіе не могутъ свыкнуться и вслѣдствіе этого часто отожествляютъ лица и вещи совершенно различнаго порядка. Почти всегда рядомъ съ людьми, проникнутыми возвышенными, свѣтлыми идеалами и глубокой вѣрой въ нихъ, появляются ничтожныя, мелкія личности, на лету схватывающія декоративную

сторону новаго направленія и съ большимъ или меньшимъ искусствомъ драпирующіяся въ нее. Такъ было и въ сороковые годы. На ряду съ благороднѣйшими представителями этой эпохи, какими были люди близкіе къ Тургеневу, какъ Бѣлинскій, Станкевичъ, Аксаковы и мн. др., появились лица, какъ будто и похожія на нихъ, но далекія отъ нихъ по сущности своей духовной природы. Это каррикатурное отраженіе дорогого Тургеневу общественнаго движенія и встрѣтило осужденіе въ образѣ Рудина въ первой половинѣ романа, и отсюда понятно отрицательное отношеніе къ нему автора. Но симпатія къ тому теченію въ родной жизни, которое нашло себѣ хоть и каррикатурное, но все же, до извѣстной степени, близкое къ дѣйствительности отраженіе въ Рудинѣ первой половины романа, заставила Тургенева безсознательно затушевать тѣ отрицательныя стороны, которыя онъ вначалѣ такъ открыто выставлялъ, и дописать Рудина, какъ типичнаго представителя лучшихъ людей 40-хъ годовъ. Вотъ почему въ художественномъ отношеніи образъ Рудина не можетъ быть поставленъ высоко, ибо въ немъ нѣтъ единства поэтическаго замысла. Этого рода недостатокъ вполнѣ понятенъ въ творчествѣ даже такого большого таланта, какъ Тургеневъ: вѣдь, Рудинъ—первый характеръ, который авторъ попытался подвергнуть полной разработкѣ, а создать впервые законченный характеръ—дѣло далеко не легкое и для первокласснаго писателя; вспомнимъ хотя бы неудачный образъ плѣннаго русскаго офицера въ поэмѣ: „Кавказскій плѣнникъ“, первый характеръ, съ которымъ Пушкинъ, по его собственному признанію, насилу сладилъ. Но художественные недочеты въ образѣ Рудина даютъ возможность, путемъ тщательнаго анализа, одновременно составить себѣ понятіе о двухъ разновидностяхъ въ поколѣніи людей сороковыхъ годовъ. Мы остановимся только на тѣхъ чертахъ Рудина, которыя являются характерными для лучшихъ представителей разсматриваемаго нами поколѣнія.

Въ чемъ заключается сущность міровоззрѣнія Рудина? Нѣкоторыя черты его не трудно опредѣлить—авторъ заставляетъ своего героя, при первомъ же знакомствѣ съ нимъ читателя, въ горячей, вдохновенной рѣчи изложить основныя положенія его. Вотъ они: „Людямъ нужна вѣра... въ самыхъ себя, въ свои силы. Имъ нельзя жить одними впечатлѣніями, имъ грѣшно бояться мысли и не довѣрять ей. Скептицизмъ всегда отличался безплодностью и безсиліемъ... Если у человѣка нѣтъ крѣпкаго начала, въ которое онъ вѣритъ, нѣтъ почвы, на которой онъ стоитъ твердо, какъ можетъ онъ дать себѣ отчетъ въ подробностяхъ, въ значеніи, въ будущности своего народа, какъ можетъ онъ знать, что онъ самъ долженъ дѣлать“... Это тѣ самыя настроенія, которыя были обычными въ кружкѣ Станкевича, и отзвуки которыхъ безъ труда можно отыскать въ сочиненіяхъ и особенно перепискѣ членовъ этого кружка. Тамъ они поддерживались и развивались нѣмецкой философской и поэтической мыслью, на выучку къ которой такъ охотно шла русская прогрессивная молодежь въ тридцатые и сороковые годы. И у Рудина они являются, повидимому, результатомъ тѣхъ же вліяній; по крайней мѣрѣ, онъ выступаетъ въ качествѣ бывшаго питомца германскихъ университетовъ и „весь погруженъ въ германскую поэзію, въ германскій романтическій и философскій міръ“.

Слѣдующей отличительной чертой Рудина, роднящей его съ поколѣніемъ сороковыхъ годовъ, является любовь къ общимъ отвлеченнымъ разсужденіямъ, къ рѣшенію принципіальныхъ вопросовъ. Не даромъ Рудинъ въ первый свой пріѣздъ къ

Ласунской, несмотря на просьбы разсказать что-либо о своей студенческой жизни, „скоро перешелъ къ общимъ разсужденіямъ о значеніи просвѣщенія и науки“.

Эти разсужденія выливаются у Рудина въ блестящей, чарующей словесной формѣ. „Не самодовольной изысканностью опытнаго говоруна—вдохновеніемъ дышала его нетерпѣливая импровизація. Онъ не искалъ словъ: они сами послушно и свободно приходили къ нему на уста, и каждое слово казалось, такъ и лилось прямо изъ души, пылало всѣмъ жаромъ убѣжденія. Рудинъ владѣлъ едва-ли не высшей тайной—музыкой краснорѣчія. Онъ умѣлъ, ударяя по однѣмъ струнамъ сердецъ, заставлять смутно звенѣть и дрожать другія. Иной слушатель, пожалуй, и не понималъ въ точности, о чемъ шла рѣчь; но грудь его высоко поднималась, какія-то завѣсы развертались передъ его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди“. Въ такихъ словахъ характеризуетъ намъ Тургеневъ то обаяніе, какое имѣло краснорѣчіе Рудина на его слушателей. Въ самомъ романѣ мы находимъ какъ бы фактическое подтвержденіе этого: вспомнимъ Басистова и Наталью. Тургеневъ не даромъ надѣлилъ своего героя чарующей способностью блестяще владѣть живымъ словомъ: умѣніе увлекательно говорить было типической чертой его поколѣнія. Способность эта вырабатывалась въ безконечныхъ дружескихъ спорахъ въ студенческихъ кружкахъ молодежи 30-хъ годовъ.

Кстати сказать, Тургеневъ, хотя и мимоходомъ, въ немногихъ словахъ далъ живую картину того, какое огромное значеніе имѣла кружковая жизнь для его членовъ, и этой вскользь брошенной подробностью прекрасно дополняетъ общую картину духовной жизни молодого поколѣнія тридцатыхъ годовъ. „Какъ вспомню я наши сходки,—разказываетъ Лежневъ,—ну, ей Богу-же, много въ нихъ было хорошаго, даже трогательнаго... Вы представьте: одна сальная свѣчка горитъ, чай подается прескверный и сухари къ нему старые-престарые; а посмотрѣли-бы вы на всѣ наши лица, послушали бы рѣчи наши! Въ глазахъ у каждаго восторгъ, и щеки пылаютъ, и сердце бьется, и говоримъ мы о Богѣ, о правдѣ, о будущности человѣчества, о поэзіи... А ночь летитъ тихо и плавно, какъ на крыльяхъ. Вотъ уже и утро сѣрѣетъ, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у насъ и въ поминѣ тогда не было), съ какой то пріятной усталостью на душѣ... И даже на звѣзды какъ то довѣрчиво глядишь, словно онѣ и ближе стали и понятнѣе“. Къ такому кружку принадлежалъ въ студенческіе годы въ Москвѣ и Рудинъ, и на эту подробность его поэтической біографіи нужно смотрѣть, какъ на типическую черту времени.

Но указанными свойствами Рудина далеко не исчерпывается его личность, какъ представителя нашей общественности въ сороковые годы. Какъ и Гамлетъ Щигровскаго уѣзда, онъ часто предается самообличеніямъ, осыпаетъ себя упреками. Эта черта является у него слѣдствіемъ сильно развитаго самоанализа, рефлексіи и проявляется неоднократно въ романѣ, но съ особенной силой въ его прощальномъ письмѣ къ Натальѣ и въ послѣдней бесѣдѣ съ Лежневымъ.

Обращаетъ также на себя вниманіе отношеніе Рудина къ любви. Оно очень характерно для него, какъ типическаго представителя своей эпохи. Два факта даютъ намъ матеріалъ для сужденія о взглядахъ Рудина на чувство: его роль въ сердечномъ увлеченіи Лежнева и исторія его отношеній къ Наташѣ. Влюбленный юноша-Лежневъ открываетъ свое чувство Рудину. Тотъ, говоритъ Лежневъ, „узнавъ о моей любви, пришелъ въ восторгъ неописанный; поздравилъ, обнялъ меня и тот-

часъ пустился вразумлять меня, толковать мнѣ всю важность моего новаго положенія!“ Результатомъ этихъ толкованій Рудина было то, что Лежневъ, по его же собственнымъ словамъ, даже ходить началъ осторожнѣе, точно у него въ груди находился сосудъ, полный драгоцѣнной влаги, которую онъ боялся расплескать. Ясно, что Рудинъ былъ весь проникнутъ культомъ чувства любви и заразилъ имъ Лежнева. Этотъ культъ любовнаго чувства не покинулъ Рудина и въ зрѣлые годы. Когда онъ появляется передъ нами въ романѣ, ему около 35-ти лѣтъ, а между тѣмъ онъ такъ-же много думаетъ объ этомъ чувствѣ и ищетъ его: не даромъ онъ „охотно и часто говорилъ о любви“ и даже собирался писать о трагическомъ значеніи ея въ жизни и безъ всякихъ дурныхъ побужденій старался раздуть въ себѣ и въ Натальѣ это чувство; и не онъ виноватъ, если годы и, быть можетъ, темпераментъ были причиной того, что ему не удалось вызвать его въ себѣ во всей силѣ: онъ искренно хотѣлъ полюбить всей душой.

Намъ остается еще разсмотрѣть одну, наиболѣе ярко бросающуюся въ глаза въ Рудинѣ черту, очень характерную для его поколѣнія,—это разладъ между словомъ и дѣломъ, вѣрнѣе, неспособность къ практическому примѣненію въ жизни тѣхъ принциповъ, которые, повидимому, такъ ясно опредѣлились въ его сознаніи. Рудина часто упрекаютъ въ полномъ бездѣліи, въ непригодности къ какой бы то ни было дѣятельности вообще. Но это вѣрно только относительно Рудина первой половины романа, которая, какъ мы уже знаемъ, не можетъ безъ всякихъ ограниченій служить матеріаломъ для характеристики героя; вторая половина, наоборотъ, даетъ намъ опредѣленныя свѣдѣнія о томъ, что Рудинъ неоднократно и очень настойчиво принимался за дѣло, имѣющее цѣлью не личныя, эгоистическія выгоды, а благо общественное. Сходится онъ, напримѣръ, съ однимъ богатымъ, но ограниченнымъ человѣкомъ, который вполнѣ подпадаетъ подъ его вліяніе. Онъ владѣлъ большими средствами,—„сколько можно было черезъ него сдѣлать добра, принести пользы существенной“, конечно, не для одного богача-помѣщика, но и для его крестьянъ. Но черезъ два года Рудинъ видитъ, что онъ опять обманулся въ своихъ ожиданіяхъ, и вотъ онъ не задумываясь бросаетъ теплый уголъ и полную комфорта жизнь и „очутился опять легокъ и голъ въ пустомъ пространствѣ“. Послѣ этого новая попытка употребить свои силы на общее полезное дѣло. Вмѣстѣ съ такимъ же мечтателемъ-идеалистомъ, какъ онъ самъ, Рудинъ, не имѣя почти вовсе средствъ, берется за чисто фантастическое дѣло—превратить одну рѣку въ судоходную. Кончилось тѣмъ, что, послѣ тяжелой шестимѣсячной жизни въ землянкахъ впроголодь, Рудинъ послѣдній свой грошъ добилъ на этотъ проэктъ, ничего, конечно, не достигнувъ. Но и эта неудача не сломила Рудина. Онъ все стремится быть полезнымъ для другихъ, страстно ищетъ общественной дѣятельности—и останавливается на мысли сдѣлаться учителемъ, чтобы другимъ передать свои знанія, изъ которыхъ они, быть можетъ, извлекутъ хоть нѣкоторую пользу. Но и тутъ онъ потерпѣлъ пораженіе, потому что не сумѣлъ приспособиться къ обстоятельствамъ. Самая смерть Рудина на баррикадахъ 1848-го года въ Парижѣ показываетъ, что онъ до конца дней своихъ остался вѣренъ своему стремленію—отдать силы на общее дѣло.

Въ чемъ однако причины пораженія Рудина на поприщѣ его дѣятельности, его неумѣнія взяться за простое, жизненное дѣло? Ихъ, въ значительной степени,

нужно искать въ тѣхъ общественно-бытовыхъ условіяхъ, продуктомъ которыхъ явилась личность Рудина. Тургеневъ только мимоходомъ упоминаетъ о нихъ, и тѣмъ цѣннѣе эти упоминанія. Сюда относится, прежде всего, то, что мы узнаемъ изъ романа о дѣтствѣ Рудина. Его мать души въ немъ не чаяла и всѣ средства, какія у нея были, тратила на него. Такимъ образомъ, въ дѣтствѣ отъ Рудина, по всей вѣроятности, устранялись всякія заботы, все то, что могло сколько-нибудь омрачить дѣтскую душу, а такимъ въ то время считался, прежде всего, трудъ. Дальнѣйшее воспитаніе ведется на счетъ дяди, а потомъ онъ живетъ то на средства какого-то богатаго князька, то какой-то барыни. Значитъ, и позднѣе, въ юности, ему не приходится, трудиться,—матеріально онъ обезпеченъ, а богатыя природныя способности дѣлаютъ ненужнымъ даже малѣйшее усиліе при добываніи тѣхъ скромныхъ знаній, какія давались въ то время въ русскихъ университетахъ. Итакъ, Рудинъ растетъ на даровыхъ хлѣбахъ, совершенно не пріучаясь къ какому-бы то ни было труду, не вырабатывая въ себѣ навыка и умѣнья приняться за самую обыденную работу. Общій строй воспитанія той эпохи былъ таковъ, что онъ вовсе не имѣлъ въ виду развивать у молодежи способности трудиться. Вмѣстѣ съ тѣмъ, воспитаніе это, какъ въ юные годы, такъ и позднѣе, когда молодежь самостоятельно, путемъ штудированія нѣмецкой философской и поэтической мысли, заполняла пробѣлы въ своихъ знаніяхъ, было совершенно чуждо русской жизни, ея своеобразнаго уклада. И только немногимъ удавалось, благодаря особому складу характера или счастливой случайности, найти примѣненіе тѣмъ возвышеннымъ идеалистическимъ порывамъ, которыми были полны ихъ души. Большинство-же оставалось безъ почвы подъ ногами, „безъ руля и безъ вѣтрилъ“, въ качествѣ „лишнихъ людей“ слонялось по лицу родной земли, хватаясь то за одно, то за другое, ломая себя и, въ концѣ концовъ, погибая съ горькимъ сознаніемъ безполезно прожитой жизни. Тургеневъ устами Лежнева вполнѣ правильно замѣчаетъ, что „несчастье Рудина состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, и это, точно, большое несчастье. Но... это не вина Рудина, это его судьба, судьба горькая и тяжелая, за которую мы винить его не станемъ“.

Такъ самъ авторъ, говоря о дѣтствѣ и юности Рудина, даетъ читателю нѣкоторыя указанія, объясняющія основныя черты этого типа—отсутствіе глубокихъ знаній и неспособность къ дѣятельности, къ дѣлу, даже самому маленькому незначительному или, вѣрнѣе говоря, прежде всего къ маленькому. Въ отсутствіи умѣнія взяться именно за маленькое жизненное дѣло, въ расходованіи энергіи на одни разговоры Тургеневъ и видитъ одну изъ причинъ несчастья Рудина. „Фраза меня сгубила,—замѣчаетъ онъ въ послѣдней бесѣдѣ съ Лежневымъ,—она заѣла меня, я до конца не могъ отъ нея отдѣлаться... Слова, все слова, дѣлъ не было“, и на вопросъ Лежнева, что же онъ разумѣетъ подъ дѣлами, онъ добавляетъ: „слѣпую бабку и все ея семейство своими трудами прокормить, какъ, помнишь, Пряженцевъ... Вотъ тебѣ и дѣло“...

Такимъ образомъ, и Рудинъ со своимъ сильнымъ и яснымъ умомъ, блестящимъ краснорѣчіемъ, благородный, талантливый Рудинъ, казавшійся энтузіасту Басистову геніальной натурой, и онъ оказался, въ концѣ концовъ, „лишнимъ человѣкомъ“.

Но если онъ былъ таковымъ въ своихъ собственныхъ глазахъ, то въ иномъ свѣтѣ представляется онъ намъ, если посмотрѣть на него съ точки зрѣнія исторической перспективы. Онъ былъ необходимымъ звеномъ въ исторіи развитія русскаго общества, той силой, которая пробудила сонную русскую мысль, освѣжила ее притокомъ новыхъ, свѣтлыхъ идеаловъ, вывела изъ апатіи и застоя. Значеніе Рудина, какъ общественнаго дѣятеля своего времени, прекрасно опредѣляется въ романѣ слѣдующими словами Лежнева, устами котораго авторъ не разъ высказываетъ свою точку зрѣнія на него. „Въ немъ есть энтузіазмъ, а это... самое драгоцѣнное качество въ наше время. Мы всѣ стали невыносимо разсудительны, равнодушны и вялы; мы заснули, мы застыли, и спасибо тому, кто хоть на мигъ насъ расшевелитъ и согрѣетъ!... Онъ не сдѣлаетъ самъ ничего... но кто въ правѣ сказать, что онъ не принесетъ, не принесъ уже пользы, что его слова не заронили много добрыхъ сѣмянъ въ молодыя души, которымъ природа не отказала, какъ ему, въ силѣ дѣятельности, въ умѣніи исполнять собственные замыслы?“

Мы разсмотрѣли типъ Рудина и его значеніе для русской жизни въ сороковые и первую половину пятидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія. Но этотъ образъ представляетъ интересъ не только потому, что онъ является передъ нами представителемъ опредѣленной эпохи русской жизни. Въ немъ мы находимъ также черты, свойственныя міровому культурно-историческому типу „человѣка слова“, встрѣчающемуся во всѣ времена и у всѣхъ народовъ. Это общечеловѣческій типъ идеалиста, слишкомъ возвышающагося надъ современной дѣйствительностью, не приспособленнаго къ историческимъ и общественнымъ условіямъ своей эпохи. Такіе люди всегда были, есть и будутъ во всякомъ обществѣ, если только оно способно къ дальнѣйшему развитію, и потому образъ Рудина представляетъ глубокій интересъ какъ для историка русскаго общества, такъ и потому, что отражаетъ въ себѣ черты общечеловѣческаго типа.

Лаврецкій.

Два года спустя послѣ появленія въ печати „Рудина“, въ 1858-мъ году, былъ напечатанъ второй большой романъ Тургенева: „Дворянское гнѣздо“, имѣвшій самый большой и вполнѣ заслуженный успѣхъ, какой когда-либо выпадалъ на долю нашего автора. Какъ показываетъ самое заглавіе, романъ этотъ не столько имѣетъ въ виду дать обрисовку отдѣльнаго характера, сколько преслѣдуетъ другую цѣль—изобразить общую картину жизни русскаго дворянства. Это, какъ выразился Аполлонъ Григорьевъ, „огромный холстъ, натянутый для огромной исторической картины“. Дѣйствительно, передъ нами здѣсь отразилась жизнь нѣсколькихъ поколѣній русскаго провинціальнаго дворянства, но все же главное мѣсто въ этой картинѣ принадлежитъ типамъ, взятымъ изъ той же эпохи, представителемъ который былъ и разсмотрѣнный только что Рудинъ. Такимъ типомъ въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ является, прежде всего, Федоръ Ивановичъ Лаврецкій.

Необходимо однако оговориться, что хотя Лаврецкій и принадлежитъ къ тому самому періоду русской жизни, какъ и Рудинъ, однако въ складѣ его жизни

и личности мы будемъ видѣть черты, какъ будто совсѣмъ отличныя отъ тѣхъ, какія указывались выше при анализѣ образа Рудина. Въ этомъ нѣтъ ничего необычнаго. Какъ ни однообразна была дореформенная жизнь нашей дворянской среды, все же, при ближайшемъ разсмотрѣніи ея, въ ней замѣчались различнаго рода обособленныя теченія. Тѣмъ не менѣе, въ общемъ, эти теченія въ значительной степени давали одинаковые результаты, потому что вся жизнь носила очень замѣтный отпечатокъ единаго дореформеннаго строя, приводившаго къ одному знаменателю всѣ разновидности въ типахъ и настроеніяхъ, какія создавались при нѣсколько видоизмѣненныхъ формахъ личнаго существованія.

Говоря о своемъ героѣ, Тургеневъ приводитъ длинную его родословную и въ сжатыхъ чертахъ рисуетъ образы его прадѣда, дѣда и отца. Такимъ образомъ, передъ нами четыре поколѣнія одной и той же семьи, цѣлое „дворянское гнѣздо“. Образы предковъ Федора Лаврецкаго даютъ богатый матеріалъ для характеристики русскаго провинціальнаго дворянства второй половины XVIII и начала XIX вв. и служатъ прекрасными иллюстраціями къ тѣмъ цѣльнымъ натурамъ помѣщичьей среды, которыя были знакомы читателямъ Тургенева по нѣкоторымъ разсказамъ изъ „Записокъ охотника“ (напр. „Однодворецъ Овсяниковъ“ и др.). Мы не будемъ однако останавливаться на нихъ и сосредоточимъ свое вниманіе на послѣднемъ представителѣ древняго дворянскаго рода.

Тургеневъ довольно подробно разсказываетъ о воспитаніи Федора Лаврецкаго. Это воспитаніе, въ своихъ основныхъ чертахъ, можетъ считаться типическимъ для нѣкоторой части русскаго дворянства 30-хъ и 40-хъ годовъ.

Характерной чертой этого воспитанія является полное духовное одиночество мальчика, отсутствіе любви и ласки къ нему у окружающихъ людей, совершенное игнорированіе духовныхъ его особенностей, стремленіе подчинить его личность посторонней волѣ, поработить его. Въ раннемъ еще дѣтствѣ былъ отторгнутъ Лаврецкій отъ нѣжно любившей его матери, простой крестьянки, на которой сгоряча женился его отецъ. Тетка Глафира, черствое, холодное существо, почти не допускала матери къ мальчику подъ тѣмъ предлогомъ, что она не въ состояніи заниматься его воспитаніемъ. Однако ребенокъ успѣлъ безумно полюбить ее; память о ней навѣки запечатлѣлась въ его сердцѣ, „но онъ смутно понималъ ея положеніе въ домѣ; онъ чувствовалъ, что между нимъ и нею существовала преграда, которую она не смѣла и не могла разрушить“. Такимъ образомъ, съ первыхъ же шаговъ своей сознательной жизни ребенокъ чувствовалъ гнетъ какой-то посторонней силы, противъ которой не могло противостоять самое близкое, самое дорогое существо. Удручающимъ образомъ должно было дѣйствовать это сознаніе, подавляя его волю, энергію. На восьмомъ году лишился Лаврецкій матери, и тетка окончательно забрала его въ руки. „Ѳедя боялся ея, боялся ея свѣтлыхъ и зоркихъ глазъ, ея рѣзкаго голоса; онъ не смѣлъ пикнуть при ней; бывало, онъ только зашевелится на своемъ стулѣ, ужъ она и шипитъ: „куда? сиди смирно“. Вскорѣ для обученія его языкамъ и музыкѣ была приглашена старая шведка „съ заячьими глазами“. Въ обществѣ этихъ двухъ старухъ да старой сѣнной дѣвушки Васильевны провелъ Ѳедя четыре года своей жизни послѣ смерти матери. Не было никого возлѣ заброшеннаго, одинокаго мальчика, кто съ сердечной лаской отнесся бы къ нему, кто подумалъ бы о томъ,

какія мысли шевелятся въ его головкѣ, кто далъ бы необходимый просторъ для развитія его духовныхъ силъ. Не удивительно, что онъ никого не полюбилъ изъ окружавшихъ его лицъ. Но вотъ пріѣхалъ изъ-за границы отецъ Лаврецкаго, весь проникнутый англоманствомъ, и, не теряя времени, принялся за воспитаніе сына, желая изъ него сдѣлать „человѣка и спартанца“. Мѣсто шведки занялъ молодой швейцарецъ, въ совершенствѣ изучившій гимнастику. Физическое воспитаніе выступило на первый планъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мальчикъ долженъ былъ изучать естественныя науки, международное право, математику, столярное ремесло, по совѣту Ж. Ж. Руссо, и геральдику для поддержанія рыцарскихъ чувствъ. Итакъ, двѣнадцатилѣтняго мальчика, не считаясь съ его природными задатками, отдаютъ въ распоряженіе новой воспитательной системы. Не удивительно, что „система сбила съ толку мальчика, поселила путаницу въ его головѣ, притиснула ее“. Когда ему исполнилось шестнадцать лѣтъ, предусмотрительный отецъ сталъ развивать въ немъ презрѣніе къ женщинамъ, и „молодой спартанецъ уже старался казаться равнодушнымъ, холоднымъ и грубымъ“.

Таково было воспитаніе Федора Лаврецкаго. Единственно, что положительнаго дало оно ему, такъ это только физическое здоровье. Что касается до его внутренняго міра, то и вліяніе тетки Глафиры и „система“ только тормазили естественный ходъ развитія душевныхъ силъ, „вывихнули“ его, какъ онъ самъ мѣтко говоритъ о себѣ, парализовали его волю, съ ранняго дѣтства оторвали отъ родной жизни, которая не доходила до него ни въ покояхъ Глафиры, ни подъ вліяніемъ англомана-отца*). Съ восемнадцати лѣтъ, несмотря на придавленность и путаницу, поселенную въ головѣ „системой“, начинаетъ Лаврецкій постепенно высвобождаться изъ подъ гнета давившей его руки. Мало по малу понялъ онъ всю идейную несостоятельность своего отца и крупные пробѣлы своего воспитанія и рѣшилъ, во что бы то ни стало, наверстать упущенное. А упущено было многое. Безалаберное воспитаніе принесло свои плоды. Много разрознешныхъ идей бродило у него въ головѣ, въ нѣкоторыхъ вопросахъ онъ былъ свѣдущъ не хуже любого спеціалиста, но наряду съ этимъ не зналъ многаго такого, что извѣстно каждому гимназисту. Полный безсознательной жажды общенія съ людьми и любви, онъ неумѣлъ сходиться съ ними, боялся женщинъ; „при его умѣ ясномъ и здравомъ, но нѣсколько тяжеломъ, при его наклонности къ упрямству, созерцанію и лѣни, ему-бы слѣдовало съ раннихъ лѣтъ попасть въ жизненный водоворотъ, а его поддержали въ искусственномъ уединеніи“.

И вотъ „вывихнутый человѣкъ“ пытается выправить себя. Онъ начинаетъ съ того, что поступаетъ въ университетъ съ цѣлью пополнить свои знанія. Къ этому времени уже ясно опредѣляются нѣкоторыя его черты. Прежде всего его отношеніе къ любви. „Горе сердцу, не любившему смолоду“, говоритъ Тургеневъ по поводу равнодушія Лаврецкаго къ окружавшимъ его въ дѣтствѣ лицамъ. Сугубое горе, скажемъ, мы, тому, у кого, какъ у Лаврецкаго, душа полна потребности привязаться къ кому-либо,—не даромъ онъ такъ горячо полюбилъ въ раннемъ дѣтствѣ свою мать. Это благородное свойство души, не находя себѣ долго пищи, все растетъ и

*) Все это типичныя послѣдствія россійскаго воспитанія провинціальнаго дворянства въ первую четверть XIX-го вѣка; воспитаніе это носило иногда другой характеръ, чѣмъ то, какое изобразилъ Тургеневъ, но оно было аналогично съ нимъ по послѣдствіямъ.

растетъ и потомъ, въ концѣ концовъ, изливается со всею мощью часто на недостойнаго человѣка. Такъ и случилось съ Лаврецкимъ. Потребность любви къ существу другого пола, такъ настойчиво подавляемая въ немъ въ юности отцовской системой воспитанія, надо думать, сильно заговорила въ немъ, когда онъ началъ освобождаться изъ подъ ея вліянія. Наступаетъ совершенно естественная реакція: то что раньше, подъ давленіемъ отцовскихъ внушеній, презиралось и тщательно подавлялось, теперь чуть-ли не возводится въ культъ, благо сама природа мощно требуетъ этого. Отсюда-то жажда любви, преклоненіе предъ ея властью. Въ такомъ видѣ мы представляемъ себѣ перемѣну въ настроеніи Лаврецкаго относительно чувства любви. Тургеневъ не разсказываетъ намъ этого,—въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ онъ болѣе, чѣмъ гдѣ либо скупъ на психологическій анализъ; но такой выводъ безъ особаго труда можно сдѣлать на основаніи тѣхъ данныхъ, какія даетъ намъ романъ.

Такимъ образомъ, у Лаврецкаго мы находимъ еще одну черту, характерную для поколѣнія 40-хъ годовъ, противъ которой впослѣдствіи такъ вооружается Базаровъ,—это культъ любовнаго чувства, признаніе за нимъ первенствующаго значенія въ жизни. Любовь играетъ рѣшающее значеніе въ его судьбѣ, и въ этомъ отношеніи онъ очень сродни герою „Дневника лишняго человѣка“. Самъ Лаврецкій очень хорошо понимаетъ роковую роль для себя этого чувства, когда говоритъ: „на женскую любовь ушли мои лучшіе годы“, имѣя въ виду свой несчастный бракъ съ Варварой Павловной. Новая любовь, когда онъ сближается съ Лизой, возрождаетъ все его существо, но стоило ему только потерпѣть и здѣсь неудачу, какъ онъ считаетъ всю свою жизнь разбитой и самъ читаетъ себѣ отходную въ концѣ романа. Такъ что вполнѣ справедливо замѣчаніе одного критика о томъ, что сердечныя вождѣленія занимаютъ неизмѣнно первое мѣсто въ жизни Лаврецкаго, и онъ или апатиченъ, или прямо несчастливъ и немощенъ, если нѣтъ пищи его романическому чувству.

Неподготовленность къ жизненной дѣятельности—другая типическая черта Лаврецкаго. Онъ сравнительно рано, въ молодые годы, сознаетъ пробѣлы своего воспитанія и усердно принимается пополнять ихъ. Для этой цѣли онъ въ 25 лѣтъ поступаетъ въ университетъ, а въ первые, счастливые годы супружеской жизни опять принимается за самообразованіе и полъ-дня сидитъ за книгами и тетрадями. Тургеневъ, къ сожалѣнію, не указалъ намъ, что это были за книги, и мы не можемъ сказать, подъ какими вліяніями создавалось міровоззрѣніе Лаврецкаго, но нѣкоторыя черты его опредѣленно отмѣчены авторомъ и какъ нельзя болѣе характерны для „лишнихъ людей“. Онъ весь проникнутъ благородными порывами, настроеніями, онъ даже ушелъ сравнительно съ Рудинымъ впередъ, ибо постоянно занятъ мыслями о живой дѣятельности: въ Парижѣ, напримѣръ, посѣщая лекціи и занимаясь переводомъ одного ученаго сочиненія, онъ все думаетъ о томъ, какъ вскорѣ вернется въ Россію и примется за дѣло; тѣ же мысли посѣщаютъ его по возвращеніи на родину. Но Тургеневъ не даромъ замѣчаетъ, что Лаврецкій врядъ-ли сознавалъ, въ чемъ собственно состояло дѣло, указывая этимъ на туманность и неопредѣленность его воззрѣній, если только дѣло касалось практическаго примѣненія ихъ къ жизни. Его душа, какъ и у Рудина, исполнена благородныхъ порывовъ, но нѣтъ у него строго продуманнаго, разработаннаго на основаніи близкаго знакомства съ родной жизнью плана дѣйствій, у него „мечты, но не думы“.

Однако къ концу романа Лаврецкій нашелъ, наконецъ, точку приложенія своихъ силъ и „имѣлъ право быть собою довольнымъ: онъ сдѣлался дѣйствительно хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; онъ, насколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ бытъ своихъ крестьянъ". Но эта новая дѣятельность, удовлетворившая духовно Лаврецкаго, не возродила всего его существа. „Онъ,—замѣчаетъ авторъ,—утихъ и постарѣлъ не однимъ лицомъ и тѣломъ, постарѣлъ душою". „Здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь"—таковы послѣднія слова Лаврецкаго въ концѣ романа; изъ нихъ ясно, что онъ сознаетъ себя непригоднымъ къ жизненной борьбѣ и добровольно уступаетъ мѣсто молодому поколѣнію, которому „надобно дѣло дѣлать, работать". Для этого дѣла, работы, онъ, какъ и Рудинъ, не годится, онъ такой же „лишній человѣкъ", какъ и разсмотрѣнные выше его современники.

Славянофильство и западничество и его отраженіе въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ" Тургенева.

Гамлетъ Щигровскаго уѣзда, Чулкатуринъ, Рудинъ, Лаврецкій—все это типичные представители поколѣнія сороковыхъ годовъ. Въ ихъ лицѣ Тургеневъ далъ намъ художественное изображеніе той части русскаго общества, которая не была въ состояніи погрузиться съ головой въ мутныя волны реакціи Николаевской эпохи. Но, конечно, „лишними людьми" далеко не исчерпывался весь составъ тогдашней русской интеллигенціи. На ряду съ ними была огромная группа „благополучныхъ россіянъ", сознательно или безсознательно исповѣдовавшихъ теорію оффиціальной народности. Кромѣ того, на общемъ мрачномъ фонѣ русской жизни 30-хъ и 40-хъ годовъ яркой полосой выступали еще два общественныхъ теченія: западничество и и славянофильство. Сложившись въ это время въ опредѣленныя общественно-политическія міровоззрѣнія, горячо враждовавшія между собою, они и позднѣе, вплоть до нашихъ дней, играютъ болѣе или менѣе видную роль въ исторіи развитія русскаго общества и, въ сущности говоря, являются тѣми основными формами, въ которыя выливается общественно-политическое міровоззрѣніе русскаго человѣка. „Ловецъ момента" И. С. Тургеневъ въ своемъ „Дворянскомъ Гнѣздѣ" далъ нѣсколько штриховъ, прекрасно характеризующихъ оба эти направленія. Чтобы судить о томъ, насколько вѣрно схвачены имъ особенности западничества и славянофильства, необходимо ознакомиться съ ихъ характерными чертами. Удобнѣе всего это сдѣлать, прослѣдивъ вкратцѣ ихъ исторію. Начнемъ со славянофильства.

Еще Герценъ въ „Быломъ и Думахъ" очень вѣрно замѣтилъ, что славянофильство, или руссицизмъ, не какъ теорія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ противодѣйствіе исключительно иностранному вліянію, существовало у насъ со времени обритія первой бороды Петромъ Великимъ. Дѣйствительно, корней славянофильства нужно искать въ стремленіи нѣкоторой части русскаго общества и народныхъ массъ сохранить незыблемыми исконныя начала древней Руси и вытекающей отсюда враждѣ къ Петровской реформѣ и связаннымъ съ

нею западнымъ вліяніямъ. Эти настроенія проходятъ черезъ весь 18-й вѣкъ и находятъ свое выраженіе, напримѣръ, въ стрѣлецкихъ бунтахъ и въ личности Софіи, въ царевичѣ Алексѣѣ, въ русской партіи при Аннѣ Іоанновнѣ и Елизаветѣ Петровнѣ, въ такихъ лицахъ, какъ князь Щербатовъ, Шишковъ и т. п. Но во всемъ этомъ были только зачатки той стройной и законченной системы взглядовъ, которая извѣстна подъ именемъ славянофильства. Нужны были соотвѣтствующія условія, чтобы безсознательныя, почти инстинктивныя симпатіи и антипатіи людей стараго вѣка развились въ законченное міровоззрѣніе. Условія эти заключались, прежде всего, въ тѣхъ философскихъ идеяхъ Запада, которыя служили предметомъ безконечныхъ споровъ въ московскихъ кружкахъ 30-хъ годовъ. Въ этихъ кружкахъ сплошь и рядомъ дебатировались вопросы, относящіеся къ области философіи исторіи, какъ, напримѣръ, объ отношеніи міра восточнаго къ западному, православія къ католицизму и протестанству и т. п. Вотъ что, напримѣръ, говоритъ Самаринъ, одинъ изъ участниковъ въ этихъ кружкахъ, гдѣ впервые зародилось западничество и славянофильство, какъ опредѣленныя общественно-политическія теоріи: „Въ это время общество московскихъ ученыхъ и литераторовъ распадалось на два кружка... Оба кружка не соглашались почти ни въ чемъ. Тѣмъ не менѣе, ежедневно сходились, жили между собою дружно и составляли какъ бы одно общество“. Перечисливъ затѣмъ философскія темы спора, Самаринъ говоритъ, что предметомъ обсужденій были также вопросы о томъ, „какъ относится православная церковь къ латинству и протестанству..., наконецъ, въ чемъ заключается разница между русскимъ и западно-европейскимъ просвѣщеніемъ, въ одной-ли степени развитія или въ самомъ характерѣ просвѣтительныхъ началъ?“ Въ этихъ спорахъ уже намѣчались западническая и славянофильская точки зрѣнія. Однако, полнаго раскола между кружками еще не было.

Внѣшней причиной къ ихъ полному разъединенію послужило знаменитое „Философское письмо“ Чаадаева, помѣщенное въ московскомъ журналѣ „Телескопъ“ за 1836 годъ. Въ своемъ „Письмѣ“ Чаадаевъ съ поразительной силой и яркостью выразилъ доведенное до крайности отрицательное отношеніе къ Россіи съ точки зрѣнія западниковъ. Это былъ безпощадно рѣзкій приговоръ надъ Россіей и русской жизнью въ ея настоящемъ и прошломъ. „Мы никогда не шли вмѣстѣ съ другими народами,—писалъ, между прочимъ, Чаадаевъ,—мы не принадлежимъ ни къ одному изъ великихъ семействъ человѣчества, ни къ Западу, ни къ Востоку, не имѣемъ преданій ни того, ни другого. Мы существуемъ какъ-бы внѣ времени, и всемірное образованіе человѣческаго рода не коснулось насъ... Нѣтъ въ памяти чарующихъ воспоминаній, нѣтъ сильныхъ, наставительныхъ примѣровъ въ народныхъ преданіяхъ... Въ самомъ началѣ у насъ дикое варварство, потомъ грубое суевѣріе, затѣмъ жестокое, унизительное владычество завоевателей, владычество, слѣды котораго въ нашемъ образѣ жизни не изгладились совсѣмъ и донынѣ... Пробѣгите взоромъ всѣ вѣка, нами прожитые, все пространство земли, нами занимаемое,—вы не найдете ни одного воспоминанія, которое-бы васъ остановило, ни одного памятника, который бы высказалъ вамъ протекшее живо, сильно, картинно. Мы живемъ въ какомъ-то равнодушіи ко всему, въ самомъ тѣсномъ горизонтѣ, безъ прошедшаго и будущаго“. Указавъ затѣмъ, что западно-европейская жизнь выработала облагораживающія человѣчество идеи, Чаадаевъ говоритъ: „Хотите знать, что это за идеи? Это идеи долга, закона, правды, порядка... Онѣ—необходимыя начала міра обще-

ственнаго. Вотъ что составляетъ атмосферу Запада; это болѣе, чѣмъ исторія, болѣе, чѣмъ психологія: это физіологія европейца. Чѣмъ вы замѣните все это?... Общій законъ человѣчества не для насъ. Отшельники въ мірѣ—мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него, не пріобщили ни одной идеи къ массѣ идей человѣчества—„ничѣмъ не содѣйствовали совершенствованію человѣческаго разумѣнія и исказили все, что сообщило намъ это совершенствованіе“.

Для насъ, живущихъ послѣ напечатанія этого письма чуть не три четверти вѣка спустя, когда историческое прошлое Россіи и вся ея жизнь безъ труда можетъ предстать предъ нами въ научномъ освѣщеніи, представляется болѣе, чѣмъ очевидной вся несправедливость суроваго приговора Чаадаева. Только тяжелая Николаевская эпоха, въ которой задыхались лучшіе люди страны, могла заставить Чаадаева отнестись съ такимъ жестокимъ скептицизмомъ къ настоящему и прошлому горячо любимой имъ родины и не найти ни одного свѣтлаго луча въ ея существованіи. Такимъ образомъ, безнадежный скептицизмъ Чаадаева и его друзей и ихъ глубокое убѣжденіе, что спасеніе Россіи въ неустанномъ слѣдованіи по стопамъ Запада, создались, въ значительной степени, на почвѣ полнаго разочарованія въ настоящемъ.

Но если одни искали спасенія въ распространеніи образованности и культуры Запада, то другіе видѣли его въ развитіи коренныхъ началъ, заложенныхъ въ историческомъ прошломъ русскаго народа. Но и тѣ и другіе пока еще не отмежевались вполнѣ другъ отъ друга. Письмо Чаадаева положило рѣзкую грань между ними. Впечатлѣніе, произведенное имъ на общество, было огромно. По словамъ Герцена, ни одно литературное событіе не производило такого огромнаго вліянія и не вызывало такихъ толковъ, какъ „Философическое письмо“. Дотолѣ мертвое, апатичное общество со страшнымъ озлобленіемъ напало на его автора, дерзнувшаго такъ оскорбительно отозваться о Россіи. Особенно задѣты были, конечно, люди, уже сознательно стоявшіе на другой точкѣ зрѣнія. Письмо это заставило ихъ сорганизоваться, выяснить въ видѣ стройной теоріи свое міровоззрѣніе. Это были братья Кирѣевскіе (Иванъ и Петръ), Хомяковъ, Аксаковъ (Иванъ и Константинъ), Шевыревъ, Погодинъ, Самаринъ, Валуевъ и др. Мало по малу въ ихъ статьяхъ и сочиненіяхъ выясняется постепенно теорія, сложившаяся въ 40-е годы въ стройное, законченное міровоззрѣніе. Въ изложеніи академика Пыпина ученіе славянофиловъ, вкратцѣ, представляется въ такомъ видѣ.

„Русская жизнь находится въ настоящую минуту въ ложномъ положеніи. Петровская реформа нарушила естественный ходъ старой русской жизни; заимствованіе чужой цивилизаціи внесло въ нее разладъ... Для спасенія русскаго развитія должно уничтожить этотъ разладъ и подчиненіе чужой цивилизаціи... Слѣдуетъ обратиться къ народу, чтобы найти нужные намъ элементы развитія“.

Въ чемъ-же заключаются особенности русской народной жизни?

„Русскій народъ принадлежитъ къ одному изъ двухъ міровъ, на которые дѣлится европейская образованность, и въ настоящее время главный его представитель. Эти два міра—восточный и западный“. Между ними глубокое, коренное различіе въ самомъ характерѣ культуры. Западно-европейская культура есть результатъ трехъ слагаемыхъ: древне-римской образованности, римской церкви и завоеванія, которое опредѣлило бытовыя формы жизни Запада. Вся образованность и литература

Западной Европы носитъ сухой, разсудочный характеръ; та-же внѣшняя разсудочность извратила въ римской церкви элементы истиннаго христіанства; наконецъ, государственная жизнь Запада, въ основѣ которой лежало завоеваніе, и въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи не могла обойтись безъ насилій, революціи, борьбы различныхъ общественныхъ группъ. „Совсѣмъ иной порядокъ вещей является въ восточномъ, греко-славянскомъ мірѣ, главнымъ представителемъ котораго является теперь русскій народъ". Прежде всего, на долю русскаго народа выпало великое счастье получить отъ грековъ православную вѣру, которая неизмѣнно хранитъ въ себѣ вселенское преданіе. Отъ тѣхъ-же грековъ воспринялъ онъ и древнюю образованность, очищенную и просвѣтленную духомъ Христова ученія. Не меньшую разницу замѣчаемъ мы и въ области государственнаго устройства. Въ основѣ русской государственной власти лежитъ не завоеваніе, какъ это было на Западѣ, а добровольное призваніе князей. „У насъ не было насилія, соединеннаго съ завоеваніемъ, а потому не было феодализма, не было той внутренней борьбы, какая постоянно дѣлила западное общество, не было сословій, земля была не личной собственностью феодальной аристократіи, но принадлежала общинѣ...; развитіе шло естественно; религіозное сознаніе было основною нравственною силою и руководствомъ въ жизни... Государство было обширной общиной, власть принадлежала царю, представлявшему общую волю; тѣсная связь общины выражалась соборами, всенароднымъ представительствомъ, смѣнившимъ древнія вѣча". Но Петръ Великій своими реформами заглушилъ эти исконныя начала русской жизни и, направивъ Русь на путь подражанія Западу, тѣмъ самымъ внесъ болѣзненный разладъ въ ея существованіе. Чтобы жизнь пошла своимъ естественнымъ ходомъ, нужно вернуться къ началамъ древней Руси, нужно обратиться къ народу, смириться передъ нимъ, принять его правду, перевоспитаться (Пыпинъ. Характеристики литературныхъ мнѣній, с. 257—260).

Такова, вкратцѣ, сущность ученія славянофиловъ, какъ она выразилась въ сочиненіяхъ его представителей. Многіе изъ современниковъ, не раздѣлявшихъ ученія славянофиловъ, видѣли въ нихъ сторонниковъ оффиціальной народности и на этомъ основаніи тѣмъ съ большимъ ожесточеніемъ нападали на нихъ. Но ихъ противники были неправы. Духъ славянофильства и оффиціальной народности были рѣзко противоположны другъ другу. Доказывается это лучше всего тѣмъ, что наиболѣе видные дѣятели славянофильства далеко не пользовались расположеніемъ всячески поддерживавшаго оффиціальную народность правительства времени Николая I, а нѣкоторые изъ нихъ и не мало пострадали за свои убѣжденія. Новѣйшій историкъ русской литературы г. Андреевичъ такъ говоритъ о славянофилахъ, и его слова могутъ считаться выраженіемъ установившагося въ наукѣ взгляда на нихъ: „Никакой ненависти и раздраженія противъ первыхъ славянофиловъ питать нельзя. Напротивъ, трудно не видѣть въ нихъ людей, дѣйствовавшихъ или, лучше сказать, мыслившихъ по побужденію благороднаго сердца. „Ложь не оскверняла уста ихъ". Они не были холопами и не выслуживались ни передъ кѣмъ... Въ критикѣ существующаго они шли рука объ руку съ лучшими умами своего времени. Они искренно ненавидѣли крѣпостное право, черную неправду судовъ, произволъ чиновниковъ... Они превосходно понимали, что намъ, русскимъ, надо работать и работать. Они первые узаконили гражданскіе мотивы въ поэзіи въ лицѣ К. Аксакова, Ив. Аксакова и Хомякова, которые въ этомъ отношеніи были предшественниками Некрасова. Они вполнѣ

раздѣляли взглядъ Бѣлинскаго на реальныя, общественныя задачи литературы и критики". Къ этому нужно добавить, что славянофилы настойчиво указывали современному обществу на необходимость сближенія съ народомъ, изученія его исторіи, быта, характера, идеаловъ. Полные горячаго энтузіазма и глубокой вѣры въ народную правду, они первые „пошли въ народъ" и своими трудами много содѣйствовали изученію Россіи, составивъ цѣнные сборники произведеній безыскусственнаго народнаго творчества и собравъ массу разнообразнаго этнографическаго матеріала. Этими несомнѣнными заслугами первыхъ славянофиловъ передъ потомствомъ искупаются тѣ ложныя стороны ихъ ученія, которыя внесли въ русскую жизнь не мало превратныхъ понятій, впослѣдствіи опровергнутыхъ исторической наукой. (См. объ этомъ въ названной выше книгѣ А. Н. Пыпина главы VI и VII-я).

Сущность направленія, извѣстнаго у насъ подъ именемъ западничества и ведущаго свое начало, какъ опредѣленная теорія, отъ „Философическаго письма" Чаадаева, можетъ быть формулирована въ немногихъ словахъ: мы должны итти по стопамъ Западной Европы, стать ея учениками. Какъ и славянофильство, западничество носило болѣе или менѣе различные оттѣнки у различныхъ его представителей, но сущность его одна и та-же у всѣхъ.

Въ 30-е и сороковые годы между сторонниками этихъ двухъ міровоззрѣній происходили ожесточенные споры, которые содѣйствовали болѣе полной разработкѣ и обоснованію каждаго изъ нихъ. Въ своемъ „Дворянскомъ Гнѣздѣ" Тургеневъ далъ намъ нѣсколько штриховъ, прекрасно характеризующихъ эти два основныя общественныя теченія 40-хъ годовъ. Въ Лаврецкомъ мы находимъ черты, въ которыхъ не трудно видѣть отпечатокъ славянофильства.

Нѣкоторые его взгляды напоминаютъ собою славянофильское ученіе. Особенно сказались эти взгляды въ разговорѣ Лаврецкаго съ Паншинымъ о томъ, по какому пути должна пойти Россія. Рѣчь Паншина—типичный образчикъ такъ называемаго западничества, которое вылилось у насъ въ опредѣленное общественно-политическое міровоззрѣніе въ тридцатые и сороковые годы. „Россія,—говорилъ онъ,—отстала отъ Европы; нужно подогнать ее... У насъ изобрѣтательности нѣтъ... Слѣдовательно, мы поневолѣ должны заимствовать у другихъ... Мы больны оттого, что только на половину сдѣлались европейцами; чѣмъ мы ушиблись, тѣмъ и лѣчиться должны... Всѣ народы, въ сущности, одинаковы, вводите только хорошія учрежденія—и дѣло съ концомъ". Лаврецкій спокойно, не возвышая голоса, разбилъ Паншина на всѣхъ пунктахъ. „Онъ доказалъ ему невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ хотя бы отрицательный; привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе; требовалъ прежде всего признанія народной правды и смиренія передъ нею,—того смиренія, безъ котораго и смѣлость противъ лжи невозможна"... На вопросъ раздосадованнаго Паншина, что же онъ намѣренъ дѣлать, Лаврецкій отвѣчаетъ: „пахать землю и стараться какъ можно лучше пахать ее", и этими словами указываетъ на то, въ чемъ, по его мнѣнію, заключается поле дѣятельности для истинно-русскаго человѣка. Но самъ онъ только инвалидомъ могъ вступить на это поприще...

Мы разсмотрѣли, въ связи съ краткой характеристикой общественныхъ настроеній, поколѣніе людей сороковыхъ годовъ въ тургеневскомъ изображеніи. Мы видѣли, что даже лучшіе изъ нихъ, какъ Рудинъ и Лаврецкій, оказываются „лишними людьми“, не находятъ своего мѣста въ родной жизни или находятъ его тогда, когда уже нѣтъ силъ и энергіи для дѣятельности. Не ихъ вина въ томъ, что жизнь ихъ проходитъ такъ тускло, безполезно, не доставляя удовлетворенія имъ самимъ: они—продуктъ барской среды съ ея незнаніемъ дѣйствительной жизни, непривычкой къ настойчивому, производительному труду; они—порожденіе своей эпохи, того общаго характера русской жизни, какой былъ господствовавшимъ у насъ въ 30-е и 40-е годы прошлаго столѣтія. Но эта эпоха доживала послѣдніе дни. Въ то время, когда создавалось „Дворянское гнѣздо“, ясно чуялись новыя вѣянія, какъ въ общественной, такъ и правительственной жизни; было очевидно, что начинающееся возрожденіе Россіи захватитъ всѣ ея слои, выдвинетъ новые идеалы, новыхъ людей. Тургеневъ не даромъ прочелъ устами Лаврецкаго отходную старому поколѣнію: какъ чуткій художникъ, онъ уже предвидѣлъ появленіе новаго человѣка.

Возрожденіе русскаго общества послѣ Крымской войны. Нигилизмъ. Базаровъ. Ситниковъ. Кукшина.

Возрожденіе Россіи было связано съ новымъ періодомъ русской жизни, пробужденіемъ ея отъ долгаго сна, внезапно наступившимъ въ 1855 году, послѣ окончанія Крымской войны. Севастопольское пораженіе было своего рода громовымъ ударомъ, отъ котораго проснулось общество. Въ теченіе долгихъ годовъ реакціи преобладавшимъ настроеніемъ мысли была такъ называемая оффиціальная народность; одной изъ особенностей этого настроенія было всячески внушаемое убѣжденіе въ преимуществѣ надъ Западной Европой Россіи, увѣренность въ ея грозномъ политическомъ могуществѣ, въ величайшихъ достоинствахъ господствовавшаго строя жизни. Только очень немногіе, истинно просвѣщенные люди, которымъ такъ тяжело жилось въ этотъ періодъ всеобщаго застоя, понимали истинное положеніе вещей и были убѣждены, что намъ не выдержать борьбы „съ цивилизаціей, высылающей противъ насъ свои силы“ (Грановскій). Вся остальная масса, которой такъ пріятно было убаюкивать себя, была убѣждена въ полномъ посрамленіи Европы въ эту войну. Насколько сильна была эта наивная увѣренность, видно изъ того, что профессору Грановскому приходилось не разъ слышать въ московскихъ кругахъ мнѣніе, что мы-де враговъ шапками забросаемъ. Однако дѣйствительность показала другое. Несмотря на безпримѣрное мужество и геройскіе подвиги русскаго солдата, она на каждомъ шагу разрушала ложныя представленія о нашемъ непреоборимомъ могуществѣ. Обнаруживались сильнѣе, чѣмъ когда-нибудь, повальное взяточничество, казнокрадство, поразительное невѣжество и другіе недостатки стараго строя. Севастопольскій погромъ, стоившій такихъ страшныхъ жертвъ Россіи, послужилъ отрезвляющимъ урокомъ, раскрылъ глаза правительству и обществу. Всѣ увидали, что прежній порядокъ жизни далеко не такъ совершененъ, какъ казалось многимъ, и долженъ быть подвергнутъ коренному пересмотру.

Во главѣ этого освободительнаго движенія, конечно, стала литература, такъ какъ въ ней, за отсутствіемъ другихъ поприщъ общественной дѣятельности, сосредоточивались всѣ лучшія силы эпохи. Это оживленіе сказалось, прежде всего, въ появленіи множества всякаго рода печатныхъ изданій: листковъ, газетъ, журналовъ. „Это было удивительное время, говоритъ Шелгуновъ,—время, когда всякій захотѣлъ думать, читать и учиться, и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотѣлъ высказать это громко. Спавшая до того времени мысль заколыхалась, дрогнула и начала работать. Порывъ ея былъ сильный и задачи громадныя... обдумывались и рѣшались судьбы будущихъ поколѣній, будущія судьбы всей Россіи, становившіяся въ зависимость отъ того или другого разрѣшенія реформъ. Эта заманчивая работа потянула къ себѣ всѣхъ болѣе даровитыхъ и способныхъ людей и выдвинула массу молодыхъ публицистовъ, литераторовъ и ученыхъ". Всѣми овладѣло критическое отношеніе къ окружавшей дѣйствительности, устои которой подвергались теперь самому строгому и безпощадному анализу. Центромъ, возлѣ котораго вращалась критическая мысль, было крѣпостное право, такъ какъ оно клало отпечатокъ на весь дореформенный строй. Насколько занимались этимъ вопросомъ лучшіе представители общества, можно судить по тому, что, когда въ 1857 году открылся комитетъ по крестьянскому дѣлу, въ него поступило до сотни различныхъ проектовъ отъ частныхъ лицъ, предлагавшихъ различные способы его разрѣшенія. Но на ряду съ этимъ шло обличеніе всякаго рода злоупотребленій и неправдъ, какъ въ общественной, такъ и въ частной, семейной жизни. Административный произволъ, взяточничество, казнокрадство, повальное невѣжество, семейный деспотизмъ, склонность къ туманнымъ мечтаніямъ при полной неспособности къ живому дѣлу и многія другія стороны господствовавшей до тѣхъ поръ жизни и міровоззрѣнія подвергались всесокрушительной критикѣ. Вся русская жизнь освобождалась, эмансипировалась отъ старой рутины, гнета. Въ словѣ „эмансипація"—ключъ къ пониманію эпохи. „Эмансипировался,—говоритъ одинъ историкъ литературы,—крестьянинъ отъ помѣщика, женщина отъ семейной кабалы, мысль отъ преданій и кумировъ прошлаго". Одновременно съ этимъ замѣчается притокъ новыхъ философскихъ идей съ Запада. Это былъ такъ называемый матеріализмъ, выступившій тамъ, подъ вліяніемъ громадныхъ успѣховъ естествознанія, на смѣну метафизической философіи. Матеріалистическое ученіе, предлагавшее до-нельзя упрощенное рѣшеніе самыхъ сложныхъ и запутанныхъ вопросовъ человѣческаго духа, пытавшееся разрушить вѣковые устои, на которыхъ покоилась метафизическая философская мысль, какъ нельзя болѣе гармонировало съ общимъ отрицательнымъ отношеніемъ къ окружавшей дѣйствительности. Вслѣдствіе этого молодое поколѣніе съ энтузіазмомъ набрасывается на все, что такъ или иначе могло укрѣпить его въ матеріалистическомъ міровоззрѣніи. Модными факультетами становятся медицинскій и естественно-историческій; съ особенной энергіей изучаются химія и физіологія. Такіе ученые, какъ Либихъ, Беръ, Дарвинъ, Бюхнеръ, Карлъ Фохтъ и т. п. признаются непогрѣшимыми. Изученіе естественныхъ наукъ считается однимъ изъ могущественнѣйшихъ средствъ для уничтоженія стараго строя.

Критическое отношеніе къ старой жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ, а также вліяніе западно-европейскихъ матеріалистическихъ ученій создало особый общественный типъ, который вскорѣ получилъ названіе нигилиста, т. е. человѣка, который

отрицаетъ все, чѣмъ жило предшествовавшее поколѣніе, на чемъ основывалось его міровоззрѣніе. Нигилизмъ, доходившій до крайностей въ своемъ отрицаніи, какъ это будетъ видно ниже, явился естественнымъ слѣдствіемъ, своего рода реакціей противъ той подавленности мысли, умственнаго террора, въ какомъ находилось наше общество послѣднія семь лѣтъ, начиная съ 1848 года. Проявившись съ особой силой въ шестидесятые годы, онъ ясно опредѣлился въ послѣдніе годы предшествовавшаго десятилѣтія, хотя далеко еще не представлялъ широкаго общественнаго теченія.

Однако, корней нигилизма нужно искать гораздо ранѣе. Онъ коренится въ предшествовавшей эпохѣ, въ томъ настроеніи русской общественной мысли, которое не могло быть подавлено никакими усиліями реакціи и которое, несмотря на цѣлый рядъ неблагопріятныхъ условій, продолжало расти и крѣпнуть въ 30-е, 40-е и 50-е годы. Правда, вначалѣ оно было достояніемъ только незначительнаго меньшинства, горсти передовыхъ дѣятелей литературы и науки, но затѣмъ все росло и ширилось, скрываясь поневолѣ въ тѣсномъ интимномъ кругу, пока, наконецъ, не вырвалось широкимъ потокомъ, смывавшимъ на своемъ пути разлагавшійся строй дореформенной Россіи. Это—глубокое убѣжденіе въ ненормальности окружавшихъ условій общественной и государственной жизни. Какъ ни могущественна была реакція, какъ ни грозны были усилія цензуры, стремившейся истребить всякій проблескъ живой мысли, онѣ не могли окончательно подавить ее. Уже около 40-хъ годовъ, говоритъ одинъ изъ современниковъ, „жизнь изъ подъ туго придавленныхъ клапановъ стала сильнѣе прорываться... Гдѣ-то внутри, въ нравственно-микроскопическомъ мірѣ, повѣялъ иной воздухъ, больше раздражительный, но и больше здоровый. Наружно все было мертво, но что-то пробудилось въ сознаніи, въ совѣсти—какое-то чувство неловкости, неудовольствія“. На помощь этому зародившемуся чувству протеста подоспѣла университетская наука съ Грановскимъ, окруженнымъ молодыми доцентами, Бѣлинскій со своими статьями, Гоголь со своимъ могущественнымъ смѣхомъ сквозь слезы въ „Мертвыхъ душахъ“, который съ такой яркостью выставилъ уродливый міръ тогдашней Россіи. Все это, говоритъ Герценъ, звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ и передъ собственнымъ безправіемъ, все указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума. Новый взрывъ реакціи въ 1848 году, такъ сказать, обострилъ эти настроенія. Темная семилѣтняя ночь, налегшая надъ Россіей, не давала возможности боровшимся съ ея мракомъ различать въ тогдашней русской жизни здоровыя сѣмена отъ плевелъ; весь строй ея отъ начала до конца, все, во что вѣрило, на что надѣялось, что любило предшествовавшее поколѣніе, представлялось ненужнымъ, вреднымъ и потому заслуживающимъ отрицанія. Тамъ сложился и окрѣпъ еще въ первую половину 50-хъ годовъ тотъ строй мысли, который получилъ названіе нигилизма. Герценъ, одинъ изъ крупнѣйшихъ представителей людей 40-хъ годовъ, говоря о нигилизмѣ, прямо заявилъ: „Базаровы—наши дѣти“, и былъ какъ нельзя болѣе правъ, устанавливая идейную преемственность между поколѣніемъ 40-хъ и 60-хъ годовъ.

Но этой связи никакъ не хотѣли признать представители молодого поколѣнія. Въ лицѣ наиболѣе яркихъ выразителей его идей, какими были, напримѣръ, Чернышевскій и Писаревъ, они относились къ нимъ съ полнымъ пренебреженіемъ, не

признавали за ними никакой общественной заслуги, называли ихъ трутнями и другими нелестными эпитетами. Объясняется это, помимо разницы міровоззрѣнія, въ значительной мѣрѣ тѣмъ, что молодое поколѣніе, извѣстное подъ именемъ нигилистовъ, выросло въ совсѣмъ иныхъ бытовыхъ условіяхъ, чѣмъ люди сороковыхъ годовъ. Въ лицѣ нигилистовъ впервые въ ряды русской интеллигенціи, не въ видѣ отдѣльныхъ единицъ, а цѣлой массой, вступили такъ называемые разночинцы, т. е. представители другихъ, кромѣ дворянскаго, сословій, напримѣръ, духовнаго, купеческаго, мѣщанскаго и т. д. Для этихъ людей, чуждыхъ даже враждебныхъ дворянской культурѣ, выросшей на крѣпостномъ правѣ, съ малыхъ лѣтъ близко знакомыхъ съ тяжелой трудовой жизнью, выбившихся только усиліями личной энергіи, труда и таланта порой изъ невѣжественной среды, были дики и непонятны тѣ черты классовой дворянской психологіи, которыя сложились на почвѣ пользованія даровымъ трудомъ народныхъ массъ.

Чуткій ко всякаго рода перемѣнамъ въ общественномъ настроеніи Тургеневъ сумѣлъ уловить это только что зарождавшееся направленіе и съ рѣдкимъ объективизмомъ и правдивостью воспроизвелъ его въ романѣ: „Отцы и дѣти“, появившемся въ печати въ 1862 году.

Рѣдко какому литературному произведенію приходилось вызвать въ кругу читателей такую бурю разнообразныхъ толковъ, порицаній и восхваленій автора, какъ это случилось съ новымъ романомъ Тургенева. Только и разговоровъ было, что объ „Отцахъ и дѣтяхъ“. По свидѣтельству одного современника, этотъ романъ былъ прочитанъ даже такими людьми, которые со школьной скамьи книги не брали въ руки. И у читателей обыкновенно получались діаметрально противоположныя впечатлѣнія. Одни обвиняли автора въ оскорбленіи молодого поколѣнія, въ отсталости, другіе, напротивъ, упрекали его въ низкопоклонствѣ передъ тѣмъ же молодымъ поколѣніемъ. „Я,—говоритъ Тургеневъ въ своихъ замѣткахъ объ „Отцахъ и дѣтяхъ“,—замѣчалъ холодность, доходившую до негодованія во многихъ мнѣ близкихъ и симпатичныхъ людяхъ; я получалъ поздравленія, чуть не лобзанія, отъ людей противнаго мнѣ лагеря, отъ враговъ“.

Этотъ безпримѣрный интересъ, съ какимъ общество отнеслось къ новому произведенію Тургенева, свидѣтельствуетъ о томъ, что автору удалось воспроизвести одно изъ самыхъ жгучихъ, животрепещущихъ явленій современности; этимъ же объясняется отчасти и та разноголосица во мнѣніяхъ, какая сопровождала появленіе „Отцовъ и дѣтей“. Читатели были слишкомъ заинтересованы образомъ главнаго героя, чтобы разобраться въ немъ вполнѣ объективно. Но была и другая причина, почему личность Базарова вызывала совершенно различныя мнѣнія у читателей. Дѣло въ томъ, что Тургеневъ, создавая образъ Базарова, отнесся къ нему критически-объективно, и это многихъ сбило съ толку. Читатель, не привыкшій глубоко вдумываться въ художественное произведеніе,—а такихъ большинство,—всегда испытываетъ недоумѣніе, если авторъ не показываетъ явной симпатіи или антипатіи къ изображаемому лицу. Онъ невольно навязываетъ ему то или другое мнѣніе, сплошь и рядомъ ни на чемъ не основанное, лишь бы выйти изъ непривычнаго

положенія, на чемъ-нибудь успокоиться. Такъ самъ Тургеневъ опредѣлялъ причину отмѣченныхъ выше разногласій, вызванныхъ его романомъ.

Но если полная объективность въ воспроизведеніи господствовавшаго типа современной жизни была не по плечу первымъ читателямъ „Отцовъ и дѣтей“, то для насъ она является однимъ изъ крупнѣйшихъ достоинствъ романа, ибо обезпечиваетъ его художественную вѣрность дѣйствительности и даетъ право смотрѣть на Базарова, какъ на типичнаго представителя новаго поколѣнія.

Разсмотримъ, въ чемъ же заключаются особенности этого поколѣнія, насколько онѣ отразились въ „Отцахъ и дѣтяхъ“, т. е. въ образѣ Базарова.

Прежде всего, Базаровъ—разночинецъ. Воспитанный въ трудовой обстановкѣ, онъ презрительно относится къ барской изнѣженности и бездѣлью; онъ—демократъ не только по убѣжденіямъ, но и по натурѣ и представляетъ собою антитезу интеллигенціи изъ дворянской среды. Въ романѣ есть не мало мѣстъ, характеризующихъ Базарова съ этой стороны. Наиболѣе ярко выражается его протестъ противъ барскаго типа въ прощальной сценѣ съ Аркадіемъ. Разставаясь съ нимъ, Базаровъ, между прочимъ, говоритъ: „Для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не созданъ. Въ тебѣ нѣтъ ни дерзости, ни злости, а есть молодая смѣлость, да молодой задоръ; для нашего дѣла это не годится. Вашъ братъ, дворянинъ, дальше благороднаго смиренія или благороднаго кипѣнія дойти не можетъ, а это пустяки... Наша пыль тебѣ глаза выѣстъ, наша грязь тебя замараетъ... Ты славный малый; но ты все-таки мягкенькій, либеральный баричъ“.

На ряду съ этой особенностью Базарова, одна черта настолько ярко проходитъ черезъ все его міровоззрѣніе и такъ опредѣленно сказывается въ его рѣчахъ и поступкахъ, что безъ особаго труда можетъ быть замѣчена всякимъ. Это—доходящее до крайности отрицаніе, отрицаніе всего того, что предшествовавшимъ поколѣніемъ считалось непреложной истиной, отрицаніе аристократическихъ привычекъ, выросшихъ на почвѣ крѣпостного права. Какъ извѣстно, „отцы“ очень любили общіе отвлеченные принципы, безплодные разговоры о которыхъ были въ большомъ ходу и у Рудиныхъ и у Лаврецкихъ. Базаровъ находитъ ихъ совершенно безполезными: „русскому человѣку они даромъ не нужны“. Въ другомъ мѣстѣ романа онъ замѣчаетъ даже, что никакихъ общихъ отвлеченныхъ положеній, на которыхъ опирается дѣятельность человѣчества, вовсе не существуетъ; „принциповъ вообще нѣтъ, а есть ощущенія. Все отъ нихъ зависитъ“. Другой отличительной чертой поколѣнія „отцовъ“ былъ культъ любовнаго чувства. Мы видѣли, какую роль играла любовь въ жизни „лишнихъ людей“ самой разнообразной формаціи. И Базаровъ съ особенной силой ополчается противъ нея *). Онъ прямо не признаетъ чувства любви, находитъ его выдуманнымъ, несвойственнымъ природѣ человѣка; по его мнѣнію, это „романтизмъ, чепуха, гниль“. Такому огульному отрицанію подвергается не только вся психическая сторона чувства къ существу другого пола, но и любовь къ родителямъ, чувство дружбы. Все это признается романтизмомъ, а романтизмъ—

*) „Любовь въ смыслѣ идеальномъ... онъ называлъ белибердой, непростительной дурью, считалъ рыцарскія чувства чѣмъ то въ родѣ уродства или болѣзни и не однажды выражалъ свое удивленіе, почему не посадили въ желтый домъ Тогенбурга со всѣми миннезингерами и трубадурами“.

самая презрительная кличка въ устахъ Базарова. Такъ же относится Базаровъ и къ искусству, которое въ жизни „отцовъ“ играло не маловажную роль: вспомнимъ хотя бы тѣ разговоры, которые велись въ студенческомъ кружкѣ Рудина, и впечатлѣніе, какое произвелъ на него „Erlkönig“ Шуберта или же преклоненіе Лаврецкаго передъ игрой Мочалова. Съ точки зрѣнія представителя новаго поколѣнія все это непростительная дурь. Рафаэль, по его мнѣнію, гроша мѣднаго не стоитъ: читать Пушкина не имѣетъ никакого смысла, „пора бросить эту ерунду“. Не меньшаго презрѣнія заслуживаетъ и музыка. Слышитъ Базаровъ, какъ отецъ Аркадія играетъ на віолончели—и разражается громкимъ смѣхомъ, узнавши, что тому сорокъ четыре года. „Помилуй,—объясняетъ онъ причину своего смѣха Аркадію,—въ сорокъ четыре года человѣкъ, pater familias,—играетъ на віолончели“! Очевидно, по его представленіямъ, музыкой, какъ пустой забавой, позволительно заниматься развѣ только дѣтямъ. На ряду съ этимъ онъ не признаетъ даже чувства природы, называя его пустякомъ. По его мнѣнію, „природа не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ“. Наслаждаться природой—это значитъ платить дань тому же ненавистному для него романтизму. Можно указать еще двѣ—три характерныя подробности базаровскаго отрицанія, вытекающія, какъ и отмѣченныя выше, изъ враждебнаго отношенія его къ общему складу жизни „отцовъ“. Эти послѣдніе при всей своей гуманности и возвышенномъ идеализмѣ, все же очень ясно чувствовали громадную разницу между собою, господами, и мужикомъ, и это чувство не ослаблялось даже тогда, когда они дѣлали что-либо хорошее для этой, по ихъ мнѣнію, низшей, чѣмъ они, породы. Базаровъ держится на этотъ счетъ совершенно противоположнаго мнѣнія. „Изучать отдѣльныя личности не стоитъ труда. Всѣ люди другъ на друга похожи, какъ тѣломъ, такъ и душой: у каждаго изъ насъ мозгъ, селезенка, сердце, легкія одинаково устроены; и такъ называемыя нравственныя качества одни и тѣ же у всѣхъ; небольшія видоизмѣненія ничего не значатъ. Достаточно одного человѣческаго экземпляра, чтобы судить обо всѣхъ другихъ. Люди, что деревья въ лѣсу; ни одинъ ботаникъ не станетъ заниматься каждой отдѣльной березой“. Чисто отрицательное отношеніе выработалось у Базарова и къ установившимся формамъ семейной и общественной жизни. По его мнѣнію, нѣтъ ни одного постановленія въ семейномъ или въ общественномъ русскомъ быту, которое не вызывало бы полнаго и безпощаднаго осужденія. Иначе, какъ извѣстно, смотрѣли на это представители прежняго поколѣнія, которые, въ лицѣ, напримѣръ, Лаврецкаго, готовы были преклониться передъ „народной правдой“. Одной изъ важнѣйшихъ сторонъ этой „правды“ является глубокое религіозное чувство. Для Базарова оно не существуетъ. По своимъ убѣжденіямъ, онъ матеріалистъ, не признающій духовнаго начала ни въ человѣкѣ, ни въ природѣ.

Таково базаровское отрицаніе. Оно является одной изъ самыхъ существенныхъ чертъ міровоззрѣнія такъ называемыхъ нигилистовъ, которые по опредѣленію вѣрнаго ученика Базарова—Аркадія, не склоняются ни передъ какими авторитетами, не принимаютъ ни одного принципа на вѣру, какимъ бы уваженіемъ онъ ни былъ окруженъ. Однако на дѣлѣ оказывается, что Базаровъ не только относится ко всему съ критической точки зрѣнія, но просто ничего не признаетъ изъ того, что такъ или иначе входило въ видѣ составной части въ міропониманіе „отцовъ“. Чѣмъ то уродливымъ, болѣзненнымъ вѣетъ отъ нигилизма Базарова. Отрицаніе положитель-

наго значенія въ человѣческой жизни искусства, общихъ отвлеченныхъ принциповъ, различія между людьми и т. д.—все это такъ очевидно противорѣчитъ, съ нашей точки зрѣнія, здравому смыслу, что не нуждается въ опроверженіи.

Гораздо важнѣе опредѣлить, какимъ образомъ Базаровъ, умный, духовносильный, образованный человѣкъ, могъ дойти до такихъ геркулесовыхъ столбовъ отрицанія. Одно мѣсто романа раскрываетъ, до нѣкоторой степени, эту загадку. Въ одной изъ схватокъ съ Павломъ Кирсановымъ Базаровъ, на вопросъ послѣдняго: „что же вы дѣлаете?“ отвѣчаетъ: „А вотъ что мы дѣлаемъ. Прежде, въ недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берутъ взятки, что у насъ нѣтъ ни дорогъ, ни торговли, ни правильнаго суда, а потомъ мы догадались, что болтать, все только болтать о нашихъ язвахъ не стоитъ труда, что это ведетъ только къ пошлости и доктринерству; мы увидѣли, что и умники наши, такъ называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздоромъ, толкуемъ о какомъ то искусствѣ и безсознательномъ творчествѣ, когда грубѣйшее суевѣріе насъ душитъ... когда самая свобода, о которой хлопочетъ правительство, едва ли пойдетъ намъ въ прокъ, потому что мужикъ нашъ радъ самъ себя обокрасть, чтобы напиться только дурману въ кабакѣ“. Въ этихъ словахъ Базарова мы находимъ нѣкоторыя указанія на происхожденіе типа русскаго нигилиста. Вначалѣ онъ только обличитель, съ оттѣнкомъ рудинства, отдѣльныхъ несовершенствъ родной жизни. Но постепенно критическое отношеніе къ современной русской дѣйствительности идетъ все дальше и дальше; признается недостаточнымъ самое это обличеніе, ставшее характерной чертой передовыхъ людей эпохи, все міровоззрѣніе ихъ; темныхъ сторонъ въ окружающей жизни замѣчается такъ много, что вся она цѣликомъ кажется несостоятельной, и поэтому необходимымъ признается все подвергнуть коренной ломкѣ, все разрушить, чтобы „расчистить мѣсто“ для новой жизни, какъ замѣчаетъ тотъ же Базаровъ. Такимъ образомъ, послѣдовательный до конца Базаровъ, признавъ негодность окружающей дѣйствительности, доходитъ до того, что, по его собственному выраженію, сказанному по другому поводу, становится на почву „противоположныхъ общихъ мѣстъ“, т. е. не разбираясь въ частностяхъ, отрицаетъ все въ жизни и міровоззрѣніи предшествовавшаго поколѣнія. Съ Базаровымъ произошла естественная, такъ часто встрѣчающаяся въ жизни, тѣмъ не менѣе грубая логическая ошибка: онъ сдѣлалъ неправильное индуктивное умозаключеніе, а затѣмъ, основываясь на невѣрномъ выводѣ, строилъ свои остальныя положенія. Неудивительно, что эти положенія поражаютъ насъ своею несообразностью.

Если бы Базаровъ оставался вполнѣ вѣренъ себѣ и своему отрицанію, это была бы какая то мрачная, отталкивающая фигура, какое то нравственное чудовище. Но какъ ни безстрашенъ онъ въ области мысли, какъ ни послѣдователенъ въ своихъ дѣйствіяхъ, который онъ стремится во что бы то ни стало согласовать со своимъ міровоззрѣніемъ, все же не трудно подмѣтить въ немъ цѣлый рядъ противорѣчій, въ которыя онъ, не давая себѣ отчета, а порою и вполнѣ сознательно впадаетъ довольно часто. Остановимся на нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Выше было указано, что Базаровъ единственнымъ импульсомъ для человѣческихъ дѣйствій признаетъ ощущеніе; вліяніе идеи, какъ побудительнаго, регулирующаго начала въ нашихъ поступкахъ, онъ совершенно отрицаетъ; принциповъ нѣтъ—есть только ощущенія—таково его теоретическое убѣжденіе. Между тѣмъ въ

спорѣ съ Павломъ Кирсановымъ онъ выставляетъ слѣдующее положеніе: „мы дѣйствуемъ въ силу того, что мы признаемъ полезнымъ“, иначе говоря, указываетъ тотъ общій принципъ, которымъ онъ руководствуется въ своей дѣятельности, хотя только что отрицалъ существованіе всякихъ принциповъ.

Гораздо болѣе подробно подчеркиваетъ Тургеневъ противорѣчія, въ которыя впадаетъ Базаровъ, отрицая романтизмъ, какъ всякое проявленіе чувства. Въ этомъ отношеніи даютъ много матеріала тѣ страницы романа, гдѣ рѣчь идетъ объ отношеніяхъ Базарова къ Одинцовой. Тутъ онъ ведетъ себя такъ, что на каждомъ шагу можетъ быть уличенъ въ непослѣдовательности. Прежде всего, онъ нарушаетъ основное положеніе своей теоріи объ отношеніяхъ къ женщинѣ, которая нравится. По этой теоріи, если не удается добиться немедленнаго успѣха, нужно оставить—„земля не клиномъ сошлась“. Однако Базаровъ, несмотря на то, что не встрѣтилъ со стороны Одинцовой того чувства, какое бы хотѣлъ, „отвернуться отъ нея, къ изумленію своему, не имѣлъ силъ“; онъ попрежнему занятъ ею и прибѣгаетъ къ непривычнымъ для него средствамъ, чтобы понравиться ей; онъ при знакомствѣ съ нею, сверхъ обыкновенія, говоритъ много и, очевидно, старается занять свою собесѣдницу, а въ другой разъ переодѣвается въ свое лучшее платье, прежде чѣмъ показаться ей на глаза. Наконецъ, передъ смертью онъ посылаетъ за Одинцовой, желая послѣднія минуты жизни видѣть возлѣ себя любимую женщину. Такія же противорѣчія можно отмѣтить и въ отношеніи его къ родителямъ. Вѣрный своей теоріи о неестественности всякаго чувства любви, не исключая и сыновней, онъ всячески старается скрыть, даже отъ самого себя, проявленія этого чувства, стыдясь ихъ, какъ чего то позорнаго, и между тѣмъ постоянно выдаетъ себя. Ѣдетъ Базаровъ съ Аркадіемъ къ Одинцовой и, послѣ долгаго молчанія, вдругъ заявляетъ своему спутнику: „поздравь меня, сегодня 22 іюня, день моего Ангела... Сегодня меня дома ждутъ,—прибавилъ онъ, понизивъ голосъ.—Ну, подождутъ, что за важность“! Почему, спрашивается, Базаровъ вспомнилъ о своихъ именинахъ? Отвѣтомъ на это служитъ слѣдующая фраза: „сегодня дома ждутъ“, сказанная подъ вліяніемъ нахлынувшаго чувства пониженнымъ голосомъ. Очевидно, мысль о родныхъ вызвала воспоминаніе и о днѣ Ангела. Но Базарову сейчасъ же дѣлается стыдно самого себя, и онъ грубо добавляетъ послѣднія слова—„ну, подождутъ“ и т. д. Но съ особенной силой обнаруживается его любовь къ роднымъ въ сценѣ смерти, гдѣ онъ проявляетъ трогательную заботливость о нихъ. Бесѣдуя съ Одинцовой, онъ, между прочимъ, замѣчаетъ: „Отецъ вамъ будетъ говорить, что вотъ, молъ, какого человѣка Россія теряетъ... Это чепуха, но не разувѣряйте старика. Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось... вы знаете. И мать приласкайте“. Не что иное, какъ, по его терминологіи, романтизмъ, сказывается у Базарова и при прощаніи съ Аркадіемъ. По своему обыкновенію онъ старается выдержать, разставаясь съ нимъ, черство-равнодушный тонъ. „И у тебя нѣтъ другихъ словъ для меня“? печально замѣчаетъ тотъ. Базаровъ смущенъ и въ порывѣ откровенности выдаетъ себя: „есть Аркадій, есть у меня другія слова, только я ихъ не выскажу, потому что это романтизмъ,—это значитъ разсыропиться“. Для насъ важно здѣсь признаніе самого Базарова, что и въ немъ есть та самая „белиберда“, противъ которой онъ такъ ополчается.

Изъ приведенныхъ примѣровъ, число которыхъ можно было бы значительно

увеличить, очевидно, какъ часто Базаровъ оказывается непослѣдовательнымъ, отступаетъ отъ того міровоззрѣнія, которое онъ исповѣдуетъ. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, потому что міровоззрѣніе его въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ прямо противорѣчитъ основнымъ свойствамъ человѣческой природы. Базаровъ ломаетъ себя въ угоду ему, но въ глубинѣ души понимаетъ, какое насиліе дѣлаетъ онъ надъ собою: не даромъ въ одномъ мѣстѣ романа онъ называетъ себя „самоломаннымъ“. Да, Базаровъ именно самоломанный! „Рѣшился все косить—валяй и себя по ногамъ“, говоритъ онъ о себѣ.

Показавъ на Базаровѣ несостоятельность нигилистическаго міровоззрѣнія, Тургеневъ даетъ понять читателю, что это міровоззрѣніе, въ концѣ концовъ, не даетъ внутренняго удовлетворенія и тому, кто его исповѣдуетъ. Увѣренный въ себѣ повидимому, вполнѣ уравновѣшенный человѣкъ, для котораго въ жизни все ясно, Базаровъ во второй половинѣ романа вдругъ впадаетъ въ мрачное настроеніе, безпричинно раздражается, перестаетъ работать. Онъ съ полною очевидностью начинаетъ понимать, что его нигилизмъ, основанный на матеріализмѣ, въ его же собственномъ сознаніи терпитъ крушеніе. Тотъ самый романтизмъ, въ смыслѣ жизни чувства, противъ котораго онъ такъ ополчается, начинаетъ мощно вторгаться въ его душу. „Странное существо человѣкъ“, разсуждаетъ онъ съ Аркадіемъ, лежа у себя дома подъ стогомъ: „какъ посмотришь этакъ съ боку да издали на глухую жизнь, какую ведутъ здѣсь отцы, кажется: чего лучше? Ѣшь, пей и знай, что поступаешь самымъ правильнымъ, самымъ разумнымъ манеромъ. Анъ, нѣтъ; тоска одолѣетъ. Хочется съ людьми возиться, хоть ругать ихъ, да возиться съ ними“. Видитъ Базаровъ, что муравей тащитъ полумертвую муху, и съ горечью замѣчаетъ: „Тащи ее, братъ, тащи!.. Пользуйся тѣмъ, что ты, въ качествѣ животнаго, имѣешь право не признавать чувства состраданія, не то, что нашъ братъ самоломанный!“ Наконецъ, нигилизмъ Базарова, чуждый всякихъ альтруистическихъ, идеальныхъ стремленій, приводитъ его къ тяжелому сознанію своего нравственнаго одиночества, обособленности отъ другихъ людей. „Я думаю,—говоритъ онъ Аркадію,—я вотъ лежу здѣсь подъ стогомъ... Узенькое мѣстечко, которое я занимаю, до того крохотное въ сравненіи съ остальнымъ пространствомъ, гдѣ меня нѣтъ и гдѣ дѣла до меня нѣтъ; и часть времени, которую мнѣ удастся прожить, такъ ничтожна передъ вѣчностью, гдѣ меня не было и не будетъ... А въ этомъ атомѣ, въ этой математической точкѣ, кровь обращается, мозгъ работаетъ, чего-то хочетъ тоже... Что за безобразіе! Что за пустяки!“

Такимъ образомъ изобразивъ въ Базаровѣ сущность нигилистическаго міровоззрѣнія, Тургеневъ и развѣнчалъ его, показавъ его логическую несостоятельность. Однако было бы ошибкой думать, что авторъ противопоставляя въ своемъ романѣ „отцовъ“ и „дѣтей“ и отнесшись отрицательно къ міросозерцанію этихъ послѣднихъ, самъ на сторонѣ стараго поколѣнія и раздѣляетъ его взгляды. Ни „отцы“, ни „дѣти“ не вызывали полнаго, безусловнаго сочувствія Тургенева. Но, во всякомъ случаѣ, его симпатіи въ гораздо большей степени на сторонѣ молодого поколѣнія. Это подтверждается какъ непосредственными заявленіями автора, такъ и изображеніемъ Базарова въ самомъ романѣ. Въ одномъ письмѣ, написанномъ вскорѣ послѣ появленія въ свѣтъ „Отцовъ и дѣтей“, Тургеневъ говоритъ слѣдующее: „Базаровъ... подавляетъ всѣ остальныя лица романа. Приданныя ему качества—не случайныя. Я

хотѣлъ сдѣлать изъ него лицо трагическое, и тутъ было не до нѣжностей. Онъ честенъ, правдивъ и демократъ до мозга костей. Базаровъ, по-моему, постоянно разбиваетъ Павла Петровича, а не наоборотъ. Вся моя повѣсть направлена противъ дворянства, какъ передового класса. Вглядитесь въ лица Николая Петровича, Павла Петровича и Аркадія. Слабость и вялость, и ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно хорошихъ представителей дворянства, чтобы тѣмъ вѣрнѣе сказать мою тему: если сливки плохи, что-же молоко?“ То, что говоритъ здѣсь Тургеневъ о своемъ героѣ, какъ нельзя болѣе подтверждается при чтеніи романа. Базаровъ не только „честенъ, правдивъ и демократъ до мозга костей“, онъ человѣкъ, надѣленный сильнымъ, яснымъ умомъ, необычайной силой воли, знаніями, чуждъ всякой пошлости. И если, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, онъ во многомъ оказывается несостоятельнымъ въ глазахъ читателя, то это потому, что его положеніе въ романѣ боевое, какимъ было, напримѣръ, положеніе Чацкаго въ московскомъ обществѣ. Базаровъ съ его натурой, съ его міровоззрѣніемъ не можетъ не внести борьбы съ окружающей жизнью; все въ ней, по его убѣжденію, должно пойти на смарку, все должно быть уничтожено; онъ постоянно охватывается полемическимъ задоромъ и въ пылу его доходитъ до смѣшного въ своемъ отрицаніи, а во второй половинѣ романа производитъ прямо трагическое впечатлѣніе тѣмъ внутреннимъ адомъ, который открывается читателю въ его душѣ.

Базаровъ сходитъ до сцены, ничего не сдѣлавъ по части практическаго осуществленія своихъ взглядовъ. И это вполнѣ понятно: художникъ, какъ говорится, „апперцепировалъ“, т. е. уловилъ своимъ творческимъ воображеніемъ этотъ образъ когда, когда онъ только еще народился въ русской жизни: дѣйствіе романа происходитъ въ 1859-мъ году, а черезъ два года „Отцы и дѣти“ появляются въ печати. За это время Базаровъ не могъ бы сдѣлать ничего такого, что показало-бы приложеніе его міросозерцанія къ жизни. Передъ нами онъ выступаетъ только какъ человѣкъ слова, стоящій однако неизмѣримо ближе къ дѣйствительной жизни, чѣмъ, напримѣръ, Рудинъ. Но и въ этой роли, съ точки зрѣнія исторической перспективы, Базаровъ—явленіе положительное, хотя онъ ни въ коемъ случаѣ не можетъ быть признанъ такимъ самъ по себѣ, внѣ рамокъ исторической дѣятельности.

На ряду съ истиннымъ представителемъ нигилизма шестидесятыхъ годовъ въ „Отцахъ и дѣтяхъ“ мы находимъ то каррикатурное отраженіе его въ жизни, которое было гораздо многочисленнѣе и, какъ всякая пародія, обращало на себя вниманіе въ болѣе значительной степени, чѣмъ люди базаровскаго закала; по этимъ каррикатурамъ многіе и теперь судятъ о сущности нигилистическаго движенія. Это обычное явленіе. Тому или другому идейному теченію сплошь и рядомъ приписываютъ то, что принадлежитъ исключительно его уродливому проявленію. Вся пошлость и ничтожество подобныхъ пародій выступаетъ съ полной ясностью при сопоставленіи ихъ съ тѣмъ, что такъ уродливо отражается въ нихъ. Поэтому нельзя не признать какъ нельзя болѣе удачнымъ, съ художественной точки зрѣнія, изображеніе Тургеневымъ на ряду съ истиннымъ представителемъ нигилизма пошлаго подражанія ему въ лицѣ Ситникова и Кукшиной: сопоставленіе оригинала и каррикатурной копіи есть прекрасный способъ, чтобы оттѣнить положительныя стороны перваго и все уродство второй.

Ситниковъ и Кукшина—третьестепенныя, эпизодическія лица въ романѣ; изображенію ихъ посвящено 2—3 страницы, но съ какой яркостью очерчены они! Во всей силѣ проявился здѣсь сатирическій элементъ таланта Тургенева, умѣвшаго сразу, однимъ художественнымъ штрихомъ, выставить смѣшныя стороны изображаемаго лица. Такъ, говоря о Ситниковѣ, онъ какъ бы вскользь, въ скобкахъ, бросаетъ замѣчаніе о его визитной карточкѣ съ загнутыми углами, съ надписью съ одной стороны по-французски, съ другой—славянской вязью, о его черезчуръ ужъ элегантныхъ перчаткахъ,—и читатель сразу начинаетъ понимать, съ какого рода нигилистомъ онъ имѣетъ дѣло. Великолѣпенъ вопросъ Ситникова, обращенный къ Базарову: „Я надѣюсь, вы не отъ губернатора?“ и еще лучше заявленіе: „А, въ такомъ случаѣ и я пойду“, когда тотъ отвѣчаетъ, что они сейчасъ были у него—и такъ до конца. Или вотъ описаніе комнаты „эмансипированной женщины“, которую всѣми силами старается изображать изъ себя Кукшина, и ея самой. „Бумаги, письма, толстые номера русскихъ журналовъ, большею частью, не разрѣзанные, валялись по запыленнымъ столамъ; вездѣ бѣлѣли разбросанные окурки папиросъ. На кожаномъ диванѣ полулежала дама, еще молодая, бѣлокурая, нѣсколько растрепанная, въ шелковомъ, не совсѣмъ опрятномъ платьѣ, съ крупными браслетами на коротенькихъ рукахъ и кружевною косынкою на головѣ“.

Эти нѣсколько строкъ сразу даютъ читателю представленіе о Кукшиной—стоитъ только обратить вниманіе на такіе, повидимому, мимолетные, мелкіе штрихи автора, какъ упоминаніе о неразрѣзанныхъ книжкахъ журнала, которыя, очевидно, не читаются и лежатъ только для декораціи, о неряшливомъ видѣ комнаты и самой хозяйки, о рѣжущемъ глаза соединеніи кокетства (браслеты, шелковое платье, косынка) и неряшества. Какъ бы для того, чтобы еще болѣе дать понять читателю, что Кукшина ничего общаго не имѣетъ съ истиннымъ нигилизмомъ, Тургеневъ заставляетъ Базарова относиться къ ней съ нескрываемой иронією и презрѣніемъ. Болтая безъ умолку, Кукшина заявляетъ, между прочимъ, что собирается ѣхать за границу: „Въ Парижъ, разумѣется?—спросилъ Базаровъ.—Въ Парижъ и въ Гейдельбергъ.—Зачѣмъ-же въ Гейдельбергъ?“ Изъ этихъ ироническихъ замѣчаній Базарова ясно видно, что онъ не допускаетъ возможности, чтобы г-жа Кукшина могла серьезно думать о наукѣ. Для нея поѣздка за-границу можетъ имѣть интересъ только потому, что тамъ можно весело пожить, а для этого самое подходящее мѣсто Парижъ, а отнюдь не скромный Гейдельбергъ, извѣстный только своимъ университетомъ. Тонкая иронія автора, сквозящая въ изображеніи этихъ подонковъ нигилизма, становится совершенно очевидной даже для мало вдумчиваго читателя, когда онъ заставляетъ Базарова произнести надъ ними свой приговоръ. Послѣ завтрака у Кукшиной Ситниковъ, все время лебезящій передъ Базаровымъ, желая узнать мнѣніе послѣдняго о ней, допрашиваетъ его: „Ну что? Вѣдь, я говорилъ вамъ: замѣчательная личность! Вотъ такихъ бы намъ женщинъ побольше! Она, въ своемъ родѣ, высоко-нравственное явленіе“.—„А это заведеніе твоего отца тоже нравственное явленіе?“ промолвилъ Базаровъ, ткнувъ пальцемъ на кабакъ отца Ситникова и этимъ сопоставленіемъ и неожиданнымъ „ты“ показавъ все свое презрѣніе и къ Ситникову и къ Кукшиной.

Мы взяли изъ романа „Отцы и дѣти“ все существенное, что даетъ онъ для характеристики новаго поколѣнія въ жизни русскаго общества, заявившаго о своемъ

существованіи съ конца пятидесятыхъ годовъ и ставшаго своего рода пугаломъ для людей умѣреннаго лагеря въ 60-е годы. Многіе изъ русскихъ писателей пытались изобразить это поколѣніе, но никому не удалось отнестись къ нему такъ критически-объективно, какъ это сдѣлалъ Тургеневъ. Всѣ они были поражаемы уродливостью того теченія русскаго нигилизма, которое впервые заклеймлено было Тургеневымъ въ образахъ Ситникова и Кукшиной, и его то изображали на всѣ лады, никогда не возвышаясь до объективнаго творчества. Даже такой крупный талантъ, какъ Гончаровъ, и тотъ подмѣтилъ только уродливое отраженіе нигилизма и только его воспроизвелъ въ своемъ „Обрывѣ“ и при томъ такъ, что читатель остается въ увѣренности, что это и есть нигилистъ чистѣйшей воды. Громадная заслуга Тургенева заключается въ томъ, что онъ первый изъ русскихъ писателей, возсоздавъ типическое явленіе современности, оказался единственнымъ, сразу понявшимъ существованіе двухъ теченій въ этомъ явленіи, и оба изобразилъ съ художественной правдой въ „Отцахъ и дѣтяхъ“. Романъ этотъ имѣетъ тѣмъ большее историческое значеніе, что здѣсь передъ нами сопоставляется два поколѣнія, изъ которыхъ одно идетъ на смѣну другому, воспроизводится „тяжелый, трудный споръ“, являющійся неизбѣжнымъ удѣломъ переходныхъ эпохъ. И хоть авторъ принадлежитъ къ одному изъ этихъ поколѣній, является лицомъ, далеко не безразлично относящимся къ загорѣвшейся борьбѣ, онъ все время остается безпристрастно-спокойнымъ. Всѣ эти особенности „Отцовъ и дѣтей“ дѣлаютъ этотъ романъ однимъ изъ лучшихъ произведеній не только Тургенева, но и всей русской литературы.

Общественныя движенія въ 70-е годы. Неждановъ. Соломинъ.

Во вторую половину шестидесятыхъ и въ семидесятые годы въ русской общественной жизни замѣчается два наиболѣе ярко бросающіяся въ глаза явленія: это—„кающійся дворянинъ“ и „хожденіе въ народъ“ съ цѣлью революціонной пропаганды.

Черты „кающагося дворянина“ замѣчались у русской интеллигенціи и въ предшествовавшія эпохи. Такія лица изъ людей сороковыхъ годовъ, какъ Герценъ, Огаревъ, наконецъ, самъ Тургеневъ, а въ художественной литературѣ, напримѣръ, Лаврецкій чувствуютъ свой долгъ передъ народомъ за пользованіе его даровымъ трудомъ и тѣмъ или инымъ способомъ стремятся отдать этотъ долгъ. Самая идея освобожденія крестьянъ, до нѣкоторой степени, росла и развивалась на почвѣ стремленія лучшихъ людей загладить вѣковую несправедливость, участниками которой они являлись косвенно и сами. Но съ особенной силой выступила у русскаго дворянства идея расплаты съ народомъ въ шестидесятые и особенно семидесятые годы. Объясняется это усиленнымъ вниманіемъ общества къ мужику, охватившимъ русскую интеллигенцію послѣ освобожденія крестьянъ. Вотъ какъ, напримѣръ, характеризуетъ одинъ современникъ общественное настроеніе въ 70-е годы. „Стоило только сойтись двумъ-тремъ интеллигентнымъ людямъ..., какъ немедленно-же ихъ разговоръ, точно руководимый какой-то стихійной силой, обращался къ мужику, условіямъ его жизни, его силѣ и его безсилію. Въ сущности, только этимъ и интересовались“. Въ это именно

ваетъ „дѣломъ“ прокормить слѣпую бабушку. Но съ особенной ясностью, ужъ „отъ себя“, высказалъ Тургеневъ этотъ взглядъ за два года до созданія „Нови“ въ одномъ изъ частныхъ писемъ. Вотъ его слова: „Для предстоящей общественной дѣятельности не нужно ни особенныхъ талантовъ, ни даже особеннаго ума—ничего крупнаго, выдающагося, слишкомъ индивидуальнаго, нужно трудолюбіе, терпѣніе; нужно умѣть жертвовать собою безъ всякаго блеску и треску, нужно умѣть смириться и не гнушаться мелкой... жизненной работы... Что можетъ быть, напримѣръ, жизненнѣе—учить мужика грамотѣ, помогать ему, заводить больницы и т. п.“ И не одинъ Тургеневъ сталъ на такую точку зрѣнія...

Однако, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, это была пока все-таки теорія, рѣдко и узко примѣняемая въ дѣйствительной жизни. Глубоко сочувствуя новому направленію общественной мысли, видя въ немъ залогъ лучшаго будущаго, Тургеневъ все-же не могъ въ достаточномъ количествѣ наблюдать этихъ „новыхъ людей“, не сдѣлалъ надлежащаго запаса впечатлѣній, и потому не удивительно, что Соломинъ вышелъ очерченнымъ слишкомъ общими чертами, безъ указанія въ высшей степени любопытныхъ въ этомъ случаѣ деталей; личность его съ художественной точки зрѣнія не дорисована. Въ самомъ дѣлѣ, Соломинъ, этотъ человѣкъ непосредственнаго, живого дѣла въ романѣ почти вовсе не проявляетъ своей дѣятельности. Указанія автора на то, какія хорошія, хотя и не совсѣмъ обыкновенныя отношенія существовали между его героемъ и рабочими, намеки на школы и „прочее“, что завелъ у себя на фабрикѣ Соломинъ, еще ничего не разъясняютъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ очень важно знать, какъ это было сдѣлано, и каковы результаты. Даже и взгляды свои, программу дѣятельности Соломинъ излагаетъ въ самыхъ общихъ чертахъ. Въ тѣхъ мѣстахъ романа, гдѣ, казалось бы, Соломину было естественнѣе всего высказать во всей полнотѣ свои убѣжденія, какъ, напримѣръ, въ сценѣ у Маркелова, онъ „почти все молчалъ“, такъ что читатель такъ и не знаетъ, какъ же разрабатываетъ онъ въ подробностяхъ свои основныя положенія.

Такимъ образомъ, Соломинъ представляетъ собою въ художественномъ отношеніи эскизную фигуру, только намѣченный, но не разработанный вполнѣ типъ. Тѣмъ не менѣе, „Новь“, является однимъ изъ лучшихъ литературныхъ документовъ для характеристики русской общественной жизни семидесятыхъ годовъ девятнадцатаго столѣтія.

Русская женщина въ изображеніи Тургенева.

Мы разсмотрѣли важнѣйшія произведенія Тургенева, въ которыхъ онъ проявилъ себя истиннымъ „ловцомъ момента“ и далъ читателямъ цѣлый рядъ типовъ, характеризующихъ пережитыя имъ эпохи въ развитіи русскаго общества. Четыре десятилѣтія нашей общественной жизни, цѣлыхъ три поколѣнія русскихъ людей—дѣды, отцы и дѣти старшіе (Базаровъ) и младшіе (Неждановъ, Соломинъ) нашли себѣ художественное отраженіе въ его творчествѣ. Мы ограничились разборомъ основныхъ типовъ, характеризующихъ ту или иную эпоху. Но на ряду съ ними Тургеневъ выводитъ иногда, какъ, напримѣръ, въ „Нови“, множество второстепен-

ныхъ, эпизодическихъ лицъ, являющихся въ большей или меньшей степени продуктомъ переживаемаго ими историческаго момента. Такъ что, въ общемъ, если принять во вниманіе и эти второстепенные образы, передъ нами получится еще болѣе широкая, богатая содержаніемъ картина. А сколько у Тургенева разнообразныхъ характеровъ, представляющихъ большой общественный, психологическій и художественный интересъ, хотя на нихъ почти вовсе не отразилось вліяніе господствовавшихъ настроеній времени. Вся галлерея созданныхъ Тургеневымъ типовъ русскихъ людей поражаетъ своей обширностью и разнообразіемъ и представляетъ богатѣйшій матеріалъ для литературно-критическаго изслѣдованія.

Въ этой галлереѣ очень видное мѣсто занимаютъ женскіе образы. Мы не касались ихъ до сихъ поръ потому, что слѣдили за тѣмъ, какъ изобразилъ Тургеневъ пережитыя новыя вѣянія русской жизни, которыя, по естественному ходу нашей общественной и семейной жизни, захватывали, главнымъ образомъ, мужское поколѣніе и въ немъ отражались, какъ непосредственный результатъ историческаго момента. Это не значитъ, что русскія женщины не были увлекаемы новыми направленіями общественной мысли и чувства. Но на нихъ это не отражалось въ такой степени ярко и типично, какъ на поколѣніи мужьемъ. Тѣмъ не менѣе, было бы большой ошибкой думать, что русская женщина въ изображеніи Тургенева представляетъ мало интереса. Наоборотъ, женскіе характеры нашего автора, не меньше, чѣмъ мужскіе, заслуживаютъ быть разсмотрѣнными даже въ краткомъ обзорѣ его творчества.

Еще въ Евангельскомъ разсказѣ о посѣщеніи Христомъ Марѳы и Маріи впервые намѣчены два основныхъ женскихъ типа, повторяющихся съ различными видоизмѣненіями въ исторіи человѣчества независимо отъ тѣхъ или иныхъ формъ государственной и семейной жизни. Одинъ изъ нихъ—Евангельская Марѳа—существо въ большей или меньшей степени удовлетворенное тѣмъ, что дала ей судьба, и стремящееся создать свое счастье путемъ приспособленія къ установившимся формамъ жизни, признаваемымъ чѣмъ-то незыблемымъ. Совсѣмъ иной представляется Марія. Она—чужая для окружающей ее жизни и людей, съ которыми у нея нѣтъ ничего или очень мало общаго, она рвется къ инымъ, лучшимъ, какъ ей кажется, условіямъ существованія. Нужды нѣтъ, что порою она не знаетъ, въ чемъ это лучшее и гдѣ искать его; она все же не можетъ удовлетвориться тѣмъ, что вокругъ нея, и жадно стремится къ тому, что, по ея мнѣнію, можетъ наполнить ея внутренній міръ. Первый типъ можетъ быть названъ консервативнымъ, ибо онъ не содѣйствуетъ дальнѣйшему развитію жизни; второй, наоборотъ,—прогрессивнымъ; это—„взыскующія града“, стремящіяся выйти изъ заколдованнаго круга мертвящихъ традицій, мечтающія о новой жизни. Насколько обыденны, заурядны, порою пошлы женщины перваго типа, настолько привлекаютъ къ себѣ вниманіе Маріи, ибо у нихъ всегда идетъ напряженная работа ума, чувства и воли, ихъ внутренній міръ отличается большимъ богатствомъ и разнообразіемъ. Неудивительно поэтому, что наши писатели, какъ и всѣ, впрочемъ, другіе, съ особенною любовью останавливались на изображеніи женскихъ типовъ, могущихъ быть отнесенными къ разряду прогрессивныхъ. Наиболѣе видными представительницами этого типа русскихъ женщинъ у Тургенева служатъ Наташа („Рудинъ“), Лиза („Дворянское гнѣздо“), Елена („Наканунѣ“) и Маріанна („Новь“).

Наташа является второстепеннымъ, эпизодическимъ лицомъ въ романѣ „Рудинъ“. Авторъ въ силу этого не раскрываетъ намъ всего ея внутренняго міра, изображая ее, главнымъ образомъ, со стороны ея отношеній къ Рудину. Но слѣдя за исторіей ея любви, Тургеневъ искусно вырисовываетъ передъ читателемъ основныя, въ высшей степени симпатичныя свойства ея духовнаго облика.

Глубокая вдумчивость, стремленіе разобраться въ окружающей жизни и дать себѣ въ ней отчетъ, любовь къ знанію и поэзіи—таковы отличительныя черты этой дѣвушки. Подъ вліяніемъ ихъ Наташа какъ-то инстинктивно чуждается матери, ибо чуетъ, что она не въ состояніи понять того, что происходитъ у нея въ душѣ. А тамъ, не смотря на молодость ея, уже растетъ и зрѣетъ неудовлетворенность окружающей жизнью и людьми, неясное стремленіе къ чему-то иному, лучшему. Вотъ почему на нее дѣйствуетъ такъ обаятельно Рудинъ, поманившій ее широкими перспективами возвышенныхъ идеаловъ жизни. Подъ вліяніемъ любви къ Рудину впервые сказалась въ Наташѣ способность къ смѣлому, рѣшительному шагу, умѣніе оставаться вѣрной себѣ до конца. Семнадцатилѣтняя дѣвушка, не обладающая почти никакимъ жизненнымъ опытомъ, она прекрасно умѣетъ не только разобраться въ своей собственной душѣ и не ошибается въ силѣ своего чувства, но въ послѣднее свое свиданіе съ Рудинымъ разгадываетъ его отношеніе къ себѣ и, несмотря на страшный сердечный ударъ, находитъ силы дать ему строгую отповѣдь. Любовь къ Рудину пробудилась у Наташи только потому, что она видѣла въ немъ олицетвореніе тѣхъ возвышенныхъ идеаловъ, проповѣдь которыхъ она слышала изъ его устъ; для нея Рудинъ отожествляется съ тѣмъ, что онъ говоритъ: не даромъ Тургеневъ замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ романа, что Наташа наединѣ думала не о самомъ Рудинѣ, но о какомъ-нибудь словѣ, имъ сказанномъ. Ея смѣлое рѣшеніе бросить родной домъ, семью и слѣдовать за любимымъ человѣкомъ свидѣтельствуетъ о томъ, какъ мало общаго у нея съ окружающей жизнью, какъ сильно жаждетъ она отдаться новымъ стремленіямъ, столь отличнымъ отъ тѣхъ, какими живетъ выростившая ее среда.

Гораздо большей степени, чѣмъ у Наташи, замѣчаемъ мы неудовлетворенность окружающимъ у героини „Дворянскаго гнѣзда“, Лизы Калитиной. Когда этотъ романъ появился въ печати, онъ встрѣтилъ восторженные отзывы читателей. Отзывы эти были, въ значительной мѣрѣ, вызваны образомъ Лизы, однимъ изъ самыхъ прекрасныхъ, по своей нравственной чистотѣ, въ русской литературѣ. Являясь центральной фигурой романа, Лиза гораздо полнѣе, чѣмъ, напримѣръ, Наташа, обрисована авторомъ, и потому образъ ея можетъ быть возстановленъ съ большей опредѣленностью и ясностью.

Въ лицѣ Лизы мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ, у котораго преобладающей чертой его личности является чисто врожденная религіозность, господствующая надъ всѣми остальными чувствами. Пр. Овсянико-Куликовскій, которому принадлежитъ два лучшихъ въ нашей литературѣ критическихъ этюда о Лизѣ Калитиной (см. его „Этюды о творчествѣ И. С. Тургенева“), очень удачно опредѣляетъ особенности ея религіознаго настроенія. Большинство религіозныхъ людей, по его словамъ, проявляютъ свое чувство къ Богу только въ извѣстные, сравнительно рѣдкіе моменты, въ обычное же время, такъ сказать, религіозные будни, оно какъ бы со-

всѣмъ нейтрализуется, становится незамѣтнымъ. Потеря близкаго человѣка, страхъ смерти, болѣзнь, житейскія невзгоды, наконецъ, подходящая обстановка, настраивающая на религіозный ладъ, вызываютъ въ болѣе или менѣе сильной степени это чувство, но стоитъ измѣниться этимъ условіямъ, и оно замираетъ. Совсѣмъ иного рода религіозность Лизы. Въ ней она всегда на лицо, она какъ бы составляетъ неотъемлемую часть ея существа; Лиза вся проникнута и просвѣтлена этимъ чувствомъ: каждый шагъ ея, каждое рѣшеніе, мысль подвержены контролю религіознаго сознанія.

Конечно, нужны были благопріятныя условія, чтобы врожденная религіозность достигла такого широкаго развитія, какое мы замѣчаемъ у Лизы. Тургеневъ описываетъ намъ эти условія, и на нихъ необходимо вкратцѣ остановиться, чтобы тѣмъ яснѣе сталъ для насъ ея духовный обликъ.

Ни отецъ, ни мать, ни француженка-гувернантка не имѣли ровно никакого вліянія на Лизу, прежде всего, потому, что обращали на нее очень мало вниманія. Но зато тѣмъ сильнѣе было воздѣйствіе на нее няни Агафьи, приставленной къ ней съ пяти лѣтъ. Благодаря именно ей, врожденное религіозное чувство Лизы получило широкое развитіе. Въ свободныя минуты Агафья ровнымъ и мѣрнымъ голосомъ разсказывала Лизѣ жизнь отшельниковъ, угодниковъ Божіихъ, святыхъ мучениковъ. Говорила она ей о томъ, „какъ жили святые въ пустыняхъ, какъ спасались, голодъ терпѣли и нужду,—и царей не боялись, Христа исповѣдовали... Какъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ кровь ихъ падала, цвѣты вырастали“. Эти разсказы глубоко западали въ душу серьезнаго, вдумчиваго ребенка, проникали въ самую глубь существа Лизы. „Образъ вездѣсущаго, всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу, наполнялъ ее чистымъ, благоговѣйнымъ страхомъ, а Христосъ становился ей чѣмъ то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ... Она любила всѣхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога восторженно, робко нѣжно“.

Такимъ образомъ, изъ приведенныхъ словъ Тургенева видно, что въ религіозномъ чувствѣ Лизы преобладающую роль играла мистическая любовь къ Божеству. Отсюда понятно, что всѣ ея настроенія, мысли, поступки, все міросозерцаніе освѣщалось этой любовью, она давала тонъ всему ея жизнепониманію.

На первомъ планѣ здѣсь стоитъ постоянно бодрствующее чувство долга. Лиза „вся проникнута“ этимъ чувствомъ, она, подчиняясь беззавѣтно ему, не задумываясь приноситъ ему въ жертву всѣ свои радости, всѣ надежды на личное счастье. Долгъ этотъ, по ея представленію, состоитъ въ томъ, чтобы жить, не причиняя никому страданія, не быть даже косвенно виновникомъ чьего-либо несчастья, иначе говоря,—въ томъ, чтобы забыть себя, жить для другихъ. Такимъ образомъ, на чувствѣ долга основана другая коренная черта Лизы—очень широкій, всечеловѣческій, истинно христіанскій альтруизмъ.

Та же мистическая любовь къ Богу и, какъ слѣдствіе ея, проникновеніе нравственными началами Христова ученія, а также врожденная болѣзненно-чуткая совѣсть являются основаніемъ того этическаго масштаба, который примѣняетъ Лиза при оцѣнкѣ доступныхъ ея наблюденію жизненныхъ явленій, а также руководствуется въ своихъ собственныхъ поступкахъ. Масштабъ этотъ поэтому очень высокъ, а если принять при этомъ во вниманіе одну изъ характерныхъ особенностей Лизы—мучительно вдумчивую мысль, способность подвергать нравственной оцѣнкѣ

совершающуюся вокругъ жизнь, то будетъ понятно, что эта жизнь не могла особенно привлекать ее къ себѣ.

Понятны поэтому ея равнодушіе къ „пѣснямъ земли“, ея боязнь грѣховнаго счастья, отреченіе отъ любви и жизни въ мірѣ съ ея земными радостями. Рѣшившись уйти въ монастырь, она говоритъ: „Я все знаю, и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенька богатство нажилъ; я все знаю. Все это отмолить, отмолить надо“... Въ этихъ словахъ опредѣленнѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, высказывается отношеніе Лизы къ жизни: это та же неудовлетворительность окружающей дѣйствительностью, указанія на которую мы видѣли и въ Наташѣ, но развивая въ гораздо большей степени, болѣе того—здѣсь видѣнъ протестъ противъ этой дѣйствительности: Лиза сердцемъ чуетъ всѣ тѣ страданія, обиды и несправедливости, которыми покупалось счастье окружающихъ ее людей,—потому-то она такъ страшится личнаго счастья, потому она „вся проникнута боязнью оскорбить кого бы то ни было“. Но она — существо не отъ міра сего, она не можетъ вступить въ борьбу съ тѣмъ, что она считаетъ ненормальнымъ, но не можетъ и покориться ему, и она уходитъ отъ міра, тѣмъ самымъ признавая невозможность для себя жить въ немъ.

Мы видѣли, что Наташа и Лиза—обѣ, каждая по своему, выражаютъ свое отрицательное отношеніе къ окружающей ихъ жизни. Заключенныя въ узкія рамки семейныхъ интересовъ, чуждыя всякой общественности, потому что ея не существовало въ тогдашней русской дѣйствительности, онѣ обнаруживаютъ пока только неясное, неопредѣленное порываніе отъ той среды, которая,—онѣ чувствуютъ это,—не можетъ дать пищи ихъ духу. Ни та, ни другая не рѣшаютъ вопроса о томъ, гдѣ же и въ чемъ выходъ. Наташа, искавшая, подобно пушкинской Татьянѣ, въ любимомъ человѣкѣ спасителя отъ окружающей ее пошлости, горько разочаровывается въ немъ, а Лиза прибѣгаетъ къ способу, доступному только для такихъ натуръ не отъ міра сего, какъ она. Въ двухъ послѣдующихъ произведеніяхъ: „Наканунѣ“ и „Новь“ Тургеневъ рисуетъ намъ образы русскихъ дѣвушекъ, которыя нашли себѣ мѣсто въ жизни, хотя, подобно Наташѣ и Лизѣ, далеко не были удовлетворены тѣмъ, что давала имъ въ началѣ эта жизнь. Одинъ изъ лучшихъ русскихъ критиковъ—Добролюбовъ въ прекрасной статьѣ, посвященной разбору „Наканунѣ“, даетъ блестящій анализъ характера Елены, героини этого романа. Въ его истолкованіи она представляется въ слѣдующемъ видѣ.

Какъ всѣ незаурядныя натуры, Елена отъ природы надѣлена выдающимися душевными силами. Она отличается серьезнымъ складомъ ума, склоннымъ къ глубокому анализу, сильной волей, добрымъ, отзывчивымъ сердцемъ. Эти свойства, благодаря своеобразно сложившимся обстоятельствамъ домашней жизни, нашли полный просторъ для своего развитія. Семейный разладъ между отцемъ и матерью, свидѣтельницей котораго Елена была еще въ раннемъ дѣтствѣ, давалъ богатую пищу ея уму и воображенію. Ей невольно приходилось быть въ душѣ судьей надъ самыми близкими къ ней людьми и вслѣдствіе этого напряженно работать сердцемъ и головой. Такое положеніе развивало въ ней самостоятельность, она становилась въ уровень со старшими, подвергала своей собственной оцѣнкѣ ихъ поступки. Эта оцѣнка однако не была холодной: вѣдь, дѣло шло о самыхъ близкихъ ей людяхъ, къ которымъ вначалѣ она питала привязанность. Но пытливый, наблюдательный умъ вскорѣ

показалъ ей, какими, въ сущности, заурядными людьми были ея родители, и она постепенно отъ обожанія отца перешла къ страстной любви къ матери, а затѣмъ, съ годами, это чувство замѣнилось сожалѣніемъ и снисхожденіемъ.

Такъ семейная обстановка, въ которой жила Елена, содѣйствовала развитію въ ней, съ одной стороны, критическаго отношенія къ окружающему, а съ другой —теплаго, гуманнаго чувства къ чужому страданію, которое тѣмъ болѣе сильно проявлялось, что страдающее лицо, самое близкое существо—мать, было постоянно на глазахъ.

Мало по мало это сочувствіе къ чужому страданію все растетъ и расширяется и находитъ себѣ пищу уже внѣ родной семьи. „Нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видѣла ихъ во снѣ, распрашивала о нихъ всѣхъ своихъ знакомыхъ... Всѣ притѣсненныя животныя, худыя дворовыя собаки, осужденные на смерть котята, вышавшіе изъ гнѣзда воробьи, даже насѣкомыя и гады находили въ Еленѣ покровительство и защиту“. Словомъ, она отдается доступнымъ для нея дѣламъ милосердія. Но эти занятія, когда она стала старше, не могли уже удовлетворять ее: съ одной стороны, развитой, пытливый умъ указывалъ ей на всю скудость этой дѣятельности, а съ другой—они давали слишкомъ мало пищи ея энергичной, жаждущей дѣятельности натурѣ. Ей нужно было чего-то большаго, болѣе серьезнаго, захватывающаго, но чего—она и сама не могла дать себѣ отчета. Она точно находилась въ какомъ-то ожиданіи, точно ждала чего-то. Она поняла, чего ей не нужно, и равнодушно относится къ обычной обстановкѣ жизни и ея интересамъ, но что дѣлать, гдѣ найти приложеніе своимъ силамъ и дѣло по сердцу, она не знаетъ. Она жаждетъ дѣятельнаго добра, но ей самой не рѣшить, какъ дѣлать его.

Любовь къ Инсарову рѣшаетъ все. Для всякаго, кто помнитъ тѣ главы романа, гдѣ описывается постепенное сближеніе съ нимъ Елены, ясно, что все обаяніе его заключается въ величіи той идеи, которой проникнуто все его существо. Услыхавши разсказъ Берсенева объ Инсаровѣ, она, глубоко пораженная имъ, говоритъ: „Освободить свою родину! Эти слова даже выговорить страшно, такъ они велики!...“ Еще не видавъ его, она живо заинтересована имъ, потому что чуетъ въ немъ человѣка, который нашелъ настоящее, живое дѣло, могущее наполнить всю жизнь. И когда чувство взаимной любви связываетъ ее съ Инсаровымъ, она вся отдается тому дѣлу, которому онъ служитъ. Она бросаетъ семью, родину и отправляется къ чужому ей народу, чтобы прійти ему на помощь въ великомъ дѣлѣ освобожденія.

Любовь къ Инсарову отожествилась у нея съ горячей преданностью тому дѣлу, которому онъ отдался. Она нашла примѣненіе своимъ силамъ, нашла пищу своему уму и сердцу, и никогда не вернется къ прежней жизни, которую она вела на родинѣ. Вотъ почему на нее не производитъ никакого впечатлѣнія призывъ родной матери, полученный ею чуть-ли не въ моментъ смерти мужа. „Вернуться въ Россію?“ пишетъ она въ отвѣтъ на этотъ призывъ. „Зачѣмъ? Что дѣлать въ Россіи?“ и отправляется въ Болгарію, чтобы принять участіе въ возстаніи.

Въ лицѣ Елены мы впервые въ русской литературѣ встрѣчаемъ типъ женщины, которая сумѣла проникнуться общественными интересами, слиться съ ними. Первоначальнымъ стимуломъ здѣсь однако служило чисто личное чувство—любовь къ Инсарову; оно указало ей поле дѣятельности, дѣло, которому она могла отдать свои силы.

Маріанна, одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа „Новь“, стоитъ ступенью выше Елены. Это одинъ изъ самыхъ прекрасныхъ женскихъ образовъ, какіе создавались русскими писателями. Маріанна, прежде всего, отличается глубокой, чисто органической честностью. Она принадлежитъ къ тѣмъ натурамъ, которыя до такой степени проникнуты чувствомъ правды, что проявленіе справедливости ихъ только удовлетворяетъ, а не радуетъ, ибо онѣ считаютъ его самымъ обычнымъ, естественнымъ явленіемъ, а несправедливость, къ которой онѣ очень чутки, волнуетъ и возмущаетъ ихъ до глубины души. Эта рѣдкая чуткость ко всякой неправдѣ соединятся у Маріанны съ яснымъ умомъ, господствующимъ надъ областью чувствъ, потребностью въ дѣятельности и широкимъ альтруизмомъ, вытекающимъ изъ высшихъ идеальныхъ стремленій, которыми исполнено все ея существо. По своему духовному складу Маріанна принадлежитъ къ тѣмъ людямъ, для которыхъ любимая идея стоитъ выше всего, которые не задумываясь готовы во имя ея передѣлать всю свою жизнь, а если понадобится, то и пожертвовать собою. Изъ такихъ людей выходятъ герои, поражающіе толпу величіемъ своего духа. Но Маріанна не превращается въ рабыню своей идеи. Ясность ума, независимость мысли, неугнетенность чувства дѣлаютъ ее внутренно свободной, чуждой слѣпого фанатизма. Такова Маріанна, какъ психологогическій типъ. Посмотримъ, какъ проявляетъ она себя въ жизни.

Личныя невзгоды, необходимость жить на хлѣбахъ изъ милости у родственниковъ, которыхъ она не любитъ и не уважаетъ,—все это тяжелымъ бременемъ ложится на душу Маріанны. Но не это служитъ главной причиной мучительнаго душевнаго состоянія ея, пока она живетъ въ домѣ своего дяди. „Если я несчастна,—говоритъ она Нежданову,—то не своимъ несчастьемъ. Мнѣ кажется иногда, что я страдаю за всѣхъ притѣсненныхъ, бѣдныхъ, жалкихъ на Руси... нѣтъ, не страдаю, а негодую, возмущаюсь... что я за нихъ готова... голову сложить. Я несчастна тѣмъ, что я барышня, приживалка, что я ничего, ничего не могу, не умѣю“. Въ этихъ словахъ—вся Маріанна, вся ея чуткая до болѣзненности душа, не выносящая чужого страданія, проникнутая жаждой подвига, жертвы, готовая на все, лишь-бы облегчить эти страданія.

Въ это время Маріанна сближается съ Неждановымъ и въ первый разъ переживаетъ чувство любви. Но любовь не опьяняетъ ее настолько, чтобы занять господствующее мѣсто въ ея внутреннемъ мірѣ. Для нея Нежданов только близкій дорогой товарищъ, съ которымъ она рука объ руку пойдетъ отдаться завѣтной мечтѣ—служеніе народу. Эта мечта не оставляетъ ее въ самые счастливые моменты упоенія взаимной любовью. Не объ узкомъ, эгоистическомъ счастьи съ любимымъ человѣкомъ мечтаетъ она, все ея существо наполнено восторженными думами о томъ, какъ они вмѣстѣ отдадутъ себя на служеніе горячо любимому меньшему брату. Поэтому то столь радостно настроена Маріанна, когда она вмѣстѣ съ Неждановымъ бросаетъ привычныя условія жизни и пытается „опроститься“,—она ближе къ своей цѣли, ея завѣтная мечта, по ея мнѣнію, начинаетъ осуществляться. Но вѣрная всей душой идеѣ служенія народу, она чужда однако узкаго фанатизма, порабощающаго личность человѣка, превращающаго его въ слѣпца, неспособнаго видѣть темныя пятна этой вѣры, которую онъ исповѣдуетъ. Подъ вліяніемъ рѣчей Соломина она, повидимому, сознаетъ слабыя стороны той программы, которой она придерживалась до сихъ поръ, стремясь прійти на помощь народу, и, надо думать,

оставить ее и пойдетъ по пути, указанному ей Соломинымъ. Не даромъ-же мы разстаемся съ Маріанной, когда она становится женой Соломина и, значитъ, вмѣстѣ съ нимъ, т. е. одинаковымъ оружіемъ, будетъ бороться за свои идеалы. Но какъ бы ни сложилась личная жизнь Маріанны, она всегда будетъ освѣщаться отблескомъ того возвышеннаго идеала, служенію которому она такъ беззавѣтно отдалась. Идеалъ этотъ—народное благо и счастье.

Такимъ образомъ, Маріанна заключаетъ въ себѣ завершеніе тѣхъ неясныхъ порывовъ русской женщины, начало которыхъ мы видѣли въ Наташѣ. Благодаря видоизмѣнившимся условіямъ русской общественной жизни, порывы эти реализовались въ ясное и опредѣленное стремленіе отдать свои силы, знанія на служеніе простому люду, передъ которымъ русское образованное общество состоитъ неоплатнымъ должникомъ. Въ этомъ случаѣ русская женщина, въ лицѣ лучшихъ своихъ представительницъ, стала рука объ руку съ тѣми изъ мужчинъ, цѣлью жизни которыхъ было служеніе родинѣ, устраненіе тѣхъ препятствій, которыя, по ихъ мнѣнію, тормазили развитіе народнаго благосостоянія.

Мы остановились вкратцѣ на тѣхъ женскихъ образахъ Тургенева, которыя представляются наиболѣе обязательными по своему духовному облику и знаменуютъ собою постепенный ростъ русской женщины. Но и цѣлый рядъ другихъ женскихъ характеровъ, созданныхъ нашимъ писателемъ, привлекаетъ къ себѣ вниманіе своими прекрасными нравственными качествами. Любопытно при этомъ отмѣтить, что тургеневскія героини вообще стоятъ выше представителей мужскаго поколѣнія, которые неизмѣнно признаютъ ихъ нравственное превосходство. Сопоставляя въ своихъ романахъ мужскіе и женскіе типы, Тургеневъ цѣлымъ рядомъ иллюстрацій какъ бы старается доказать мысль, вложенную имъ въ уста Соломина, о томъ, что вообще русскія женщины дальнѣе, выше мужчинъ. Въ этомъ отношеніи Тургеневъ не мало способствовалъ возвышенію русской женщины въ глазахъ общества, показавъ ему, что она сплошь и рядомъ заслуживаетъ самого глубокаго, искренняго уваженія и удивленія передъ ея незаурядными нравственными силами. Съ особенною нѣжностью и мастерствомъ изображаетъ Тургеневъ пробужденіе любви въ женскомъ сердцѣ. Дѣвушка полюбила—это обычная тема его произведеній, но какъ при этомъ умѣетъ онъ одухотворить, облагородить чувство своихъ героинь! Любовь у большинства изъ нихъ чужда эгоистичной окраски; мечты о счастьи съ любимымъ человѣкомъ почти всегда идутъ у нихъ параллельно съ пробужденіемъ въ душѣ лучшихъ, возвышенныхъ настроеній, которыя нерѣдко отодвигаютъ на второй планъ вопросы чисто личнаго благополучія. И читатель невольно преклоняется передъ этими характерами, умѣющими возвыситься надъ окружающей пошлостью, сохранить въ душѣ, несмотря на тяжелыя условія личной и общественной жизни, лучшія движенія человѣческаго сердца.

Мы окончили разсмотрѣніе важнѣйшихъ произведеній и типовъ, созданныхъ Тургеневымъ. Разборъ ихъ въ связи съ условіями русской общественной жизни 40-хъ—70-хъ годовъ показалъ, насколько Тургеневъ былъ дѣйствительно „ловцомъ момента“ и, благодаря необыкновенной чуткости къ возникавшимъ новымъ теченіямъ въ нашемъ обществѣ, умѣлъ воспроизвести нарождавшіеся типы прежде, чѣмъ они

успѣли вполнѣ опредѣлиться въ сознаніи массы. Вслѣдствіе этого его произведенія не могли не оказывать могущественнаго воздѣйствія на текущую жизнь, содѣйствуя выработкѣ новыхъ общественныхъ настроеній. Съ другой стороны, такіе образы, какъ Рудинъ, Лаврецкій и другіе представители „лишнихъ людей“, давали обильный матеріалъ для подведенія итоговъ дѣятельности прошлаго поколѣнія, людей роковыхъ годовъ, уступившихъ мѣсто представителямъ другихъ идеаловъ. Поэтому творчество Тургенева служитъ незамѣнимымъ матеріаломъ для исторіи русской общественной жизни въ самые важные періоды ея развитія въ XIX-мъ столѣтіи.

Съ Тургенева рѣзко обозначается поворотъ въ отношеніи западно-европейскихъ писателей и общества къ русской литературѣ. Не то, чтобы до Тургенева на Западѣ не были знакомы съ такими нашими поэтами, какъ Гоголь, Пушкинъ и Лермонтовъ, но они, въ силу преобладающей у двухъ послѣднихъ стихотворной формы, много теряющей при передачѣ на другой языкъ, а главное, вслѣдствіе своеобразнаго, чисто русскаго содержанія, являвшагося отраженіемъ родной бытовой жизни, столь отличавшейся отъ жизни западныхъ сосѣдей, не были оцѣнены по достоинству. Не то было съ Тургеневымъ. Блестящая художественная форма, разнообразное, живое содержаніе, согрѣтое мягкимъ свѣтомъ высокихъ гуманныхъ идей, являющихся святыней всего культурнаго человѣчества, сразу поставили его на высокій пьедесталъ въ западной Европѣ. Его сочиненія не только заслужили лестный отзывъ лучшихъ представителей литературнаго міра и вызывали къ себѣ живой интересъ читателей, но и служили своего рода образцами, которымъ подражали представители натурализма во французской литературѣ. Вліяніе на нихъ Тургенева не подлежитъ сомнѣнію. Такіе писатели, какъ Мопассанъ, Золя, Флоберъ, Гонкуры, выработали свои эстетическіе взгляды, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ нѣкоторые изъ нихъ, въ значительной степени подъ вліяніемъ бесѣдъ съ Тургеневымъ и его произведеній.

Если къ сказанному прибавить, что всѣ произведенія Тургенева проникнуты удивительной человѣчностью, охватывающей душу читателя, что онъ является однимъ изъ величайшихъ стилистовъ не только въ русской, но и въ западно-европейской литературѣ, что имъ открыты такія чарующія по силѣ изобразительности и выразительности свойства русскаго языка, какихъ до него никто и не подозрѣвалъ въ немъ; если, затѣмъ, имѣть въ виду его единственное въ своемъ родѣ мастерство писать природу, которая прямо оживаетъ подъ его перомъ, то будетъ понятно, что мы имѣемъ дѣло съ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ поэтовъ, который заслуживаетъ тщательнаго и вдумчиваго изученія.

И. А. Гончаровъ.

Условія жизни Гончарова, способствовавшія изученію провинціальнаго общества. Отличительныя черты его таланта.

Въ 1847-мъ году, когда появился въ печати первый разсказъ Тургенева изъ „Записокъ охотника“, выступилъ на литературное поприще со своимъ романомъ: „Обыкновенная исторія“ другой замѣчательный писатель, Иванъ Александровичъ Гончаровъ (1812—1891 г.), принадлежавшій, какъ и Тургеневъ, въ плеядѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Три его романа: „Обыкновенная исторія“, „Обломовъ“, и „Обрывъ“, особенно два послѣднихъ, даютъ обильный матеріалъ для изученія настроенія русскаго общества въ сороковые и пятидесятые, а также отчасти и шестидесятые годы.

Условія личной жизни Гончарова сложились такимъ образомъ, что онъ одинаково мало наблюдалъ какъ низшій слой, народную среду, такъ и выспее, аристократическое общество, но за то прекрасно изучилъ средній, главнымъ образомъ, помѣщичій классъ. По его собственному признанію, онъ почти вовсе не зналъ быта и нравовъ крестьянъ, условій ихъ жизни, хозяйства. Крестьянскій міръ ему приходилось наблюдать „больше изъ вагона желѣзной дороги“ или же знакомиться съ нимъ изъ художественныхъ и другихъ очерковъ русскихъ писателей. Изъ народной среды Гончаровъ имѣлъ возможность изучить только одну группу лицъ—типы дореформенной прислуги, которые онъ увѣковѣчилъ въ своихъ произведеніяхъ. Не больше, чѣмъ простой народъ, доступенъ былъ наблюденію Гончарова и высшій кругъ современнаго общества. Оттого такъ неудачна вышла его попытка изобразить этотъ кругъ въ лицѣ Бѣловодовой и ея тетушекъ въ „Обрывѣ“.

Но чуждый жизни двухъ крайнихъ полюсовъ русскаго общества, онъ очень хорошо узналъ бытъ, нравы и характеры средняго провинціальнаго класса, къ которому онъ принадлежалъ по рожденію, а, главное, провелъ въ немъ не мало годовъ своей жизни. Происходя изъ купеческой среды, Гончаровъ однако былъ лишенъ возможности наблюдать характерныя особенности быта этого сословія въ такомъ видѣ, какъ онѣ отразились, напримѣръ, въ творчествѣ Островскаго. Объясняется это тѣмъ, что семья Гончаровыхъ, по своему складу жизни и понятій, приближалась скорѣе къ помѣщичьей средѣ, чѣмъ къ русскому купечеству. Общій строй жизни этой среды, судя по вспоминаніямъ Гончарова, былъ почти тождественъ съ тѣмъ, что онъ видѣлъ вокругъ себя въ раннемъ дѣтствѣ, когда его наблюденію были доступны наиболѣе культурные обыватели захолустнаго провинціальнаго города,

среди которыхъ попадались и представители помѣщичьяго класса. Съ этими послѣдними сталкивался онъ и въ годы ученія за Волгой, въ пансіонѣ одного священника, гдѣ воспитывались дѣти богатѣйшихъ семей провинціальнаго дворянства. Такъ еще въ раннемъ дѣтствѣ былъ доступенъ наблюденію Гончарова этотъ классъ русскаго общества, который потомъ нашелъ себѣ яркое отраженіе въ его творчествѣ. Цѣлый годъ жизни на родинѣ по окончаніи Московскаго университета значительно дополнилъ и осмыслилъ безсознательныя дѣтскія впечатлѣнія, а многолѣтнее пребываніе въ Москвѣ и особенно Петербургѣ дало обширное поле для наблюденія тѣхъ измѣненій, какимъ подвергался воспитанный въ провинціальной атмосферѣ жизни и понятій русскій баринъ, попавшій въ другой круговоротъ идей и жизненныхъ условій.

Изъ сказаннаго видно, что условія жизни Гончарова вполнѣ благопріятствовали накопленію разнообразныхъ и многочисленныхъ впечатлѣній, которыя послужили богатымъ матеріаломъ для его творчества. Не смотря на то, что впечатлѣнія эти исходили въ сущности отъ одной общественной группы—провинціальнаго дворянства, тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе разнообразія отдѣльныхъ типовъ, принадлежавшихъ къ этому общественному слою, въ романахъ Ганчарова передъ нами проходитъ цѣлая вереница образовъ, мужскихъ и женскихъ, характеризующихъ тѣ періоды русской жизни, какіе нашли въ нихъ свое отраженіе.

Какъ же рисовалъ Гончаровъ эту жизнь, какъ отразилась она въ его творческомъ воображеніи? Этотъ вопросъ приводитъ насъ къ разсмотрѣнію характерныхъ особенностей таланта Гончарова, которыми обусловливается какъ его манера изображенія современной ему дѣйствительности, такъ отчасти и содержаніе той картины жизни, какую мы находимъ въ его романахъ.

Подобно Тургеневу, Гончаровъ принадлежитъ къ тѣмъ авторамъ, у которыхъ, говоря терминомъ Бѣлинскаго, талантъ, главнымъ образомъ, описательный. Это значитъ, что его перу доступно изображеніе только той жизни и типовъ, какіе онъ могъ достаточно наблюдать. Въ концѣ своего очерка: „Лучше поздно, чѣмъ никогда“, гдѣ онъ раскрываетъ внутренній смыслъ трехъ своихъ романовъ, онъ самъ указываетъ на эту особенность своего таланта: „Чего я не видалъ, не наблюдалъ, чѣмъ не жилъ, то не доступно моему перу“, говоритъ онъ: „...я писалъ только то, что переживалъ, что мыслилъ, чувствовалъ, что любилъ, что близко видѣлъ и зналъ, словомъ, писалъ и свою жизнь, и то, что къ ней приростало“.

Вмѣстѣ съ тѣмъ талантъ Гончарова былъ такого свойства, что требовалъ, для успѣшнаго хода творчества, долгихъ наблюденій надъ установившимися, вылившимися въ законченный видъ явленіями. По его мнѣнію, писать съ жизни еще не сложившейся, гдѣ формы не устоялись, лица ненаслоились въ типы, въ высшей степени трудно, вѣрнѣе, невозможно. Этой особенностью таланта автора „Обломова“ объясняется, почему онъ подолгу и съ любовью останавливается на уже завершившихъ свой кругъ развитія формахъ жизни, на тѣхъ сторонахъ ея, которыя являются прошлымъ для его эпохи, а въ переходныхъ типахъ, какъ молодой Адуевъ, Райскій, наиболѣе ярко оттѣняетъ тѣ черты, которыя ставятъ ихъ въ непосредственную связь съ прошлымъ. По той же причинѣ люди будущаго, жизнь которыхъ „еще трепещетъ въ процессѣ броженія“, какъ напримѣръ, Штольцъ, Маркъ Волоховъ и Ту-

шинъ, такъ блѣдно имъ очерчены, что кажутся своего рода призраками въ сравненіи съ поражающими своей пластичностью представителями стараго вѣка.

При этомъ его талантъ чуждъ способности проникать въ глубь изображаемыхъ явленій, вскрывать путемъ анализа ихъ сущность и значеніе; но онъ силенъ другимъ—умѣніемъ воспроизвести жизнь во всемъ ея внѣшнемъ разнообразіи и полнотѣ. Вслѣдствіе этого у Гончарова преобладаетъ необыкновенная пластичность изображенія, обрисовка едва уловимыхъ деталей, мелочей, ускользающихъ отъ взора поверхностнаго наблюдателя, но имѣющихъ огромное значеніе для того, кто вдумчиво относится къ жизни. Вотъ одна изъ многочисленныхъ сценъ, характеризующихъ въ этомъ отношеніи художественную манеру Гончарова. Описывается отъѣздъ молодого Адуева изъ родного гнѣзда. Несмотря на то, что центръ тяжести здѣсь заключается въ изображеніи самой разлуки, Гончаровъ не упускаетъ случая разсказать о томъ, какъ „коренная безпрестанно поднимала и трясла голову. Колокольчикъ издавалъ всякій разъ при этомъ рѣзкій звукъ, напоминающій о разлукѣ, а пристяжныя стояли, задумчиво опустивъ головы, какъ будто понимая всю прелесть предстоящаго имъ путешествія, и изрѣдка обмахивались хвостами или протягивали нижнюю губу къ коренной лошади“ и т. д. Другой примѣръ. Описываетъ авторъ комнату, въ которой живетъ Илья Ильичъ Обломовъ. Онъ не приминетъ обратить вниманіе читателя на осѣвшій задокъ дивана, на паутину въ видѣ фестоновъ по угламъ, на забытое на диванѣ полотенце, на неубранную отъ вчерашняго ужина тарелку съ солонкой и обглоданной косточкой и цѣлый рядъ другихъ мелкихъ подробностей.

Первое время при чтеніи произведеній Гончарова эта тончайшая отдѣлка деталей производитъ нѣсколько непріятное впечатлѣніе; кажется, безъ всего этого можно было бы обойтись безъ всякаго ущерба для общаго впечатлѣнія. Но мало по малу именно эти подробности производятъ какое-то обаятельное дѣйствіе: картина, рисуемая авторомъ, захватываетъ васъ всецѣло, вы не можете отдѣлаться отъ нея, она стоитъ предъ глазами, вамъ хочется думать о ней, разобраться въ ея внутреннемъ смыслѣ. Таково значеніе этихъ съ перваго раза кажущихся лишними подробностей.

Этимъ умѣніемъ вырисовывать съ удивительной тщательностью едва уловимыя детали изображаемой жизни Гончаровъ напоминаетъ величайшаго представителя эпическаго творчества—безсмертнаго автора „Иліады“ и „Одиссеи“. Подобно Гомеру, онъ выдвигаетъ въ своихъ произведеніяхъ множество такъ называемаго эпическаго матеріала, даетъ тонкую, художественную обрисовку бытовой стороны жизни, костюмовъ, наружности, жилищъ и т. п. Онъ не гоняется за потрясающими сценами, необыкновенными характерами, равнодушно проходитъ мимо яркихъ эфектовъ; его вниманіе, наоборотъ, привлекаетъ все обыденное, заурядное, будничное.

Наконецъ трезвое, спокойное отношеніе его къ жизни, чуждое всякаго пессимизма, проникнутое широкой гуманностью, добродушный юморъ,—всѣ эти черты таланта Гончарова успокаивающимъ образомъ дѣйствуютъ на читателя и доставляютъ ему глубокое эстетическое наслажденіе, давая въ то же время обильный матеріалъ для изученія жизни русскаго общества.

Дореформенная консервативная помѣщичья жизнь въ изображеніи Гончарова.

Чтобы лучше обозрѣть нарисованную Гончаровымъ въ его трехъ романахъ картину жизни, мы обратимся къ тѣмъ указаніямъ, какія даетъ намъ для классификаціи созданныхъ имъ образовъ самъ авторъ. Исходя изъ этихъ указаній, но видоизмѣнивъ ихъ нѣсколько, мы соберемъ воедино основныя черты, характерныя для отдѣльныхъ группъ созданныхъ имъ образовъ, чтобы такимъ путемъ возстановить „гончаровскую Русь".

Въ очеркѣ: „Лучше поздно, чѣмъ никогда" Гончаровъ распредѣляетъ на три группы главнѣйшія дѣйствующія лица своихъ романовъ. Одни изъ нихъ, по его словамъ, отражаютъ праздную, мечтательную и аффектаціонную сторону старыхъ нравовъ съ обычными порывами юности къ высокому, великому, изящному, къ эффектамъ, и столкновеніе ихъ съ новыми вѣяніями—трезвымъ сознаніемъ необходимости дѣла, которое только что начало нарождаться въ сороковые годы; другіе, какъ Обломовъ, являются воплощеніемъ сна, застоя, неподвижной, мертвой жизни; третьи, наконецъ, какъ Штольцъ, Вѣра, характеризуютъ собою эпоху пробужденія русскаго общества. Но такая классификація неудобна въ томъ отношеніи, что не охватываетъ такіе типы, какъ бабушка изъ „Обрыва", родители Обломова, мать Адуева и нѣк. др. Поэтому будетъ проще, для удобства обзора русской жизни, изображенной въ романахъ Гончарова, разсмотрѣть созданные имъ типы нѣсколько въ иной группировкѣ; къ одному отдѣлу мы отнесемъ тѣ изъ нихъ, въ которыхъ наиболѣе ярко отразились черты старой помѣщичьей жизни, основанной на крѣпостномъ строѣ; во второй группѣ разсмотримъ типы переходные, которые естественнымъ образомъ распредѣляются, въ свою очередь, на двѣ категоріи; въ однихъ изъ нихъ преобладаютъ черты старины, отъ которой они не могутъ отдѣлаться и гибнутъ жертвой ея, другіе въ большей или меньшей степени умѣли освободиться отъ ея вліянія; наконецъ, въ третій отдѣлъ войдутъ лица, совершенно независимыя отъ традицій прошлаго, въ полномъ смыслѣ слова „новые люди". Если пріурочить нашу группировку къ хронологическимъ даннымъ, перевести ее на языкъ цифръ, то первый отдѣлъ будетъ соотвѣтствовать дореформенной помѣщичьей жизни, какъ текла она въ 30-е и 40-е годы, а въ наиболѣе консервативныхъ семьяхъ и въ пятидесятые; представители второй группы—это герои пробужденія русскаго общества въ 40-е годы; третья группа охватываетъ собою новыхъ людей отчасти 40-хъ, а главнымъ образомъ, конца пятидесятыхъ и 60-хъ годовъ.

Во всѣхъ трехъ романахъ Гончарова читатель находитъ множество матеріала для характеристики жизни и типовъ старой дореформенной, консервативной Руси; но изображеніе этой жизни достигло высшаго совершенства, по яркости красокъ и широтѣ захвата, въ знаменитомъ „Снѣ Обломова", откуда мы и будемъ, главнымъ образомъ, черпать нужныя намъ данныя.

Жизнь эта поражаетъ, прежде всего, удивительнымъ застоемъ, неподвижностью мысли, отсутствіемъ всякихъ идейныхъ запросовъ. „Норма жизни была готова и преподана... родителями, а тѣ приняли ее, тоже готовую, отъ дѣдушки, а дѣдушка отъ прадѣдушки, съ завѣтомъ блюсти ея цѣлость и неприкосновенность, какъ огонь

Весты. Какъ это дѣлалось при дѣдахъ и отцахъ, такъ дѣлалось при отцѣ Ильи Ильича, такъ, можетъ быть, дѣлается еще и теперь въ Обломовкѣ". Духовная косность, нежеланіе сколько-нибудь пошевелить мозгами хотя-бы въ интересахъ своего матеріальнаго существованія доходитъ до того, что люди эти не знаютъ даже, какъ идетъ ихъ хозяйство, сколько у нихъ крестьянъ, какія получаются доходы, и всякій разъ выходятъ изъ себя, когда, силою обстоятельствъ, имъ приходится въ той или иной формѣ нарушить свой умственный сонъ. Это, по справедливому замѣчанію В. П. Острогорскаго (Этюды о русскихъ писателяхъ. И. А. Гончаровъ), какой то поразительный эгоизмъ сознанія полнѣйшей и вѣчной обезпеченности на чужой счетъ, безъ малѣйшей мысли о своей естественной связи съ кормящимъ ихъ людомъ, а тѣмъ менѣе съ обществомъ, государствомъ, человѣчествомъ.

На ряду съ полной духовной инертностью и спячкой стоитъ отсутствіе у нихъ всякаго сколько-нибудь производительнаго труда. Свободное отъ ѣды и сна время у отца Обломова наполнено праздникъ сидѣніемъ у окна да покрикиваніемъ ради развлеченія на проходящую мимо прислугу. А какой безысходной скукой, вслѣдствіе полнаго бездѣлія и отсутствія какихъ бы то ни было духовныхъ интересовъ, вѣетъ отъ препровожденія времени въ Обломовкѣ зимнимъ вечеромъ, который съ такимъ мастерствомъ описанъ въ „Снѣ Обломова"! Единственно, что занимало этихъ людей, погрязшихъ въ чисто животномъ существованіи, чѣмъ, до нѣкоторой степени, наполнялась ихъ праздная жизнь,—это забота о ѣдѣ, которая была первой и главной ихъ жизненной заботой. Цѣлый семейный совѣтъ устраивался для составленія меню обѣда, всякое мнѣніе принималось въ соображеніе, точно рѣшался вопросъ первостепенной важности. Человѣчество въ ихъ сознаніи рѣзко дѣлилось на двѣ группы: одни—„люди" должны неустанно работать, всю жизнь, нести тяжелый трудъ, чтобы обезпечить этимъ беззаботное существованіе другой, изобранной половинѣ рода человѣческаго—господамъ. Трудъ самый ничтожный считался несовмѣстимъ со званіемъ барина; эта мысль съ раннихъ лѣтъ внушалась молодому поколѣнію. Иногда ребенокъ вздумаетъ сдѣлать что-нибудь для себя, какъ тотчасъ въ нѣсколько голосовъ твердятъ ему, что это не барское дѣло, что для этого существуютъ слуги, которымъ кстати достанется за невнимательное отношеніе къ господскому дитяти. Никому и въ голову не приходило, что гдѣ-то есть другая жизнь, полная разумной, кипучей дѣятельности, широкихъ умственныхъ и нравственныхъ интересовъ, посвященная захватывающей идейной работѣ. Духовная спячка и бездѣлье, обезпечиваемыя даровымъ крестьянскимъ трудомъ, полновластно царили надъ этой полосой старой русской жизни.

Но, конечно, не только этотъ застой можно было наблюдать въ помѣщичьемъ кругу добраго стараго времени. Попадались въ немъ и дѣятельныя натуры, энергія которыхъ не могла быть подавлена господствовавшимъ строемъ жизни и понятій; но она, по большей части, какъ это мы видимъ, напримѣръ, въ бабушкѣ въ „Обрывѣ", направлялась исключительно на узкую сферу хозяйственной дѣятельности.

Такова, въ общихъ чертахъ, та старая консервативная русская жизнь, которая нашла себѣ отраженіе въ романахъ Гончарова и особенно въ „Снѣ Обломова".

Наиболѣе законченнымъ положительнымъ типомъ, выдвинутымъ этой жизнью, у Гончарова является Татьяна Марковна Бережкова, бабушка Райскаго. Создавая этотъ образъ, Гончаровъ, по его собственному признанію, писалъ его съ русской старой хорошей женщины добраго стараго времени.

Одной изъ наиболѣе бросающихся въ глаза особенностей ея, какъ характерной представительницы господствовавшихъ понятій дореформенной дворянской жизни, является консерватизмъ, вѣрность установившимся принципамъ, безсознательная боязнь всего новаго. „Бабушка говоритъ языкомъ преданій, сыплетъ пословицы, готовыя сентенціи старой мудрости". Если ей въ какихъ-нибудь новыхъ, неожиданныхъ случаяхъ жизни приходилось отступать отъ освященныхъ традиціями прошлаго порядковъ, она приходила въ смущеніе и безпокойно старалась оправдать свои отступленія, отыскивая что-нибудь подобное въ прошломъ. Такимъ образомъ, она живое олицетвореніе старины. Вѣрная ея замкнутой, родовой обособленности, она знать не хочетъ другой жизни, сколько-нибудь отличной отъ той, какую вели ея предки; „горизонтъ ея кончается съ одной стороны полями, съ другой—Волгой и ея горами, съ третьей—городомъ, а съ четвертой—дорогой въ міръ, до котораго ей дѣла нѣтъ".

Родовые и сословные интересы у нея стоятъ на первомъ планѣ. Она, напримѣръ, горько сокрушается о томъ, что ея внукъ собирается сдѣлаться артистомъ или „приказнымъ", ибо это, по ея понятіямъ, унизило бы его родъ. Единственнымъ достойнымъ дворянина поприщемъ она считаетъ военную службу и желала-бы видѣть внука не въ „короткохвостомъ сюртучишкѣ", а въ эполетахъ, какъ дядю Сергѣя Ивановича.

Авторитетъ старшихъ, въ глазахъ бабушки, есть святыня; не повиноваться ему значитъ, по ея мнѣнію, итти къ погибели. Марѳинька, которая воспитана въ ея правилахъ, не смѣетъ даже мечтать о чемъ-нибудь безъ разрѣшенія бабушки. Это ревнивое охраненіе авторитета и власти старшихъ дѣлаетъ бабушку, до нѣкоторой степени, деспотомъ, и если ея деспотизмъ не ложится тяжелымъ бременемъ на окружающихъ, то только потому, что смягчается нѣжной любовью къ нимъ.

Изобразивъ старую дореформенную жизнь и ея представителей въ помѣщичьей средѣ, Гончаровъ въ „Обрывѣ" показалъ, какія натуры наиболѣе склонны къ тому, чтобы подчиняться этой жизни и съ большей или меньшей вѣрностью хранить ея завѣты. Это—Марѳинька и Викентьевъ. Чета эта не безпокоитъ бабушки. Ей извѣстно, что они „изъ послушанія ея не выйдутъ и будутъ жить, какъ она укажетъ". И бабушка въ этомъ случаѣ не ошибается. Марѳинька и ея женихъ принадлежатъ къ тѣмъ натурамъ, которыя съ самаго рожденія оказываются вполнѣ приспособленными къ окружающей ихъ дѣйствительности, удовлетворяются тѣмъ, что она можетъ дать имъ, невольно проникаются господствующими идеями и не пытаются передѣлать ея застывшихъ, опредѣленныхъ формъ. „Русскія Марѳиньки и Викентьевы никогда не ослушаются бабушки". Они будутъ жить по ея указкѣ, покорно слѣдуя ея завѣтамъ, не чувствуя потребности въ идеалахъ новаго счастья, не томясь жизнью въ своей средѣ. Это—представители толпы, большинство, которое всегда консервативно и уже по этому одному останется вѣрнымъ тѣмъ завѣтамъ, которые переданы ему старшимъ поколѣніемъ.

Картина дореформенной консервативной дворянской жизни, какъ она отразилась въ твореніяхъ Гончарова, была бы неполной, если бы мы не остановились на

одной чертѣ этой эпохи, неоднократно выдвигаемой авторомъ въ созданныхъ имъ образахъ. Мы уже отчасти знакомы съ нею изъ разсмотрѣнія тургеневскихъ людей сороковыхъ годовъ, но только отчасти, потому что тамъ, у лучшихъ представителей эпохи, она не носила того пошловатаго оттѣнка, какой приходится наблюдать въ герояхъ Гончарова. Это—одна изъ разновидностей романтизма, который, начиная съ двадцатыхъ годовъ прошлаго столѣтія, довольно широко распространился по Россіи.

Имѣя очень мало общаго съ тѣмъ широкимъ освободительнымъ движеніемъ, направленнымъ противъ отжившихъ старыхъ идеаловъ, какимъ былъ романтизмъ у лучшихъ представителей его на Западѣ, какъ Беранже, Байронъ, Гюго, Гейне, нашъ русскій отголосокъ его отличался неглубокимъ, не шедшимъ дальше громкой фразы характеромъ, не дававшимъ пищи уму и только разжигавшимъ чувствительность и фантазію; онъ отрывалъ мысль отъ дѣйствительной жизни, не налагая никакихъ нравственныхъ обязательствъ, освобождая отъ всякаго производительнаго труда. Содержаніе его очень несложно: на первомъ планѣ стоитъ презрительное отношеніе къ прозѣ жизни, культъ чувства дружбы и любви съ очень сильной эгоистической окраской, сантиментальная восторженность, склонность ко всякаго рода плѣняющимъ воображеніе и чувство мечтамъ, безъ малѣйшаго усилія осуществить ихъ, такое же стремленіе къ славѣ, которую хочется завоевать сразу, безъ всякаго труда, наконецъ, любовь къ изящнымъ искусствамъ, даже попытки творить что-нибудь, особенно въ области поэзіи. Это настроеніе безъ труда могло развиваться тамъ, гдѣ, какъ у насъ въ крѣпостную пору, люди были свободны отъ всякой разумной дѣятельности и лишены трезвой пищи для ума и чувства. Неудивительно поэтому, что во всѣхъ трехъ романахъ Гончаровъ изображаетъ этотъ россійскій романтизмъ, взлелѣянный на почвѣ крѣпостного права. „Обыкновенная исторія“, въ лицѣ молодого Адуева, имѣетъ въ виду, главнымъ образомъ, выставить на видъ собранныя въ одномъ образѣ характерныя особенности этого настроенія, но отдѣльныя черты его мы находимъ и у стараго поколѣнія, фигурирующаго въ творчествѣ нашего писателя. Такъ, въ качествѣ эпизодической вставки въ „Обыкновенной исторіи“ мы находимъ письмо одной изъ тетокъ молодого Адуева, адресованное къ его дядѣ, въ которомъ она почти черезъ 20 лѣтъ предается сладостнымъ воспоминаніямъ о томъ, какъ онъ съ опасностью для жизни и здоровья влѣзъ въ воду и досталъ для нея росшій въ тростникѣ большой желтый цвѣтокъ, все время хранившійся съ тѣхъ поръ въ ея книжкѣ, какъ священная реликвія. Тѣмъ же романтизмомъ вѣетъ отъ трогательныхъ отношеній бабушки и Тита Никоныча въ „Обрывѣ“. Вліяніе его нужно ...ѣть и въ рѣшеніи бабушки прибѣгнуть для вразумленія Вѣры къ семейному ...ію сантиментальнаго романа, и т. п.

Гораздо полнѣе, вѣрнѣе, въ болѣе сконцентрированномъ видѣ, изобразилъ Гончаровъ русскій романтизмъ въ молодомъ поколѣніи своихъ героевъ, въ которыхъ преобладаютъ однако черты старины, какъ Адуевъ, Обломовъ, Райскій. Приведемъ два—три наиболѣе характерныхъ примѣра. Александръ Адуевъ уѣзжаетъ въ Петербургъ. Уже наступила послѣдняя минута отъѣзда, какъ вдругъ во дворъ влетаетъ запряженная тройкой телѣга: то другъ Александра прискакалъ за 100 верстъ, чтобы сказать ему послѣднее прости. „Другъ, истинный, другъ,—восклицаетъ Александръ со слезами на глазахъ,—о, есть дружба въ мірѣ! На вѣкъ, не правда ли“,

пылко продолжалъ онъ, стискивая руку друга и наскакивая на него. „До гробовой доски,—отвѣчалъ тотъ, тиская руку еще сильнѣе и наскакивая на Александра". Въ этомъ юмористическомъ описаніи прощанія двухъ друзей сразу чуется нѣкоторая утрировка, аффектація чувства дружбы. То же замѣчается и въ неоднократныхъ разглагольствованіяхъ Адуева на эту тему, когда онъ, напримѣръ, называетъ дружбу священнымъ чувствомъ, упавшимъ какъ будто нечаянно съ неба въ земную грязь, вторымъ провидѣніемъ. Такое-же восторженное отношеніе проявляетъ онъ и къ чувству любви и ко всякаго рода „вещественнымъ знакамъ невещественныхъ отношеній", какъ, напримѣръ, колечко и прядь волосъ обожаемой дѣвушки. Любовь, по его мнѣнію, доставляетъ величайшее счастье въ мірѣ. По мѣткому замѣчанію его дяди, если бы во власти молодого Адуева было перестроить міръ, то у него повсюду среди розовыхъ кустовъ гуляли влюбленные и друзья. Мечтаетъ онъ „о колоссальной страсти, которая не знаетъ никакихъ преградъ", о громкихъ подвигахъ, о славѣ. Точь въ точь такія же мечты посѣщаютъ и Райскаго и Обломова. Послѣдній, напримѣръ, любитъ, вообразить себя иногда какимъ-нибудь непобѣдимымъ полководцемъ, передъ которымъ не только Наполеонъ, но и Еруслань Лазаревичъ ничего не значитъ... Или избереть онъ арену мыслителя, великаго художника: всѣ поклоняются ему, онъ пожинаетъ лавры".

Еще болѣе бросаются въ главѣ черты русскаго романтизма въ томъ идеалѣ жизни, который рисуетъ Обломовъ Штольцу въ началѣ второй части романа. Тутъ и сантиментально-нѣжныя отношенія между супругами съ составленіемъ букетовъ для жены, совмѣстными прогулками обнявшись по темной аллеѣ, мечтами вслухъ, и идиллическая дружба съ сосѣдями, и наслажденіе музыкой, поэзіей, природой; и надъ всѣмъ этимъ царитъ полный покой, не нарушаемый ни трудами, ни заботами о завтрашнемъ днѣ.

Такова романтическая струя русской помѣщичьей жизни, насколько она отразилась въ произведеніяхъ Гончарова. Нельзя не признать, что этотъ романтизмъ былъ очень мало похожъ на то литературно-общественное движеніе, какое было извѣстно подъ этимъ именемъ въ первую половину XIX-го вѣка въ западной Европѣ. Наше общество было слишкомъ мало подготовлено къ тому, чтобы воспринять лучшую его сторону. Поэтому, какъ справедливо замѣтилъ одинъ русскій писатель, „все это море идей, выступившихъ послѣ долгой внутренней работы изъ общественнаго сознанія Европы, въ своемъ широкомъ разливѣ, плеснуло случайной волной и къ нашему берегу и, какъ это бываетъ у береговъ, нагромоздило много песку и тины".

Обломовъ, какъ герой переходной эпохи.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію второй группы типовъ, созданныхъ Гончаровымъ. Это герои такъ называемой переходной эпохи, эпохи пробужденія. Одни изъ нихъ въ большей степени, другіе въ меньшей носятъ на себѣ слѣды вліянія старой русской жизни, о которой шла рѣчь выше. Здѣсь на первомъ планѣ долженъ быть поставленъ знаменитый Илья Ильичъ Обломовъ, одинъ изъ наиболѣе замѣчательныхъ въ русской художественной литературѣ образовъ, какъ по удивительной

яркости и правдивости изображенія, такъ и по тому огромному значенію, какое онъ имѣетъ для пониманія дореформенной русской жизни.

Образъ Обломова создался не сразу. Глава: „Сонъ Обломова“ въ видѣ отдѣльнаго этюда появилась въ печати въ приложеніи къ журналу: „Современникъ“ въ 1849-мъ году, и только черезъ девять лѣтъ былъ напечатанъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ весь романъ. Понадобился промежутокъ времени около десяти лѣтъ, чтобы задуманный художникомъ поразительный по своему захвату синтезъ русской жизни принялъ, наконецъ, тотъ видъ, въ какомъ его знаетъ вся читающая Россія.

Появленіе „Обломова“ въ печати совпало съ могущественнымъ подъемомъ духа въ русскомъ обществѣ наканунѣ „эпохи великихъ реформъ“, когда повсюду раздавался протестъ противъ отжившаго общественнаго строя, противъ мертваго застоя, въ какомъ находилась до тѣхъ поръ наша жизнь. Своимъ романомъ Гончаровъ, давши въ немъ единственное по широтѣ захвата художественное обобщеніе барской дореформенной Россіи, помогъ сразу разгадать, въ чемъ коренились главнѣйшія причины неподвижности и апатіи нашего общества. Его романъ представляетъ богатѣйшія данныя для изученія вліянія крѣпостного строя на духовный складъ русскихъ помѣщиковъ и даетъ обильный матеріалъ для сужденія о русской жизни вообще. Чтобы уяснить себѣ это громадное значеніе гончаровскаго „Обломова“, нужно подробнѣе остановиться на анализѣ характера главнаго героя романа, типичнаго представителя эпохи „пробужденія“ русскаго общества въ сороковые годы.

Мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ, который по своему умственному развитію, способности интенсивно мыслить и глубоко чувствовать, умѣнію понимать жизнь, рѣзко выдѣляется въ окружающей его средѣ. Въ молодости, въ студенческіе годы, онъ „сгоралъ отъ жажды труда, далекой, но обаятельной цѣли“, былъ полонъ желаніемъ „блага, доблести, дѣятельности“, развивался подъ благотворнымъ вліяніемъ научной мысли—изучалъ право, политическую экономію, осиливалъ съ учителемъ математики круги и квадраты, занимался переводами съ англійскаго, мечталъ даже о дальнѣйшемъ ученіи въ германскихъ университетахъ. Онъ упивался поэтами, волновался, плакалъ надъ ними, постоянно твердилъ: „вся жизнь есть мысль“ и строилъ планы реформъ ея. „Ему доступны были наслажденія высокихъ помысловъ; онъ не чуждъ былъ всеобщихъ человѣческихъ скорбей. Онъ горько въ глубинѣ души плакалъ въ иную пору надъ бѣдствіями человѣчества“. Случалось, что онъ, „исполнялся презрѣніемъ къ людскому пороку, ко лжи, къ клеветѣ, къ разлитому въ мірѣ злу и разгорался желаніемъ указать человѣку на его язвы“. Яснѣе, чѣмъ кто-нибудь, понималъ онъ всю безтолочь и пустоту свѣтской жизни, гдѣ на первомъ планѣ „вѣчная игра дрянныхъ страстишекъ, особенно жадности, перебиваніе другъ у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки другъ другу“. Когда Штольцъ пытается указать привлекательныя стороны общественной жизни, онъ съ горечью замѣчаетъ: „хороша жизнь! Чего тамъ искать? интересовъ ума, сердца? Ты посмотри, гдѣ центръ, около котораго вращается все это: нѣтъ его, нѣтъ ничего глубокаго, задѣвающаго за живое. Все это мертвецы, спящіе люди, это члены свѣта и общества. Что водитъ ихъ

въ жизни?... Войдешь въ залу и не налюбуешься, какъ симметрически разсажены гости, какъ смирно и глубокомысленно сидятъ за картами. Нечего сказать—славныя задачи жизни!... Собираются на обѣдъ, на вечеръ, какъ въ должность, безъ веселья, холодно, чтобы похвастать поваромъ, салономъ и потомъ подъ рукой осмѣять, подставить ногу идинъ другому". Ему противны люди, имѣющіе всю свою жизнь одно желаніе: „сбить съ ногъ другого и на его паденіи выстроить зданіе своего благосостоянія", готовые по пять лѣтъ сидѣть и вздыхать въ пріемной, лишь бы добиться своихъ мелкихъ, корыстныхъ цѣлей. Не привлекаетъ его и практическая дѣятельность Штольца, имѣющая цѣлью одно наживаніе денегъ. Еще болѣе симпатичны сердечность и доброта Обломова, за которыя такъ любитъ его Штольцъ.

Казалось-бы, кому, какъ не этому человѣку, умному, образованному, съ добрымъ, отзывчивымъ сердцемъ, жить полною жизнью, на радость себѣ и другимъ. Между тѣмъ, „что-то помѣшало ему рынуться на поприще жизни и летѣть по немъ на всѣхъ парусахъ ума и воли. Какой-то тайный врагъ наложилъ на него тяжелую руку въ началѣ пути и далеко отбросилъ отъ прямого человѣческаго назначенія... Кто-то будто укралъ и закопалъ въ собственной его душѣ принесенныя ему въ даръ міромъ и жизнью сокровища". И вотъ лежитъ Илья Ильичъ цѣлые дни на диванѣ въ Петербургѣ на Гороховой улицѣ, до такой степени отвыкши отъ малѣйшаго движенія и всякой, даже ничтожной дѣятельности, что его приводитъ въ ужасъ мысль о необходимости перемѣнить квартиру и написать письмо старостѣ, завѣдующему деревенскимъ хозяйствомъ. Это лежебока, байбакъ, тунеядецъ, губящій въ себѣ всѣ лучшія начала своей хорошей натуры и, въ концѣ концовъ, умирающій медленной духовной и тѣлесной смертью. Вся исторія Обломова, какъ она развертывается передъ нами въ романѣ, есть глубоко-грустная повѣсть о томъ, какъ постепенно гибнетъ благородный, умный, симпатичный человѣкъ, самъ сознавая свою гибель и чувствуя полное безсиліе сдѣлать что-нибудь для своего спасенія.

Изображая картину постепеннаго духовнаго умиранія Обломова, его полную неприспособленность къ самой незначительной житейской борьбѣ, Гончаровъ съ полной ясностью раскрываетъ передъ нами причины духовнаго безсилія и гибели своего героя. Ключь къ пониманію характера Обломова кроется въ знаменитомъ его „Снѣ", къ анализу котораго мы теперь и приступимъ.

Самъ авторъ объяснилъ намъ значеніе этого „Сна" для пониманія характера его героя. Изобразивши съ дивнымъ комизмомъ разъясненія Обломова Захару о томъ, какая разница между нимъ, баріномъ, и „другимъ", который „работаетъ безъ устали, бѣгаетъ, суетится... а не поработаетъ, такъ и не съѣстъ", самъ на себя натягиваетъ чулки, знаетъ нужду и голодъ, Гончаровъ затѣмъ рисуетъ намъ одну изъ ясныхъ, сознательныхъ минутъ своего героя, когда передъ его духовнымъ взоромъ во весь ростъ выступаетъ его собственное нравственное ничтожество Мучительно больно становится ему „за свою неразвитость, остановку въ ростѣ нравственныхъ силъ, за тяжесть, мѣшающую всему". „Отчего же это я такой?" съ болью въ сердцѣ, почти со слезами на глазахъ спрашиваетъ себя Обломовъ. Еще неуспѣвшая вполнѣ отвыкнуть отъ работы мысль дѣятельно начинаетъ искать отвѣта на этотъ вопросъ и находитъ его. „Должно быть... это... оттого", начинаетъ

Обломовъ формулировать этотъ созрѣвшій у него въ головѣ отвѣтъ, но охватившій его сонъ не даетъ ему договорить, и, какъ это часто бываетъ, готова мысль, сложившаяся при бодрствованіи въ отвлеченной формѣ, облекается во снѣ въ живые образы. Передъ его глазами проходитъ картина его дѣтства, такъ какъ въ условіяхъ воспитанія и вліянія окружающей среды нашелъ Обломовъ отвѣтъ на мучившій его вопросъ.

Передъ нами полный здоровья, живой, наблюдательный, одаренный пытливымъ умомъ, впечатлительный ребенокъ.

Въ немъ такъ много дѣтской рѣзвости, живого темперамента, что онъ, не успѣвъ встать съ кроватки, начинаетъ шалить со своей няней. Живая натура требуетъ движенія, ищетъ выхода накопившейся энергіи, и потому, пока этотъ выходъ не найденъ, онъ всецѣло занятъ имъ. „Мы, маменька, сегодня пойдемъ гулять?“ вырывается вдругъ у него во время утренней молитвы давно вертѣвшаяся въ умѣ мысль, и онъ разсѣянно повторяетъ за матерью святыя слова, глядя въ окно, откуда мягкими волнами идетъ въ комнату манящій на волю весенній воздухъ, напоенный ароматомъ сирени. Наконецъ, онъ на дворѣ. Съ радостнымъ чувствомъ обѣжалъ онъ кругомъ родительскій домъ, попытался взлѣзть на огибавшую весь домъ висячую галлерею, чтобы взглянуть оттуда на рѣчку, но, во время остановленный старушкой-няней, бросился къ крутой лѣстницѣ, ведущей на сѣновалъ, задумалъ взобраться на голубятню, проникнуть на скотный дворъ и т. д. Это настоящая „юла“, какъ называетъ его едва поспѣвающая за нимъ няня, ребенокъ, отличающійся большой живостью, подвижностью натуры.

Но не одна рѣзвость бьетъ ключемъ въ маленькомъ Обломовѣ. „Онъ иногда вдругъ присмирѣетъ, сидя подлѣ няни, и смотритъ на все такъ пристально“. Въ дѣтскомъ умѣ его одинъ за другимъ возникаетъ рядъ вопросовъ, на которые онъ жадно ищетъ отвѣта. „Отчего это, няня, тутъ темно, а тамъ свѣтло, а ужо будетъ и тамъ свѣтло?“ пытливо спрашиваетъ онъ, замѣтивъ, что отъ деревьевъ, отъ голубятни—отъ всего побѣжали длинныя тѣни. Предоставленный самому себѣ во время всеобщаго послѣобѣденнаго сна, противъ котораго не можетъ устоять и няня, онъ „забирался въ глушь сада, слушалъ, какъ жужжитъ жукъ, и далеко слѣдилъ глазами его полетъ въ воздухѣ; прислушивался, какъ кто-то все стрекочетъ въ травѣ, искалъ и ловилъ нарушителей этой тишины; поймаетъ стрекозу, оторвьетъ ей крылья и смотритъ, что изъ нея будетъ...; съ наслажденіемъ, боясь дохнуть, наблюдаетъ за паукомъ, какъ онъ сосетъ кровь пойманной мухи, какъ бѣдная жертва бьется и жужжитъ у него въ лапахъ“ и т. д.

Такимъ образомъ, мы имѣемъ дѣло съ натурой, которая, будучи поставлена въ благопріятныя условія, могла бы достигнуть высокаго развитія своихъ душевныхъ силъ, занять видное мѣсто въ жизни.

Но точно сама судьба ополчилась противъ бѣднаго ребенка и отдала его въ жертву такому вліянію воспитанія и окружающей среды, которое настойчиво, систематически подавляло въ немъ отмѣченные только что хорошіе природные задатки и, наоборотъ, развивало вредныя для него качества. Это было воспитаніе, являвшееся продуктомъ крѣпостного строя жизни, это была среда, созданная тѣмъ же крѣпостнымъ правомъ.

Первымъ правиломъ этого воспитанія было внушеніе ребенку мысли о томъ, что онъ баринъ, что у него есть „Захаръ и еще 300 Захаровъ“ для удовлетворенія всѣхъ его нуждъ и исполненія малѣйшихъ прихотей, и что ему вовсе не нужно и даже зазорно дѣлать для себя что-нибудь самому. И потому няня, несмотря на семилѣтній возрастъ мальчика, натягиваетъ на него чулки, умываетъ его, причесываетъ голову. То же повторяется и въ 14 лѣтъ съ той только разницей, что мѣсто няни занимаетъ Захарка, „а Ильюша... только и знаетъ, что подставляетъ ему лежа то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не такъ, то онъ поддастъ Захаркѣ ногой въ носъ“. Прямымъ слѣдствіемъ такого воспитанія было подавленіе въ ребенкѣ всякой самодѣятельности, уничтоженіе въ немъ той врожденной энергіи, жажды движенія, труда, которыя живымъ ключемъ били въ немъ. Захочетъ онъ, какъ рѣзвый мальчикъ, сдѣлать что-нибудь для себя самъ, какъ отовсюду раздаются голоса, указывающіе на то, что это не барское дѣло, что для этого существуютъ Васьки, Ваньки, Захарки. „Послѣ онъ нашелъ, что оно и покойнѣе гораздо, и самъ выучился покрикивать:—Эй, Васька, Ванька, подай то, дай другое! не хоху того, хочу этого! Сбѣгай, принеси!“

Никто не думалъ о томъ, чтобы предоставленіемъ ребенку разумной свободы развивать въ немъ драгоцѣнныя качества человѣческой природы,—потребность въ дѣятельности физической и умственной. Каждый шагъ его опекался и парализовался не въ мѣру нѣжными родителями, не считавшими однако нужнымъ позаботиться о томъ, чтобы ихъ сынъ находилъ для себя въ окружающемъ здоровую умственную пищу. Какова была эта пища, какого рода отвѣты получалъ онъ на тѣ вопросы, которые роились въ его головкѣ, можно прекрасно судить по тому, что услышалъ онъ отъ няни, спросивъ ее, почему въ одномъ мѣстѣ свѣтло, а въ другомъ темно. „Оттого, батюшка,—отвѣчала,—что солнце идетъ навстрѣчу мѣсяцу и не видитъ его, такъ и хмурится, а ужо какъ завидитъ издали, такъ и просвѣтлѣетъ“. Вмѣсто того, чтобы удовлетворить должнымъ образомъ естественную любознательность ребенка, мать и няня давали волю своей необузданной фантазіи и населяли его воображеніе разсказами о какой-то невѣдомой странѣ, гдѣ нѣтъ ни ночей, ни холода, гдѣ все совершаются чудеса, гдѣ текутъ рѣки меду и молока, гдѣ никто ничего круглый годъ не дѣлаетъ, а день деньской только и знаютъ, что гуляютъ. И такъ искусно въ этихъ разсказахъ обходилось все, что существуетъ на самомъ дѣлѣ, такъ сильно вліяли они на впечатлительнаго ребенка, что „воображеніе и умъ, проникшись вымысломъ, оставались уже у него въ рабствѣ до старости“. Хоть и знаетъ взрослый Илья Ильичъ, что нѣтъ въ дѣйствительности тѣхъ чудесъ, о которыхъ онъ слыхалъ въ дѣтствѣ, все же „у него навсегда остается расположеніе полежать на печи, походить въ готовомъ незаработанномъ платьѣ, поѣсть на счетъ доброй волшебницы“, и онъ „безсознательно груститъ подчасъ, зачѣмъ сказка не жизнь, а жизнь не сказка“.

Не давая ничего, что хоть сколько-нибудь способствовало бы развитію природныхъ дарованій ребенка, окружавшая Обломова среда своимъ захватывающимъ вліяніемъ подчинила его себѣ, отравила его душу. Природная чуткость и впечатлительность Ильюши, которыя, при благопріятныхъ условіяхъ, могли бы мощно содѣйствовать его духовному росту, сослужили ему плохую службу, напитавъ его тлетворными впечатлѣніями окружавшей среды. Рисуя картину дѣтства Обломова,

Гончаровъ нѣсколько разъ, варьируя на разные лады, повторяетъ одну и ту же мысль,—какъ дѣтскій умъ Ильюши наблюдаетъ всѣ совершающіяся предъ нимъ явленія жизни, какъ они глубоко западаютъ въ его душу и потомъ вмѣстѣ съ нимъ растутъ и зрѣютъ. Мы уже знаемъ отчасти, что это была за жизнь. Какъ живая, во всѣхъ деталяхъ встаетъ она предъ нашими глазами въ мастерскомъ изображеніи Гончарова. „Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользаетъ отъ пытливаго вниманія ребенка; неизгладимо врѣзывается въ душу картина домашняго быта; напитывается мягкій умъ живыми примѣрами и безсознательно чертитъ программу своей жизни по жизни его окружающей". Видитъ Ильюша, что его отецъ по цѣлымъ днямъ только и знаетъ, что ходитъ изъ угла въ уголъ, заложивъ руки назадъ, или же неподвижно сидитъ у окна, глядя въ пространство и отъ скуки дѣлая безсмысленныя замѣчанія проходящей мимо дворнѣ; что никогда не придетъ ему въ голову провѣрить самому, какъ идетъ хозяйство, что даже незначительная работа по дому, какъ починка готовыхъ обрушиться галлерей и крыльца, представляется для него настолько сложнымъ дѣломъ, что онъ никакъ не можетъ взяться за него; замѣчаетъ онъ, что мать только и дѣлаетъ, что хлопочетъ о ѣдѣ и переходитъ отъ кофе къ чаю, отъ чаю къ обѣду; что цѣлый штатъ крѣпостныхъ слугъ, готовыхъ исполнить малѣйшій барскій капризъ всегда къ услугамъ его родителей. И невольно дѣтскій умъ его, исполнившійся впечатлѣній домашней жизни, прежде чѣмъ ему сталъ доступенъ притокъ иныхъ понятій, хотя бы черезъ книги, рѣшаетъ, что именно такъ и нужно жить, какъ живутъ окружающіе его люди. Неоткуда было бѣдному мальчику набраться свѣжихъ, животворящихъ впечатлѣній, могущихъ дать здоровую пищу его уму, некому было позаботиться о томъ, чтобы его богато одаренная натура получила разумный просторъ для своего развитія. Какъ нѣжно лелѣемое тепличное растеніе, росъ онъ, точно подъ стекломъ, медленно и вяло. „Ищущія проявленія силы обращались внутрь и никли увядая".

Такъ подъ вліяніемъ нелѣпаго воспитанія въ раннемъ дѣтствѣ и гибельнаго воздѣйствія среды пропадали хорошіе природные задатки Ильюши. Они могли бы найти подходящія условія для развитія позднѣе, въ годы ученія и тогда первоначальная закваска въ значительной степени потеряла бы свою силу и могла совсѣмъ исчезнуть. Но своеобразный строй обломовской жизни налагалъ свой отпечатокъ и и на ученіе какъ домашнее, такъ и школьное. Какъ не инертна была жизнь и среда, окружавшая Обломова въ дѣтствѣ, какъ ни равнодушно относилась она къ знанію и просвѣщенію, все же „времена Простаковыхъ и Скотининыхъ миновались давно. Пословица: ученье—свѣтъ, неученье—тьма бродила уже по селамъ и деревнямъ вмѣстѣ съ книгами, развозимыми букинистами". Даже обломовцы понимали выгоды и преимущества образованія, но понимали ихъ по своему. Они видѣли, что тотъ, кто имѣлъ дипломъ, удостовѣряющій въ прохожденіи полнаго курса ученія, быстро хваталъ чины и кресты, наживалъ деньги, тогда какъ старые служаки, повидимому, искусившіяся во всѣхъ тонкостяхъ буквоѣдства и крючкотворства, или оставались въ хвостѣ, или—того хуже—должны были убраться по добру по здорову. Отсюда ближайшее заключеніе, дальше котораго они не шли,—нужно соблюсти предписанную форму, добыть для Ильюши какой-то аттестатъ, въ которомъ будетъ сказано, что онъ „прошелъ всѣ науки и искусства", и чѣмъ меньше будетъ затрачено на это труда и усилій, тѣмъ лучше. Они цѣнили только внѣшнюю выгоду об-

разованія и не понимали той громадной роли, какую играетъ оно въ дѣлѣ развитія духовныхъ силъ человѣка, въ подготовкѣ его къ разумному существованію, удовлетворяя естественные запросы человѣческаго духа. Вотъ почему годы ученія у Штольца не могли уничтожить въ Ильюшѣ вліяній родной ему Обломовки, которая находилась слишкомъ близко; обаяніе ея привычекъ и атмосферы, благодаря постояннымъ поѣздкамъ Ильюши домой, парализовало всѣ начинанія Штольца. Что могъ сдѣлать со своимъ питомцемъ даже такой энергичный нѣмецъ, какъ старый Штольцъ, если обломовцы постоянно выпскивали поводы къ тому, чтобы Ильюша поменьше мучилъ себя неизбѣжнымъ зломъ—ученіемъ. Всѣ были убѣждены, что печеніе блиновъ самый настоящій поводъ къ тому, чтобы не ѣхать къ нѣмцу, что праздникъ въ четвергъ—неодолимое препятствіе къ ученію во всю недѣлю, и что поэтому незачѣмъ ѣздить взадъ и впередъ на три дня; что послѣ пасхальныхъ вакацій на двѣ недѣли не стоитъ ѣздить учиться, и т. д. То немногое время, какое находился маленькій Обломовъ подъ вліяніемъ своего учителя, тоже не могло принести существенной пользы, ибо старый Штольцъ встрѣтилъ неожиданное противодѣйствіе въ лицѣ своего сына, который, подруживши съ Ильюшей и горячо полюбивъ его, тайкомъ отъ отца половину работы исполнялъ за него.

Такимъ образомъ, и дѣтство, и отрочество, тѣ періоды жизни, когда въ значительной мѣрѣ слагаются наклонности и характеръ человѣка, опредѣляется его духовный обликъ. Ильюша Обломовъ находился подъ непрестаннымъ вліяніемъ окружавшей его среды, которое такъ глубоко проникло въ его душу, что не могло быть искренно ни въ годы студенческой жизни, ни въ послѣдующій зрѣлый періодъ ея. Прежняя живая, любознательная натура уже въ значительной степени была задавлена лѣнью и зарождающейся апатіей, съ которыми подчасъ онъ уже не въ силахъ бороться. Сказывалось это въ его, порою, чисто формальномъ отношеніи къ изучаемымъ наукамъ, которыя усваивались имъ безъ всякаго интереса. Юношескій подъемъ силъ, жажда знанія, которыя охватили одно время Обломова, когда онъ жилъ всѣми фибрами своей души, продолжались не долго. „Цвѣтъ жизни распустился, но не далъ плодовъ. Обломовъ отрезвился и только изрѣдка, по указанію Штольца, прочитывалъ ту или другую книгу, но не вдругъ, не торопясь, безъ жадности, а лѣниво пробѣгалъ глазами по строкамъ". Въ концѣ концовъ, ко времени окончанія курса Обломовъ потерялъ всякій вкусъ къ умственной работѣ; знаніе было для него мертвымъ капиталомъ, между нимъ и жизнью лежала цѣлая бездна, которую онъ не пытался перейти, оно не могло дать направленія его существованію, повліять на него. Жизнь въ его представленіи дѣлилась на двѣ половины: одна изъ нихъ была исполнена труда и неразлучной съ нимъ, въ его представленіи, скуки, другая состояла изъ покоя и мирнаго веселья.

Однако онъ не остался въ Обломовкѣ мирно наслаждаться прелестями деревенскаго существованія. Университетская жизнь все же дала пищу врожденной потребности къ дѣятельности и спасла его на время отъ окончательной гибели. Онъ былъ полонъ еще разныхъ широкихъ стремленій и надеждъ, чего то ждалъ отъ себя и отъ жизни, мечталъ о роли, которую онъ будетъ играть на служебномъ поприщѣ и въ обществѣ, въ отдаленной перспективѣ видѣлъ семейное счастье. Все это заставило его покинуть родное гнѣздо и отправиться на поиски счастья въ Петербургъ. Но первыя же столкновенія съ дѣйствительною жизнью, которая потребо-

вала отъ него труда и энергіи, совсѣмъ ошеломили его, и онъ, десять лѣтъ все собираясь что-нибудь дѣлать, кончилъ тѣмъ, что, потерпѣвъ позорное фіаско, вслѣдствіе своего нерадѣнія на служебномъ поприщѣ, оставилъ всякія мечты о повышеніяхъ, чинахъ и орденахъ и вышелъ въ отставку.

Глубоко пустившая въ него свои корни лѣнь и апатія вскорѣ побудила его порвать почти всѣ связи съ обществомъ, и онъ постепенно погружался въ спячку духовную и тѣлесную. Могущественнѣйшее изъ человѣческихъ чувствъ—любовь на время пробудило его, возродило духовно, но старая закваска оказалась сильнѣе, и мы видимъ, что онъ со страшной болью въ сердцѣ отказывается отъ любимой дѣвушки, чтобы заживо похоронить себя на Выборгской сторонѣ, отдать свою душу и жизнь во власть того настроенія, которое выросло въ русской дореформенной помѣщичьей жизни на даровомъ трудѣ крѣпостныхъ крестьянъ. „Кто проклялъ тебя Илья?“ спрашиваетъ Ольга съ мучительной болью въ сердцѣ, потерявши въ него вѣру: „что ты сдѣлалъ? ты добръ, уменъ, нѣженъ, благороденъ... и... гибнешь! Что сгубило тебя? Нѣтъ имени этому злу“...—„Есть“, прошепталъ Обломовъ въ отвѣтъ чуть слышно: „обломовщина“.

Такъ самъ Илья Ильичъ назвалъ погубившую его силу. Сила эта—дореформенный строй жизни, покоившійся на крѣпостномъ правѣ. Главный источникъ ея могущества скрывался въ услугахъ „трехсотъ Захаровъ“, въ безвозмездномъ пользованіи чужимъ трудомъ, въ беззаботной, праздной, сытой жизни. Въ этомъ отличіе жалкаго прозябанія Обломова отъ полной дѣятельности жизни тѣхъ, кто въ трудѣ видитъ необходимое условіе человѣческаго счастья и прогресса. Самъ Обломовъ, какъ нельзя лучше, въ разговорѣ съ Захаромъ указалъ, въ чемъ разница между нимъ, баріномъ, и „другимъ“. „Другой работаетъ безъ устали,—поясняетъ Илья Ильичъ,—бѣгаетъ, суетится, не поработаетъ, такъ и не поѣстъ... А я?.. Да развѣ я мечусь, развѣ я работаю? Мало ѣмъ, что ли? Худощавъ или жалокъ на видъ? Развѣ недостаетъ мнѣ чего-нибудь? Кажется, подать, сдѣлать есть кому. Я не разу не натянулъ себѣ чулокъ на ноги, какъ живу, слава Богу. Стану ли я безпокоиться? Изъ чего мнѣ?.. Ты все это знаешь, видѣлъ, что я воспитанъ нѣжно, что я ни холода, ни голода никогда не терпѣлъ, нужды не зналъ, хлѣба себѣ не зарабатывалъ и вообще чернымъ дѣломъ не занимался“. Но именно то, чѣмъ такъ гордится Обломовъ въ этой бесѣдѣ съ Захаромъ, и погубило его. Вліяніе „обломовщины“ настолько сильно, что она, какъ сорная трава, заглушаетъ неокрѣпшіе побѣги нужнаго человѣку растенія, въ концѣ концовъ подавила въ Ильѣ Ильичѣ всѣ проблески новыхъ вѣяній, какими успѣлъ проникнуться онъ, всѣ задатки богато одаренной натуры. И погибъ этотъ глубоко симпатичный человѣкъ, стоящій на распутьѣ двухъ эпохъ русской общественности, засосанный въ тину дореформенной барской жизни, одурманенный съ ранняго дѣтства ея тлетворнымъ духомъ.

Рѣдкимъ по своей художественности и широтѣ захвата изображеніемъ въ „Обломовѣ“ губительнаго вліянія крѣпостного строя жизни на самихъ помѣщиковъ Гончаровъ, какъ нельзя болѣе, содѣйствовалъ раздавшемуся въ то время изъ передовыхъ слоевъ общества призыву противъ спячки и застоя, въ которые было погружено, въ общей массѣ, дворянское сословіе. Молодой критикъ Добролюбовъ въ блестящей статьѣ, подъ заглавіемъ: „Что такое обломовщина“, лучше которой до

сихъ поръ ничего не написано о романѣ Гончарова, привелъ остроумную параллель между Обломовымъ, съ одной стороны, и Онѣгинымъ, Печоринымъ и Рудинымъ съ другой, и наглядно показалъ, какъ глубоко захватилъ Гончаровъ въ своемъ романѣ одно изъ основныхъ свойствъ родной жизни, указавши въ то же время причины и условія его существованія. Для насъ Обломовъ—единственный въ своемъ родѣ художественный синтезъ жизни дореформеннаго русскаго барства.

Гончарову думалось, что съ наступленіемъ въ русской жизни новой эпохи, эпохи освобожденія и великихъ реформъ, приближеніе которыхъ ясно чуялось въ послѣдніе годы созданія „Обломова“, обломовщина исчезнетъ. Посѣщая въ послѣдній разъ Илью Ильича, Штольцъ уходитъ отъ него съ такими мыслями: „Погибъ ты, Илья! Нечего тебѣ говорить, что твоя Обломовка не въ глуши больше, что до нея дошла очередь, что на нее пали лучи солнца... что года черезъ четыре она будетъ станціей дороги, что мужики твои пойдутъ работать насыпь, а потомъ по чугункѣ покатится твой хлѣбъ къ пристани... А тамъ школы, грамота, а дальше... Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой вѣкъ“. Но Штольцъ, устами котораго въ этомъ случаѣ, конечно, говоритъ самъ авторъ, ошибался. „Дѣло вѣковъ поправлять не легко“, и Гончаровъ слишкомъ рано написалъ надгробное слово обломовщинѣ. Еще Добролюбовъ мѣтко замѣтилъ, что Обломовка—наша прямая родина, и что въ каждомъ изъ насъ сидитъ не мало обломовщины. Замѣчаніе это въ значительной мѣрѣ примѣнимо и къ послѣдующей русской жизни вплоть до нашихъ дней, когда нерѣдко приходится встрѣчаться съ барской изнѣженностью, боязнью труда, отсутствіемъ энергіи и предпріимчивости, голубиной кротостью, лѣнью и апатіей, исключающими всякую возможность борьбы за лучшее будущее.

Отсюда цѣнность Обломова, какъ художественнаго образа значительно повышается: въ немъ слѣдуетъ видѣть не только временный, историческій, но и племенной русскій типъ, свойственный цѣлому ряду эпохъ, коренящійся въ основахъ нашей исторической, общественной и государственной жизни. Не даромъ слово „обломовщина“, такъ удачно характеризующее одинъ изъ существеннѣйшихъ пороковъ нашей общественной жизни, получило широкія права гражданства и не рѣдко употребляется въ литературѣ и жизни.

Но этимъ не исчерпывается значеніе образа Обломова. Создавая типъ, являющійся кореннымъ для всей русской жизни, Гончаровъ въ то же время далъ намъ и общечеловѣческій образъ и показалъ, какъ подъ вліяніемъ соотвѣтствующихъ условій овладѣваютъ даровитой личностью лѣнь и апатія, которыя мало по малу порабощаютъ себѣ всѣ лучшія движенія мысли и чувства. Въ этомъ отношеніи Обломовъ такой же вѣковѣчный типъ, какъ Гамлетъ, Донъ-Кихотъ, Чацкій и др., но въ рамкахъ исторической картины русской жизни сороковыхъ годовъ прошлаго вѣка онъ—яркій представитель эпохи пробужденія русскаго общества, затопленный мутнымъ потокомъ старой жизни.

Райскій, Ольга и Вѣра.

Къ той же группѣ, что и Обломовъ, относится еще нѣсколько лицъ изъ гончаровскихъ романовъ. Таковы Райскій, Ольга и Вѣра, а также отчасти молодой

Адуевъ. Всѣ они имѣютъ ту общую черту, что не могутъ вполнѣ отрѣшиться отъ вліяній стараго строя жизни, хотя и не поддаются ему въ такой мѣрѣ, какъ Обломовъ. Но это не мѣшаетъ, порою довольно сильно, проявляться въ нихъ новымъ настроеніямъ и идеямъ, знаменующимъ пробужденіе общественнаго самосознанія.

Образъ Райскаго, какъ и Обломова, является однимъ изъ наиболѣе разработанныхъ у Гончарова. По первоначальному замыслу, это должна была быть настолько центральная фигура, что самый романъ предполагалъ авторъ озаглавить: „Художникъ“. Но мало по малу сюжетъ задуманнаго романа все расширялся, вводились все новыя и новыя лица, съ которыми Райскій долженъ былъ въ значительной степени раздѣлить свою роль, какъ главнаго героя. Тѣмъ не менѣе, при всей трудности работы надъ этимъ характеромъ, чрезвычайно сложнымъ, измѣнчивымъ, едва уловимымъ для художественной передачи, какъ объ этомъ признается самъ Гончаровъ, ему удалось создать въ его лицѣ типичнѣйшаго представителя поколѣнія сороковыхъ годовъ. По толкованію автора, Райскій—ближайшій сынъ Обломова, герой эпохи пробужденія. „Сильный, новый свѣтъ блеснулъ ему въ глаза. Но онъ еще потягивается, озираясь вокругъ и оглядываясь на свою обломовскую колыбель... Онъ умомъ и совѣстью принялъ новыя животворныя сѣмена, но остатки еще не вымершей обломовщины мѣшаютъ ему обратить усвоенныя понятія въ дѣло“. Такимъ образомъ, согласно указаніямъ самого Гончарова, мы должны искать въ Райскомъ, какъ героѣ переходной эпохи, свойствъ, сближающихъ его, съ одной стороны, со старой, дореформенной русской жизнью, а съ другой—такихъ, которыя дѣлаютъ его провозвѣстникомъ новаго направленія общественной мысли, которое расцвѣло пышнымъ цвѣтомъ въ шестидесятые годы.

Посмотримъ, въ чемъ примыкаетъ Райскій къ старинѣ.

Въ немъ, несомнѣнно, есть черты, роднящія его съ романтическимъ настроеніемъ старой дворянской жизни тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Правда, онъ чуждъ каррикатурной возни съ цвѣтами, какъ тетушка Адуева, не мечтаетъ о вѣчной дружбѣ и не земной любви, но все же любовь у него на первомъ планѣ. Онъ ищетъ въ ней бурныхъ порывовъ страсти, которая, какъ гроза въ природѣ, очищаетъ воздухъ, освобождаетъ душу отъ власти обыденщины, даетъ дохнуть настоящей жизнью. Вся его жизнь исполнена погони за этимъ чувствомъ и наполнятъ значительную часть его внутренняго міра. На ряду съ этимъ мы замѣчаемъ у него культъ красоты, которую онъ умѣетъ отыскать въ различныхъ проявленіяхъ жизни, а также искреннее увлеченіе искусствомъ, что сближаетъ его, напримѣръ, съ тургеневскими представителями русскаго романтизма означенной эпохи. Еще болѣе характерной чертой времени является въ немъ разногласіе между словомъ и дѣломъ, неспособность провести въ жизнь тѣ идеалы, которые въ такую красивую форму облекаются въ его рѣчахъ. Такъ, онъ очень горячо рисуетъ передъ Бѣловодовой печальную картину русской деревни, гдѣ мать на произволъ судьбы бросаетъ ребятишекъ, чтобы работать на барской нивѣ, а мужъ ея „бьется въ бороздахъ на пашнѣ или тянется съ обозомъ въ трескучій морозъ, чтобъ добыть хлѣба, буквально хлѣба, утолить голодъ съ семьей и, между прочимъ, внести въ контору пять или десять рублей“, и когда взволнованная этой проповѣдью Бѣловодова спрашиваетъ, что же онъ дѣлаетъ для облегченія горькой доли своихъ крестьянъ, она получаетъ такой

отвѣтъ: „Мало дѣлаю имъ—почти ничего, къ стыду моему или тѣхъ, кто меня воспитывалъ. Я давно вышелъ изъ опеки, а управляетъ все тотъ же опекунъ, и я не знаю какъ. Есть у меня еще бабушка въ другомъ уголкѣ,—тамъ какой то клочекъ земли есть,—въ ихъ рукахъ все же лучше, чѣмъ въ моихъ". Тоже самое и въ его занятіяхъ искусствомъ. Имѣя отъ природы большія художественныя способности, горячо любя искусство и превознося на словахъ служеніе ему, онъ на дѣлѣ бросается къ живописи, скульптурѣ, поэзіи и ни въ одной области не можетъ создать ничего путнаго, ибо въ немъ нѣтъ умѣнія трудиться, онъ не имѣетъ для служенія дѣлу необходимой выдержки, „какъ гири на ногахъ, его тянетъ назадъ обломовщина". Въ спорахъ съ бабушкой онъ произноситъ грозныя филиппики противъ изнѣженности, барства, крѣпостного права, а самъ съ удовольствіемъ спитъ на мягкой постели, любитъ хорошо покушать и, „какъ прямой сынъ Обломова, даетъ ворча снимать съ себя сапоги"; что касается до крестьянъ, то онъ и шагу не сдѣлалъ, чтобы дать имъ свободу, за которую порою такъ ратуетъ.

Но на ряду съ указанными чертами Райскаго, которыя являются результатомъ вліянія стараго строя, въ немъ кипитъ новая жизнь, новыя идеи, которымъ не ужиться со старымъ порядкомъ.

Прежде всего, его отношеніе къ народу. Своимъ чуткимъ сердцемъ понимая его бѣдственное положеніе, онъ вмѣстѣ съ лучшими людьми своего времени желаетъ ему свободы и не разъ задумывается о ней, какъ, напримѣръ, возвращаясь съ Тушинымъ домой по роднымъ полямъ. Онъ чуждъ, затѣмъ, сословныхъ предразсудковъ и не цѣнитъ вовсе своей родовитости, относясь съ пренебреженіемъ къ портретамъ представителей своего рода „полинявшимъ господамъ въ робронахъ и манжетахъ". Онъ протестуетъ противъ семейнаго деспотизма, отстаиваетъ свободу личности, ведетъ горячіе споры по цѣлому ряду самыхъ разнообразныхъ вопросовъ, съ представительницей минувшаго вѣка—бабушкой. Въ самомъ его восхищеніи искусствомъ чуется новое, свѣжее настроеніе, чуждое отживающей эпохѣ; онъ стоитъ за то, чтобы искусство сошло со своихъ высокихъ ступеней въ людскую толпу, служило жизни. Правда, всѣмъ благороднымъ порывамъ Райскаго не осуждено осуществиться, перейти въ жизнь, но онъ не такъ ужъ много виноватъ въ этомъ. Онъ—родной сынъ своей среды, своей эпохи.

При смѣнѣ двухъ направленій жизни всегда встрѣчаются характеры, которые несутъ на себѣ всю тягость общественнаго перелома. Это—нецѣльныя, раздвоенныя натуры. Ихъ несчастье въ томъ, что въ ихъ душѣ царитъ вѣчное, неизгладимое противорѣчіе: одной половиной своего существа, своими вѣрованіями, убѣжденіями, умственнымъ и нравственнымъ развитіемъ они—дѣти новаго времени, между тѣмъ какъ привычки, традиціи, слабость воли заставляютъ ихъ цѣпляться за старое, отжившее. Райскій вполнѣ примыкаетъ къ этимъ характерамъ. „Подъ него,—говоритъ Гончаровъ, выясняя смыслъ созданныхъ имъ образовъ,—подходили тогда многіе наши интеллигентные люди, считавшіеся передовыми. Ихъ называли романтиками, крайними идеалистами. Они пока еще порывались къ новому, много говорили, ставили себѣ идеалы, бросались отъ одного дѣла къ другому, искали дѣятельности. И туда, въ этотъ періодъ, ушло много растерявшихся втунѣ талантовъ, не имѣвшихъ опредѣленнаго пути, сознательныхъ цѣлей и снѣдаемыхъ и своей собственной и казенной обломовщиной".

Новыя вѣянія русской жизни, черты которыхъ мы отмѣчали въ Обломовѣ и Райскомъ, находили себѣ доступъ во внутренній міръ не только мужского, но и женскаго поколѣнія дворянской среды. Чтеніе книгъ, разговоры, непосредственное наблюденіе жизни—все это будило мысль наиболѣе чуткихъ натуръ женскаго общества, вызывало въ нихъ новыя, неясныя стремленія, заставляло понемногу отрѣшаться отъ установленныхъ традиціей взглядовъ, понятій и привычекъ жизни. Но если не сразу и не легко давалась мужскому поколѣнію эта ломка понятій, то еще труднѣе было совершиться ей въ умѣ и чувствѣ русской женщины, какъ потому, что ей менѣе были доступны новыя идеи и настроенія, такъ и, съ другой стороны, въ силу большаго консерватизма женской натуры, вѣками выработавшейся склонности ея держаться установившихся и освященныхъ прошлымъ формъ жизни.

Оттого и первый созданный Гончаровымъ женскій типъ переходной эпохи—Ольга Ильинская въ „Обломовѣ“ въ значительной мѣрѣ является продуктомъ окружающей ее среды и условій жизни. Но одновременно съ этимъ въ ней замѣчаются и другія начала, свидѣтельствующія о близкомъ поворотѣ на новую дорогу. Характеръ Ольги, какъ и вообще женскіе образы, разработанъ у Гончарова съ большой полнотой и художественной правдой. На ряду съ глубоко симпатичными индивидуальными свойствами, авторъ даетъ обильный матеріалъ для заключеній о томъ, какую форму приняли они подъ воздѣйствіемъ вліяній старой жизни. Мы не будемъ однако останавливаться на этихъ сторонахъ личности Ольги, такъ какъ уже въ достаточной мѣрѣ разсмотрѣли старую Русь въ изображеніи Гончарова, а посмотримъ, какъ отразились на ней только что зародившіеся въ обществѣ новые запросы.

Природная пытливость ума, подъ вліяніемъ благопріятныхъ условій, среди которыхъ первое мѣсто занимаетъ вліяніе „новаго человѣка“ Штольца, переходитъ у Ольги въ настоящую жажду знанія. „Зачѣмъ насъ, женщинъ, не учатъ?“ съ горечью восклицаетъ она и всюду ищетъ отвѣтовъ на интересующіе ея вопросы. Она не даетъ покою Обломову и Штольцу, и даже этотъ послѣдній не въ состояніи одолѣть всѣхъ книгъ, при помощи которыхъ можно разрѣшить недоумѣнія Ольги. Сдѣлавшись женой Штольца, она его „ревновала къ каждой непоказанной ей книгѣ, журнальной статьѣ, не шутя сердилась или оскорблялась, когда онъ не заблагоразсудитъ показать ей что-нибудь, по его мнѣнію, слишкомъ серьезное, скучное, непонятное ей... и только тогда мирилась, когда онъ... раздѣлитъ съ нею свою мысль, знаніе или чтеніе“.

Но одно пріобрѣтеніе знаній, отвлеченная, разсудочная работа не удовлетворяютъ Ольги. Она ищетъ живого дѣла, непосредственнаго примѣненія къ жизни своихъ силъ.

Съ какой охотой и любовью берется она за перевоспитаніе Обломова. Вся исторія ея любви къ нему есть не что иное, какъ результатъ вѣры въ „будущаго“ Обломова, какимъ она хотѣла его сдѣлать. Но когда она увидѣла, что, несмотря на всѣ ея усилія, Обломовъ не можетъ ей дать ничего, кромѣ погруженнаго въ апатію и бездѣйствіе воркованія вокругъ семейнаго очага, не укажетъ ей другого, болѣе содержательнаго пути жизни, она первая со страшной болью въ сердцѣ разорвала съ нимъ всякія отношенія. „Ты кротокъ, честенъ, Илья,—говоритъ она въ послѣднее свиданіе съ нимъ,—ты нѣженъ, какъ голубь... ты готовъ всю жизнь проворковать подъ кровлей. Да я не такая: мнѣ мало этого, мнѣ нужно чего-то

еще, а чего—не знаю!“ И понявъ, что Обломову не научить ее, что не ему указать, чего ей недостаетъ и гдѣ найти удовлетвореніе въ жизни, она разстается съ нимъ.

Казалось бы, жизнь со Штольцемъ должна была удовлетворить ее, ибо эта жизнь—идеалъ супружескихъ отношеній, гдѣ мужъ и жена живутъ душа въ душу, но и она не даетъ полнаго удовлетворенія Ольгѣ, несмотря на то, что мысль ея постоянно занята пріобрѣтеніемъ различнаго рода знаній и внимательно слѣдитъ за разнообразной практической дѣятельностью мужа, его коммерческими, заводскими и всякаго рода другими предпріятіями. Въ жизни ея въ самый разгаръ семейнаго счастья со Штольцемъ все чаще и чаще наступаютъ какія то „задумчивыя остановки“, смущеніе, возникаютъ въ головѣ смутные, туманные вопросы: „Куда же итти? Куда! дальше нѣтъ дороги! Ужели нѣтъ?.. Ужели тутъ все... все“... говорила сама съ собой Ольга и чего-то не договаривала. „Все тянетъ меня куда-то еще“, признается, наконецъ, она Штольцу: „я дѣлаюсь ничѣмъ не довольна“. Тотъ объясняетъ это, какъ отголосокъ общаго недуга человѣчества, одна капля котораго брызнула и на Ольгу; это, по его мнѣнію, „грусть души, вопрошающей жизнь о ея тайнѣ“. Нужно смириться передъ нею, вооружиться твердостью и настойчиво итти своимъ путемъ. „Мы не титаны съ тобой,—успокаиваетъ онъ Ольгу,—мы не пойдемъ съ Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу съ мятежными вопросами, не примемъ ихъ вызова, склонимъ головы и смиренно переживемъ трудную минуту, и опять потомъ улыбнется жизнь, счастье... Все это страшно, когда человѣкъ отрывается отъ жизни, когда нѣтъ опоры“... Но въ томъ-то и дѣло, что Штольцъ, а вмѣстѣ съ нимъ и Ольга, при всей его кипучей дѣятельности, въ сущности, оторванъ отъ жизни, не знаетъ ея во всей полнотѣ, ибо онъ ничѣмъ не связанъ съ окружающимъ его обществомъ, чуждъ его радостей и печалей. Томленіе Ольги есть безсознательный призывъ живой, энергичной, гуманной натуры къ болѣе широкой жизни, къ труду не ради одной наживы, а дающему нравственное удовлетвореніе, устанавливающему духовную связь съ окружающимъ обществомъ, предающему высшій смыслъ существованію отдѣльной личности, словомъ, стремленіе къ общественной дѣятельности въ той или другой формѣ.

Такова эта пробуждающаяся русская женщина, родная сестра тургеневской Елены, сумѣвшая, несмотря на благопріятныя условія, благодаря чистотѣ своей натуры опередить того, кто былъ главнымъ вдохновителемъ ея.

Другимъ женскимъ образомъ переходной эпохи, отъ котораго вѣетъ грустнымъ трагизмомъ, является Вѣра въ „Обрывѣ“, характеръ, разработанный Гончаровымъ съ такой же художественной полнотой и психологической правдой, какъ и у Ольги, но еще болѣе обаятельный, благодаря богатству духовныхъ силъ, сердечности и женственной граціи. Она является какъ бы слѣдующей за Ольгой ступенью въ развитіи русской женщины, ибо, по замыслу автора, принадлежитъ эпохѣ позднѣйшей, примѣрно второй половинѣ пятидесятыхъ годовъ. Какъ и при разборѣ осмотрѣнныхъ выше типовъ мужскихъ и женскихъ, мы преимущественно остановимся на тѣхъ изъ главнѣйшихъ свойствъ Вѣры, которыя характеризуютъ ее, какъ представительницу создавшей ее эпохи.

Вѣра—родная сестра Марѳиньки, выросшая и воспитанная въ одинаковыхъ съ

нею условіяхъ. Однако между ними громадная разница. Тогда какъ Марѳинька лишена всякой умственной самостоятельности и потому можетъ жить только по указкѣ старшихъ, Вѣра съ дѣтства одарена сильнымъ, пытливымъ умомъ, независимымъ характеромъ, большой долей самостоятельности, побуждающей ее, помимо всякихъ непосредственныхъ вліяній, самобытно вырабатывать свое міровоззрѣніе. При такихъ природныхъ задаткахъ, Вѣра никакъ не можетъ прійтись ко двору старой русской жизни, сторонникамъ которой она, кажется, не даромъ „мудреной". „Свой умъ, видишь-ли, и своя воля выше всего", жалуется на нее бабушка Райскому: „и бабушка не смѣй спросить ни о чемъ: и нѣтъ ничего, не знаю да не вѣдаю. На рукахъ у меня родилась, вѣкъ со мною, а я не знай, что она любитъ, что нѣтъ". Она, по мѣткому выраженію Марѳиньки, „не здѣшняя".

Не будучи способна, въ силу своей духовной организаціи, слиться съ окружающимъ ее міромъ, она подвергаетъ его безпристрастному анализу, отдѣляетъ въ немъ старую ложь отъ старой правды. Не легко давалась ей эта работа. „Исключительная, глубокая натура ея долго довольствовалась тѣмъ запасомъ наблюденій, небольшихъ опытовъ, которые она добывала около себя. Нѣсколько человѣкъ замѣняли ей толпу; то, что другой соберетъ со многихъ встрѣчъ, во многіе годы и во многихъ мѣстахъ, давалось ей въ двухъ-трехъ уголкахъ, по ту и другую сторону Волги, съ пяти и шести лицъ, представлявшихъ для нея весь людской міръ". Но вскорѣ пришли на помощь книги, и она жадно набросилась на нихъ, желая тамъ найти не только пищу для ума, но и отвѣты на вопросы, въ чемъ правда, какъ надо жить. Тутъ были сочиненія Спинозы, Вольтера, Макколея, Прудона, Гизо и др. Мало по малу кругозоръ ея все расширялся и прояснялся. Но она не подпала безотчетно обаянію сильныхъ умовъ. Въ области мысли, знанія, какъ и вообще въ жизни, она шла осторожнымъ шагомъ, не принимая на вѣру авторитетовъ, не полагаясь на нихъ слѣпо. Какъ ни трудно было ей дышать въ затхлой атмосферѣ устарѣвшихъ формъ жизни, но она не отрицала ихъ съ плеча, а брала изъ нихъ то, что казалось ей правдой. Такъ мало по малу составился у ней свой идеалъ жизни, въ которомъ она стремилась соединить лучшія черты прошлаго съ тѣмъ новымъ, что вынесла она изъ книгъ и критическаго созерцанія окружавшей жизни.

Когда появился Маркъ Волоховъ съ полнымъ отрицаніемъ „всего, отъ начала до конца, небесныхъ и земныхъ авторитетовъ, старой жизни, старой науки, старыхъ добродѣтелей и пороковъ", она стала внимательно вслушиваться въ горячую проповѣдь новаго апостола. Многаго изъ того, на что безпощадно нападалъ Волоховъ въ старомъ свѣтѣ, Вѣра сама не признавала, но она не находила въ его рѣчахъ идеаловъ, правды, добра, любви, человѣческаго совершенствованія, къ которымъ такъ стремилась ея душа, а между тѣмъ крупицы ихъ,—она это знала,—были въ той жизни, которую такъ клеймилъ враждой и презрѣніемъ Волоховъ.

И вотъ загорѣлась страстная борьба двухъ міровоззрѣній. Вѣра не понимала того, что ея взгляды и взгляды Волохова, даже подъ вліяніемъ силы любви, не могутъ, какъ масло и вода, соединиться въ одно цѣлое, и она потерпѣла страшное пораженіе. Вѣра—жертва борьбы старой жизни съ новой. „Она не хотѣла жить слѣпо, по указу старшихъ. Она сама знала, что отжило въ старой, и давно тосковала, искала свѣжей, осмысленной жизни, хотѣла сознательно найти и принять

новую правду, удержавъ и все прочное, коренное, лучшее въ старой жизни. Она хотѣла не разрушенія, а обновленія. Но она „не знала“, гдѣ и какъ искать. Бабушка берегла ее только отъ болѣзней, отъ явныхъ и извѣстныхъ ей золъ и бѣдъ и не приготовила ни къ какимъ невѣдомымъ ей самой бѣдамъ“.

Изъ этихъ словъ Гончарова, взятыхъ изъ его очерка: „Лучше поздно, чѣмъ никогда“, видно, что самъ авторъ въ крушеніи Вѣры винитъ не столько ее самое, сколько бабушку, олицетворяющую собою старую русскую жизнь, старшее поколѣніе. Бабушка „знала одну старую правду и старую ложь; но новой правды боялась и, боясь, не узнала и новой лжи и не приготовила къ тому и другому Вѣру“. Старшее поколѣніе учило женщину жить по старинѣ и не только не помогало, а, наоборотъ, всѣми мѣрами препятствовало тому инстинктивному движенію къ познанію новыхъ основъ жизни, которое проявлялось у наиболѣе самобытныхъ натуръ. Но оно не было въ силахъ оградить ее отъ вліянія чуждыхъ и враждебныхъ ему вѣяній, которыя все же манили къ себѣ русскую женщину, и она, пытаясь самостоятельно вкусить отъ древа познанія добра и зла, нерѣдко разбивала свою молодую жизнь, не будучи въ силахъ примирить старое и новое, выбрать между ними золотую середину. Таковъ историческій смыслъ образа Вѣры и ея печальной исторіи въ поискахъ новаго, лучшаго, болѣе разумнаго и нравственнаго существованія.

„Новые люди“ въ изображеніи Гончарова.

Намъ остается еще разсмотрѣть третью группу главнѣйшихъ типовъ Гончарова, такъ сказать, „новыхъ людей“, въ которыхъ авторъ пытался воплотить новыя теченія въ русской жизни, какъ они представлялись его творческому воображенію. Но, по свойствамъ своего таланта, онъ могъ удачно изображать только установившіяся, успокоившіяся формы жизни, принявшія вполнѣ опредѣленный, законченный видъ. Все то, что находилось въ процессѣ развитія, что не поддавалось поэтому медленному и вдумчивому наблюденію, то выходило слишкомъ блѣднымъ, порою даже фальшивымъ въ его изображеніи. Вотъ почему оказались слабыми въ художественномъ отношеніи такіе образы, какъ Штольцъ, Тушинъ и Маркъ Волоховъ, являющіеся, по замыслу автора, представителями новыхъ теченій въ развитіи жизни русскаго общества въ сороковые и пятидесятые годы. Эти теченія частью не опредѣлились настолько, чтобы могли быть доступны таланту Гончарова, частью слишкомъ мало были извѣстны ему. Нѣсколько замѣчаній о каждомъ изъ названныхъ образовъ подтвердятъ справедливость общаго сужденія о нихъ.

По собственному признанію Гончарова, Штольцъ выведенъ, какъ антитеза Обломову. Осудивъ въ лицѣ своего героя вялость и апатію русскаго общества, авторъ противопоставилъ ему Штольца, въ которомъ онъ видѣлъ желательное близкое будущее Россіи. „Вотъ глаза открылись отъ дремоты, послышались бойкіе шаги, живые голоса... Сколько Штольцевъ появится подъ русскими именами!“ Такъ представлялось Гончарову возрожденіе Руси послѣ гибели обломовщины.

Но герой будущаго очень туманно и неопредѣленно рисовался Гончарову; онъ „блѣденъ, не реаленъ, не живой, а просто идея“, какъ онъ самъ признался впослѣдствіи. Въ самомъ дѣлѣ, это не только воплощенная дѣятельность, энергія, но на-

стоящій магъ и чародѣй. Онъ сорокъ тысячъ отповскаго наслѣдства честнымъ путемъ къ тридцати годамъ превращаетъ въ триста; стоитъ ему взяться за какое-либо дѣло, хотя бы самое невыполнимое, оно быстро подвигается въ его рукахъ къ концу; онъ всегда занятъ, съ успѣхомъ выполняетъ какія то грандіозныя коммерческія предпріятія, но цѣною какихъ усилій и жертвъ ему удается всего этого достигнуть, какъ можетъ онъ находить удовлетвореніе въ одномъ матеріальномъ пріобрѣтеніи,—ибо о другомъ, „живомъ дѣлѣ“ Гончаровъ не говоритъ,—это остается загадкой для читателя.

Въ его глазахъ практичный, изворотливый Штольцъ, управляющій своими радостями и печалями, какъ движеніемъ рукъ, размѣренный, уравновѣшенный, порою представляется просто ловкимъ дѣльцомъ, однимъ изъ тѣхъ „дѣятелей“, „неунывающихъ россіянъ“, которыхъ въ семидесятые годы заклеймилъ бичемъ своей сатиры Щедринъ. А между тѣмъ, Штольцъ долженъ быть, какъ понимаетъ его авторъ, положительнымъ типомъ. Эта несообразность какъ нельзя болѣе свидѣтельствуетъ о томъ, какъ мало былъ ясенъ самому автору этотъ образъ и насколько фальшивымъ вышелъ онъ въ его изображеніи.

Тушинъ въ „Обрывѣ“, другой положительный типъ „новаго человѣка“, представитель „нашей настоящей партіи дѣйствія“, залогъ „нашего прочнаго будущаго“, еще менѣе чѣмъ Штольцъ, удался Гончарову.

Черты чрезмѣрной идеализаціи этого образа сквозятъ на каждомъ шагу. „Это,—по словамъ одного критика,—экстрактъ всевозможныхъ добродѣтелей“. Въ немъ вы находите „и мускульную силу, и желѣзную волю, и змѣиную мудрость, и голубиную кротость, и наивную простоту, и энергическую дѣятельность, и умѣніе жить-поживать да и добро наживать, да такое добро, что и самъ онъ катался, какъ сыръ въ маслѣ, и мужички его благоденствовали“.

Какъ могла сложиться такая необыкновенная личность, при условіяхъ крѣпостной жизни, Гончаровъ не разсказываетъ подробно, а ограничивается общими замѣчаніями о томъ, „что это чистый самородокъ, какъ слитокъ благороднаго металла“, что онъ „не что иное, какъ равновѣсіе силы ума съ суммою тѣхъ качествъ, которыя составляютъ силу души и воли“ и т. п. Но если видѣть въ Тушинѣ случайное счастливое соединеніе разнообразныхъ положительныхъ свойствъ человѣческаго духа, если оно также рѣдко встрѣчается, какъ самородки золота, то какъ-же, спрашивается, можно утверждать, что на смѣну старой жизни „на всей лѣстницѣ общества“ явятся новые работники-Тушины; вѣдь, „самородки“ и въ человѣческой средѣ не такъ то часто встрѣчаются...

И тутъ, какъ со Штольцемъ, вышло очивидное недоразумѣніе, причиной котораго является отсутствіе художественной и жизненной правды въ образѣ Тушина.

Если Штольцъ и Тушинъ—представители положительной стороны новой жизни Россіи, какъ она рисовалась въ воображеніи Гончарова въ сороковые, пятидесятые и шестидесятые годы (ибо послѣднія главы „Обрыва“ дописывались въ 1867 и 1868 г.г.), то Маркъ Волоховъ, по его замыслу, есть олицетвореніе „новой лжи“, вторгшейся въ русскую жизнь въ періодъ возрожденія ея наканунѣ реформъ царствованія Александра II. Образъ нигилиста Волохова вызвалъ рѣзкія нападки на

Гончарова со стороны нѣкоторыхъ критиковъ, увидѣвшихъ въ немъ пасквиль на передовыхъ представителей молодого поколѣнія. Впослѣдствіи въ статьѣ: „Лучше поздно, чѣмъ никогда“ Гончаровъ старался снять съ себя эти обвиненія, заявляя о своихъ симпатіяхъ дѣятелямъ изъ молодого поколѣнія, выступившимъ въ крестьянской, земской и судебной реформѣ. По его словамъ, въ лицѣ Марка Волохова онъ хотѣлъ изобразить „новую ложь“, которая выросла у насъ рядомъ съ „новой правдой“, воцарившейся съ освобожденіемъ крестьянъ и другими великими реформами, внесшими возрожденіе въ русское общество. Является вопросъ, насколько исторически вѣрно изобразилъ Гончаровъ эту „новую ложь“, т. е. русскій нигилизмъ.

Мы уже знаемъ, что Гончаровъ могъ удачно изображать только то, что „переживалъ, мыслилъ чувствовалъ, что *любилъ*, что *близко* видѣлъ и зналъ“,—такова была, по его собственному признанію, существеннѣйшая особенность его таланта. Справедливость этого признанія какъ нельзя болѣе подтверждается анализомъ созданныхъ имъ образовъ. Вѣрный своему таланту, Гончаровъ въ первоначальномъ замыслѣ романа совсѣмъ не имѣлъ въ виду изобразить въ лицѣ Волохова типъ русскаго нигилиста; у него были другія намѣренія на счетъ этой фигуры. Но писаніе романа затянулось чуть не на два десятилѣтія. Между тѣмъ русская жизнь, развивавшаяся быстрымъ темпомъ, выдвинула новыя теченія, новые типы, среди нихъ и нигилизмъ. Гончаровъ, по своимъ симпатіямъ и убѣжденіямъ, не могъ не отнестись враждебно къ этому крайнему теченію россійскаго прогресса; вмѣстѣ съ тѣмъ по своему общественному положенію (въ качествѣ цензора столичной печати) онъ былъ лишенъ возможности близко ознакомиться съ этимъ своеобразнымъ общественнымъ направленіемъ. Такимъ образомъ, ни любить, ни близко знать нигилизма Гончаровъ не могъ, а значитъ, и не имѣлъ возможности правдиво, во всей полнотѣ изобразить его. Въ личности Волохова отразились только нѣкоторыя внѣшнія черты русскаго нигилизма, наиболѣе бросавшіяся въ глаза поверхностному наблюдателю. Вмѣстѣ съ тѣмъ, вслѣдствіе вражды Гончарова къ этому направленію и поверхностнаго съ нимъ знакомства, онъ невольно впалъ въ каррикатурное изображеніе нѣкоторыхъ отрицательныхъ сторонъ нигилизма, такъ что, въ общемъ, было бы большой ошибкой видѣть въ Волоховѣ типичнаго его представителя. Это не значитъ, что личности, подобныя „безпутному Маркушкѣ“, какъ его называетъ бабушка, не встрѣчались въ русской жизни, но онѣ являлись не въ такомъ утрированномъ видѣ и сравнительно рѣдко, и потому писатель, берущійся за изображеніе ихъ, долженъ былъ такъ или иначе дать понять это читателямъ. Гончаровъ однако этого не сдѣлалъ, и этимъ, въ значительной мѣрѣ, объясняются ожесточенныя нападки на него за образъ Волохова нѣкоторыхъ критиковъ.

Разсмотрѣнными выше типами, характеризующими три полосы въ русской жизни 40—60-хъ годовъ, далеко не исчерпывается содержаніе поэтическаго творчества Гончарова. Передъ нашими глазами проходитъ, кромѣ помѣщиковъ, крѣпостная дворня, чиновничество, столичная и провинціальная аристократія, и всѣ эти слои русскаго общества выступаютъ въ рѣдко правдивыхъ, художественныхъ образахъ, давая всѣ вмѣстѣ единственную по своей яркости, полнотѣ и законченности картину дореформенной Руси въ послѣднія два-три десятилѣтія ея существованія.

А. Н. Островскій.

Общая характеристика и значеніе творчества Островскаго.

Въ ряду писателей сороковыхъ годовъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ принадлежитъ Александру Николаевичу Островскому (1823—1886 г.г.). Съ его именемъ связано представленіе о водвореніи въ русской литературѣ и на сценѣ самобытной національной реально-художественной драмы. Правда, еще Грибоѣдовъ, Пушкинъ и Гоголь создали реальную комедію и трагедію: „Горе отъ ума“, „Ревизоръ“ и „Борисъ Годуновъ“ навсегда останутся лучшими образчиками истинно поэтическаго творчества въ нашей драматической литературѣ. Но эти произведенія не оказали вскорѣ послѣ своего появленія никакого вліянія на драматическихъ писателей и театральный репертуаръ. До начала пятидесятыхъ годовъ въ области русскаго театра и драматической литературы они были своего рода оазисами въ пустынѣ и не вызывали къ себѣ почти никакого интереса со стороны публики и актеровъ. Хотя русская поэзія еще съ третьяго десятилѣтія XIX-го вѣка въ лицѣ Пушкина, Гоголя и Лермонтова пошла быстрыми шагами по пути національно-реальнаго творчества, нашъ театръ попрежнему, какъ въ началѣ столѣтія, довольствовался ложно-классическимъ репертуаромъ или же переводами и передѣлками иностранныхъ, главнымъ образомъ, французскихъ романтическихъ мелодрамъ, въ подраженіе которымъ писались пьесы историческаго и патріотическаго содержанія и русскими авторами, какъ, напримѣръ, извѣстными въ свое время Кукольникомъ и Полевымъ. Искусственность построенія дѣйствія, ходульность героевъ, различного рода дешевые, кричащіе эффекты, напыщенный языкъ—все это очень далеко ставило тогдашній театральный репертуаръ отъ реально-художественнаго творчества, воцарившагося со времени Пушкина и Гоголя въ русской литературѣ. Островскій, написавшій въ теченіе болѣе, чѣмъ тридцати лѣтъ до пятидесяти пьесъ, не только чрезвычайно обогатилъ нашъ театръ прекрасными произведеніями, которыя, благодаря ему, заняли преобладающее мѣсто на русской сценѣ, но и внесъ богатѣйшій вкладъ въ русскую литературу, захвативъ въ своемъ творчествѣ громадный кругъ явленій и типовъ современной и прошлой жизни, какой мы можемъ найти развѣ у такихъ гигантовъ поэзіи, какъ Пушкинъ и Л. Толстой; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сдѣлалъ большой шагъ впередъ и въ смыслѣ техники драмы. Остановимся сначала на этой чисто формальной сторонѣ его произведеній.

Громадное большинство пьесъ Островскаго нельзя подвести ни подъ одну изъ установившихся трехъ основныхъ рубрикъ драматическихъ произведеній, мало того,

въ нихъ, повидимому, нарушаются основныя правила теоріи драмы, такъ какъ сплошь и рядомъ характеры дѣйствующихъ лицъ таковы, что не заключаютъ въ себѣ матеріала для воспроизведенія ихъ въ дѣйствіи; самое дѣйствіе лишено въ своемъ развитіи требуемой теоріей стройности и послѣдовательности, развязка порою удивляетъ своею неожиданностью и случайностью и т. д. Современная драматургу критика, поражаясь такими небывалыми нарушеніями общепризнанныхъ правилъ, нерѣдко ставила это въ упрекъ автору и видѣла въ этихъ нарушеніяхъ слабыя стороны его творчества. Но въ наше время, когда для всѣхъ стала ясной та эволюція сценическихъ произведеній, какимъ подверглись они какъ на Западѣ, такъ и у насъ подъ перомъ, напримѣръ, Чехова и другихъ, въ этихъ отступленіяхъ отъ установившихся шаблоновъ можно видѣть только большую заслугу со стороны Островскаго, проложившаго совершенно самобытно новые пути въ драматическомъ творчествѣ. Эти поиски новыхъ формъ для драматическаго воспроизведенія жизни были совершенно естественны у такого горячаго сторонника реализма въ искусствѣ, какимъ былъ Островскій. Онъ не могъ не замѣчать, что въ драмѣ, написанной согласно правиламъ установившейся теоріи, на ряду съ художественно-правдивымъ изображеніемъ дѣйствительности, не мало условностей, нарушающихъ иллюзію жизненной правды. Этого было достаточно, чтобы признать господствовавшую теорію далеко не безгрѣшной и пытаться творить внѣ ея предписаній. Попытки Островскаго въ этомъ направленіи были какъ нельзя болѣе удачны. Читая его пьесы или, еще лучше, смотря ихъ на сценѣ, поражаешься ихъ необыкновенной жизненностью, правдивостью; онѣ до того чужды всякой искусственности, что кажется, будто передъ вами проходитъ сама жизнь со всѣми ея случайностями, загадками, неожиданными осложненіями; будто авторъ какимъ то чудеснымъ образомъ захватилъ ее во всей неприкосновенности да и перенесъ въ книгу и на сцену. Потому то, быть можетъ, къ его произведеніямъ наиболѣе подходитъ названіе „пьесъ жизни“, данное имъ Добролюбовымъ, хотя оно и представляется нѣсколько неопредѣленнымъ и тяжелымъ.

Доведя реализмъ въ драмѣ до высокой степени совершенства, Островскій, какъ было указано выше, сумѣлъ дать русской литературѣ поразительное разнообразіе и богатство картинъ и типовъ русской жизни. Обстоятельства его жизни складывались какъ нельзя болѣе благопріятнымъ образомъ для того, чтобы онъ могъ получить огромный запасъ разнородныхъ впечатлѣній, пользуясь которыми онъ воспроизводилъ такія стороны современной дѣйствительности, какія пока вовсе не были доступны литературному изображенію.

Дѣтство и юность будущаго драматурга протекли въ Москвѣ, въ той части ея, которая наиболѣе сохранила „особый отпечатокъ“ первопрестольной столицы—въ Замоскворѣчьи. Здѣсь, въ родномъ углу, впервые запали въ его душу своеобразныя картины и типы россійскаго купеческаго быта, который имѣлъ возможность близко видѣть еще въ раннемъ дѣтствѣ, когда его отецъ, оставивъ карьеру мелкаго чиновника, занялся веденіемъ дѣлъ замоскворѣцкаго купечества. Своеобразный укладъ жизни и характеры этой среды стали еще болѣе доступны его наблюдательному взору, когда онъ, оставивъ университетъ, двадцатилѣтнимъ юношей поступилъ на службу мелкимъ канцелярскимъ чиновникомъ въ московскій совѣстный судъ, вѣдавшій всякаго рода распри между родственниками. Служба въ этомъ учрежденіи дала ему богатѣйшій матеріалъ для изученія интимныхъ сторонъ народнаго и купеческа-

го семейнаго быта. Передъ его глазами то въ видѣ письменныхъ жалобъ, то „совѣстныхъ“ показаній истцовъ и отвѣтчиковъ открывались затаенные уголки національной жизни, недоступные наблюденію посторонняго человѣка. Черезъ два года мы находимъ его на службѣ въ „словесномъ столѣ“ московскаго коммерческаго суда, на обязанности котораго лежало разсмотрѣніе дѣлъ о торговой несостоятельности. Здѣсь передъ нимъ открылась другая сторона купеческо-мѣщанскаго быта: засѣдая въ „словесномъ столѣ“, онъ могъ въ совершенствѣ изучить различнаго рода плутни и хитроумную изворотливость, къ которымъ прибѣгали торговые люди въ своихъ коммерческихъ дѣлахъ. Такимъ образомъ, впечатлѣнія дѣтства, а затѣмъ служба въ дореформенныхъ судебныхъ учрежденіяхъ послужили прекрасной подготовительной школой для будущаго „Литературнаго Колумба дореформенной купеческой и мѣщанской Россіи“, какъ по справедливости называютъ Островскаго въ русской критикѣ.

Эти свѣдѣнія о чисто-русскомъ національномъ бытѣ были не мало пополнены впечатлѣніями провинціальной жизни, когда Островскій въ началѣ царствованія императора Александра II-го участвовалъ вмѣстѣ съ другими литераторами, какъ Писемскій, Григоровичъ, Потѣхинъ, Максимовъ и др., въ командировкѣ для изученія мѣстностей Россіи въ бытовомъ и промышленномъ отношеніи. На долю Островскаго выпало верхнее Поволжье, гдѣ своеобразный русскій бытъ сохранился во всей неприкосновенности и доставилъ изслѣдователю массу данныхъ для поэтическаго творчества.

Въ цѣломъ рядѣ пьесъ рисуетъ намъ Островскій недоступный дотолѣ литературному наблюденію русскій купеческій бытъ, это „темное царство“, съ его тяжелымъ семейнымъ деспотизмомъ, необузданнымъ самодурствомъ, подавляющимъ малѣйшіе проблески человѣческой личности, съ его грубостью, невѣжествомъ, склонностью къ плутнямъ въ коммерческихъ дѣлахъ. Но, какъ истинный художникъ, вѣрный жизненной правдѣ, онъ не забываетъ и положительныхъ сторонъ и типовъ этого быта, такъ что передъ глазами читателя встаетъ полная картина вѣками сложившейся жизни этого сословія со всѣми его отрицательными и положительными чертами и своеобразными типами.

Своими пьесами изъ купеческой жизни Островскій произвелъ такое сильное впечатлѣніе на читателей и критику, открывъ совершенно невѣдомый дотолѣ литературѣ міръ, что этимъ заслонилъ въ глазахъ нѣкоторыхъ другія стороны своей дѣятельности, и потому въ представленіи многихъ онъ является, только какъ бытописатель русскаго купечества.

Между тѣмъ такая точка зрѣнія оказывается въ высшей степени узкой и односторонней, такъ какъ захватываетъ только часть дѣятельности нашего драматурга, отобразившей разнообразныя стороны современной ему и прошлой Россіи. И въ этомъ случаѣ, какъ и при обрисовкѣ купеческаго быта, окружавшая жизнь сослужила большую службу Островскому.

Какъ природный москвичъ, онъ былъ поставленъ въ очень выгодныя условія для наблюденій надъ русской жизнью самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества. Въ то время этотъ городъ былъ, дѣйствительно, сердцемъ Россіи, вмѣщая въ себѣ, какъ въ фокусѣ, своеобразныя особенности исторической и современной русской жизни. „Здѣсь, по словамъ одного критика, сосредоточивалось въ эту эпоху высшее умственное движеніе интеллигентнаго общества, издавались лучшіе журналы. Тутъ же,

рядомъ съ этими интеллигентными верхами, жили въ своихъ дворцахъ бары во всей деревенской и степной простотѣ, окруженные многочисленными дворнями крѣпостныхъ и сворами собакъ, и беззастѣнчиво производили жестокія расправы на конюшняхъ почти всенародно. Далѣе, рядомъ съ чиновниками-бюрократами петербургскаго склада, щеголями и карьеристами, здѣсь гнѣздились чиновничьи типы и нравы московскихъ подъячихъ допетровской старины". Близко сталкиваясь, благодаря семейнымъ связямъ и первоначальному служебному положенію, съ низшими слоями общества—мѣщанскимъ и особенно купеческимъ, съ простыми русскими людьми, Островскій по таланту и образованію былъ своимъ человѣкомъ и въ высшихъ по интеллигентности кругахъ, не говоря уже о помѣщичьей и чиновничьей средѣ. Такимъ образомъ, еще въ молодости Островскій въ своемъ родномъ городѣ изучилъ различныя полосы современной ему общественной жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ, которую ярко отразилъ въ своихъ пьесахъ, и далъ богатѣйшій, до сихъ поръ еще не разработанный вполнѣ критической литературой матеріалъ для изученія духовнаго склада нашего общества, особенностей русскаго ума и чувства.

Читая его произведенія, прямо поражаешься необъятной широтой захвата русской жизни, обиліемъ и разнообразіемъ типовъ, характеровъ и положеній. Какъ въ калейдоскопѣ, проходятъ передъ нашими глазами всевозможнаго душевнаго склада помѣщики и помѣщицы отъ широкихъ русскихъ натуръ, прожигающихъ жизнь, до хищныхъ скопидомокъ, отъ благодушныхъ, чистыхъ сердцемъ до черствыхъ, не знающихъ никакого нравственнаго удержу; ихъ смѣняетъ чиновничій міръ со всѣми разнообразными представителями его, начиная отъ высшихъ ступеней бюрократической лѣстницы и кончая потерявшими образъ и подобіе Божіе мелкими пропойцами-сутягами, порожденіемъ дореформенныхъ судовъ; далѣе идутъ просто безпочвенные люди, честнымъ и нечестнымъ путемъ перебивающіеся изо дня въ день, всякаго рода дѣльцы, учителя, приживальщики и приживальщицы, провинціальные актеры и актрисы со всѣмъ окружающимъ ихъ міромъ и т. д., и т. д. А на ряду съ этимъ проходитъ далекое историческое и легендарное прошлое Россіи въ видѣ художественныхъ картинъ жизни старинныхъ волжскихъ удальцовъ XVII-го вѣка, грознаго царя Ивана Васильевича, смутнаго времени съ легкомысленнымъ Дмитріемъ, хитрымъ Шуйскимъ, великимъ нижегородцемъ Мининымъ, боярами, ратными людьми и народомъ той эпохи.

Само собою разумѣется, что въ этой длинной галлереѣ типовъ, созданныхъ Островскимъ, мы встрѣчаемся съ личностями и явленіями самой разнообразной нравственной цѣнности. Тутъ передъ нами, говоря своеобразнымъ выраженіемъ одного изъ дѣйствующихъ лицъ его комедій, и „мерзавцы своей жизни" всѣхъ пошибовъ и направленій и „патріоты своего отечества". Сердце содрагается при воспоминаніи о всей той грязи, пошлости, лжи, уничтоженіи человѣческаго достоинства, полномъ нравственномъ паденіи, какія сплошь и рядомъ приходится наблюдать въ пьесахъ Островскаго. Но параллельно съ этими мрачными сторонами жизни авторъ выставляетъ цѣлый рядъ трогательныхъ по своей нравственной чистотѣ образовъ, плѣняющихъ своею кротостью и внутреннимъ величіемъ, свидѣтельствующихъ о глубокой вѣрѣ его въ человѣка и духовныя силы русскаго народа.

Вообще, отношеніе Островскаго къ изображаемымъ имъ явленіямъ жизни настолько любопытно, что на немъ слѣдуетъ нѣсколько остановиться. Первыя его пье-

сы появились въ періодъ довольно острыхъ споровъ между славянофилами и западниками, и тогда какъ одна изъ нихъ вызывала восторги и одобренія одно лагеря, другая приводила въ ликованіе сторонниковъ противоположной партіи: и тѣ и другіе готовы были видѣть въ авторѣ своего единомышленника въ зависимости отъ того, въ какомъ свѣтѣ, привлекательномъ или отталкивающемъ, изображалъ онъ національную русскую жизнь. Не мало доставалось ему отъ обоихъ лагерей, если онъ почему-нибудь не оправдывалъ ожиданій того или другого и своими произведеніями шелъ въ разрѣзъ съ ихъ убѣжденіями. Не сразу поняли современники Островскаго, что онъ въ своемъ творчествѣ былъ объективнымъ художникомъ, чуждымъ въ изображеніи жизни какихъ бы то ни было предвзятыхъ теорій, воспроизводившимъ только то, что подмѣчалъ его вдумчивый взоръ. При такомъ отношеніи къ писательской дѣятельности онъ умѣлъ на удивленіе всѣмъ открывать свѣтлыя черты и возвышенные характеры въ затхломъ мірѣ „темнаго царства“ и, съ другой стороны, разоблачалъ красивую пошлость и нравственное ничтожество блестящихъ представителей такъ называемаго интеллигентнаго общества. Но что-бы ни изображалъ Островскій, въ какія бы мутныя бездны человѣческаго духа ни вводилъ онъ читателя, надъ всѣмъ царитъ его свѣтлое, гуманное міровоззрѣніе, вѣра въ человѣка и его силы, любовь къ жизни, глубокое сочувствіе ко всѣмъ страждущимъ и угнетеннымъ, кроткій, добродушный юморъ. Хоть и много неправды и зла выводитъ онъ въ своихъ пьесахъ, но даже самыя мрачныя изъ нихъ не оставляютъ въ душѣ исключительно гнетущаго, безотраднаго впечатлѣнія; всегда онъ сумѣетъ дать на чемъ-нибудь отдохнуть читателю, пробудить въ его душѣ вѣру въ красоту и величіе Божьяго міра, гдѣ человѣкъ можетъ и долженъ быть счастливъ. Вотъ одинъ изъ многочисленныхъ примѣровъ, иллюстрирующихъ свѣтлое міровоззрѣніе нашего драматурга. Жалкое существо, почти нищій Коршѣловъ („Трудовой хлѣбъ“) произноситъ такой гимнъ жизни: „Да развѣ жизнь-то мила только деньгами, развѣ только и радости, что въ деньгахъ? А птичка-то поетъ, чему она рада, деньгамъ что-ли? Нѣтъ, тому она рада, что на свѣтѣ живетъ. Сама жизнь-то есть радость, всякая жизнь и бѣдная, и горькая—все радость“... Это жизнерадостное міровоззрѣніе, которымъ проникнуто большинство пьесъ Островскаго, придаетъ имъ глубокое воспитательное, гуманизирующее значеніе.

Наконецъ, изученіе его творчества вводитъ читателя въ самыя нѣдра національной русской жизни, открываетъ передъ нимъ неисчерпаемыя сокровища мѣткой, образной, красивой народной рѣчи, знакомитъ съ психологіей и міропониманіемъ самобытнаго русскаго человѣка, развивавшагося внѣ всякихъ инозем ныхъ вліяній. Больше чѣмъ какой-либо другой изъ писателей сороковыхъ годовъ, Островскій даетъ намъ яркое представленіе о русской національной жизни. Остановимся, главнымъ образомъ, на тѣхъ сторонахъ этой жизни, которыя впервые нашли себѣ отраженіе въ творчествѣ Островскаго. Для этого намъ придется разсмотрѣть такъ называемыя бытовыя его пьесы, посвященныя изображенію жизни и типовъ русскаго купечества.

Какъ говорилось выше, бытъ русскаго торговаго сословія, благодаря благопріятно сложившимся обстоятельствамъ, былъ прекрасно знакомъ Островскому, болѣе, чѣмъ какая-нибудь другая сторона родной жизни. Вполнѣ поэтому понятно, что первыя его пьесы черпаютъ свои сюжеты изъ этого быта и воспроизводятъ преиму-

щественно купеческую среду и ея типы. Во главѣ ихъ, если придерживаться хронологическаго порядка, нужно поставить комедію: „Банкротъ“, переименованную потомъ въ „Свои люди сочтемся“, появленіе которой въ печати относится къ 1850-му году. Еще раньше напечатанія она въ чтеніи вызывала восторженные отзывы лучшихъ московскихъ литераторовъ, какъ профессоръ Погодинъ, Шевыревъ, Давидовъ, кн. Одоевскій и др. Вскорѣ въ рукописи она проникла и въ другіе слои общества и была встрѣчена шумными одобреніями всѣхъ, кто не чувствовалъ себя въ духовномъ родствѣ съ Большовымъ, Подхалюзинымъ, Ризоположенскимъ. Но не такъ отнеслись къ ней тѣ, кто узналъ себя въ выведенныхъ типахъ, чьи заповѣдныя тайны были выставлены на всеобщее осмѣяніе. Вопль негодованія пронесся въ московскомъ „именитомъ купечествѣ“, и пьеса десять лѣтъ не видала сцены, а на долю автора выпали большія непріятности. Эта исторія появленія въ свѣтъ первой комедіи Островскаго показываетъ, какъ глубоко-правдиво сумѣлъ онъ въ первомъ же своемъ произведеніи захватить купеческій бытъ. Но съ особенной яркостью и полнотой отразился онъ въ двухъ позднѣйшихъ пьесахъ: „Бѣдность не порокъ“ (1854 г.) и „Гроза“ (1860 г.), на разборѣ которыхъ мы теперь и остановимся, чтобы ближе познакомиться съ тѣмъ своеобразнымъ міромъ, честь открытія котораго въ литературѣ справедливо приписывается Островскому.

Самодурство въ изображеніи Островскаго. Гордѣй Торцовъ.

Добролюбовъ, давшій въ своихъ замѣчательныхъ статьяхъ: „Темное царство“ лучшій критическій разборъ пьесъ Островскаго изъ купеческаго быта, такъ характеризуетъ впечатлѣніе, получаемое отъ этихъ пьесъ, среди которыхъ „Бѣдность не порокъ“ и „Гроза“ занимаютъ во всѣхъ отношеніяхъ первое мѣсто: „Передъ нами грустно-покорныя лица нашихъ младшихъ братій, обреченныхъ судьбою на зависимое, страдательное существованіе. Это міръ затаенной, тихо вздыхающей скорби, міръ тупой, ноющей боли, міръ тюремнаго, гробового безмолвія, лишь изрѣдка оживляемой глухимъ, безсильнымъ ропотомъ, робко замирающимъ при самомъ зарожденіи. Нѣтъ ни свѣта, ни тепла, ни простора... Ни одинъ звукъ съ вольнаго воздуха, ни одинъ лучъ свѣтлаго дня не проникаетъ въ нее. Въ ней вспыхиваетъ по временамъ только искра того священнаго пламени, которое пылаетъ въ каждой груди человѣческой, пока не будетъ залито наплывомъ житейской грязи. Чуть тлѣется эта искра въ сырости и смрадѣ темницы, но иногда на минуту вспыхиваетъ она и обливаетъ свѣтомъ правды и добра мрачныя фигуры томящихся узниковъ. При помощи этого минутнаго освѣщенія мы видимъ, что тутъ страдаютъ наши братья, что въ этихъ одичавшихъ, безсловесныхъ, грязныхъ существахъ можно разобрать черты лица человѣческаго—и наше сердце стѣсняется болью и ужасомъ“. Дѣйствительно, наиболѣе характерной чертой быта, воспроизведеннаго Островскимъ въ разсматриваемыхъ пьесахъ, является полное приниженіе человѣческой личности, съ одной стороны, и съ другой—необузданный произволъ, не признающій никакихъ доводовъ, кромѣ: „я такъ хочу“. Въ комедіи: „Въ чужомъ пиру похъ-

мелье". Островскій далъ мѣткое названіе характерамъ этого второго рода, создавшимся у насъ на почвѣ односторонне понятой домостроевской морали, полнаго, безконтрольнаго владычества въ семьѣ одного лица, предъ которымъ все и всегда должно безпрекословно преклоняться. Онъ назвалъ ихъ самодурами и устами одного изъ дѣйствующихъ лицъ такъ опредѣлилъ это понятіе: „Самодуръ—это называется, коли вотъ человѣкъ никого не слушаетъ; ты ему хоть колъ на головѣ теши, а онъ все свое. Топнетъ ногой, скажетъ—кто я? Тутъ ужъ всѣ домашніе ему въ ноги, а то—бѣда!" Типъ такого самодура полнѣе всего очерченъ въ комедіи: „Бѣдность не порокъ" въ лицѣ Гордѣя Карповича Торцова. На немъ мы и выяснимъ отличительныя черты самодура вообще, а также одной разновидности его—самодура, котораго слегка коснулась цивилизація.

Съ перваго же момента появленія на сценѣ Гордѣя Торцова и до конца комедіи въ немъ особенно ярко выступаетъ его чрезвычайная грубость въ обращеніи съ людьми, надъ которыми онъ чувствуетъ свою власть. Кто бы ни былъ это—приказчикъ, родной братъ, жена, дочь—всѣ они ни разу не слышатъ отъ Гордѣя добраго, ласковаго слова, и это не потому, чтобы они заслужили такое обращеніе, провинились въ чемъ-нибудь передъ нимъ. Даже въ критическія минуты жизни, когда рѣшается ихъ судьба, они, за исключеніемъ развѣ Любима Торцова, изъ повиновенія главѣ дома не выходятъ; нечего и говорить, что въ остальное время каждый ихъ шагъ подчиненъ его волѣ. И все же онъ не находитъ основанія быть довольнымъ окружающими и постоянно даетъ почувствовать свое недовольство въ очень тяжелой для нихъ формѣ. Замѣчаетъ онъ у своего приказчика Мити книгу стихотвореній Кольцова. Казалось бы, что тутъ худого, тѣмъ болѣе, что это происходитъ святками, когда работать не полагается, но Гордѣю это не по душѣ. „А это что еще за глупости?" грубо замѣчаетъ онъ: „Какія нѣжности при нашей бѣдности!" насмѣшливо добавляя при этомъ, когда Митя скромно поясняетъ ему, что это онъ „отъ скуки по праздникамъ стихотворенія господина Кольцова переписываетъ". Еще болѣе сказывается грубость и вмѣстѣ съ тѣмъ черствость Гордѣя, не понимающаго элементарныхъ человѣческихъ чувствъ, какъ, напримѣръ, сыновняя любовь, въ его отвѣтѣ на объясненіе Мити, что онъ жалованіе отсылаетъ матери и потому не тратитъ его на себя: „Матери посылаешь! Ты себя-то образилъ прежде! Матери то не Богъ знаетъ, что нужно, не въ роскоши воспитана; чай, сама хлѣвы затворяла". И не одинъ Митя страдаетъ отъ грубости и черствости сердца Гордѣя Торцова. У себя въ домѣ онъ чувствуетъ себя полнымъ хозяиномъ и даетъ широкій просторъ этимъ свойствамъ своей натуры. Имъ забывается даже исконный русскій обычай—гостепріимство: явившись домой, онъ не задумываясь выгоняетъ вонъ какъ ряженыхъ, такъ и дѣвушекъ, приглашенныхъ Пелагеей Егоровной. Точно такою же грубостью и безсердечностью вѣетъ отъ его отношеній къ родному брату. Любимъ Торцовъ подробно разсказываетъ объ этомъ Митѣ. Промотавъ полученное отъ отца наслѣдство, дойдя до попрошайничества на улицѣ, Любимъ, послѣ тяжелой болѣзни, вдругъ возродился духомъ, захотѣлъ выйти на дорогу честнаго труда. Естественнѣе всего было, конечно, искать помощи у родного брата. Со смиреннымъ сердцемъ пришелъ онъ къ нему, чистосердечно покаялся въ своей безобразной жизни, прося у него участія, поддержки въ видѣ какой-нибудь работы. „А ты знаешь, какъ братъ меня принялъ?" говоритъ онъ Митѣ: „Ему, видишь,

стыдно, что у него братъ такой. А ты поддержи меня, говорю ему, оправь, обласкай, я человѣкъ буду. Такъ нѣтъ, говоритъ, куда я тебя дѣну. Ко мнѣ гости хорошіе ѣздятъ, купцы богатые, дворяне; ты, говоритъ, съ меня голову снимешь".

На ряду съ грубостью и сердечной черствостью у Гордѣя Торцова замѣчается необузданное самодурство, проявляющееся въ формѣ семейнаго деспотизма. Дикій произволъ, не стѣсняемый никакими преградами, доходитъ до того, что Гордѣй, вопреки обычаю, не посовѣтовавшись даже съ супругой обѣщаетъ свою дочь въ жены Африкану Коршунову, котораго онъ привозитъ къ себѣ въ домъ въ качествѣ жениха. Характерно, въ какой формѣ объявляетъ онъ объ этомъ женѣ и дочери: „Я хочу переѣхать отселева въ Москву. А у насъ тамъ будетъ не чужой человѣкъ, будетъ зятюшка Африканъ Саввичъ", т. е. смотритъ на свое рѣшеніе, какъ на нѣчто незыблемое, обязательное для другихъ, хотя оно касается въ такой же мѣрѣ, какъ его, и жены, а болѣе всего его дочери, судьбою которой онъ такъ деспотически распоряжается. Въ порывѣ материнскаго чувства Пелагея Егоровна бросается къ дочери съ крикомъ: „Моя дочь! Не отдамъ!" Но Гордѣй Карпычъ грозно окрикиваетъ ее: „Жена, ты меня знаешь!" и успокаиваетъ Коршунова, заявляя ему: „у меня сказано—сдѣлано". Любовь Гордѣевна, съ своей стороны, понимая—весь ужасъ своего положенія, умоляетъ отца не губить ее, но тотъ только грубо замѣчаетъ ей: „Дура, сама не понимаешь своего счастья. Въ Москвѣ будешь по барски жить, въ каретахъ будешь ѣздить. Одно дѣло—ты будешь жить на виду, а не въ этакой глуши; а другое дѣло—я такъ приказываю". И несчастная дѣвушка прекрасно знаетъ, какую силу имѣетъ этотъ послѣдній аргументъ и безропотно подчиняется ему, отвѣсивъ отцу поклонъ со смиреннымъ заявленіемъ: „Твоя воля, батюшка!" Легко понять, какимъ тяжелымъ бременемъ, ничѣмъ неотвратимымъ, ложится самодурство Гордѣя Карпыча на всю жизнь его семьи, если даже въ такую критическую минуту жена и дочь не въ состояніи съ нимъ бороться. Испытывать его гнетъ тѣмъ болѣе тяжело, что весь онъ коренится не на какихъ-либо разумныхъ основаніяхъ, а вытекаетъ изъ умственной ограниченности и необузданности натуры Гордѣя Торцова. Природное тупоуміе является вообще характерной чертой самодуровъ, и Гордѣй Карпычъ не представляетъ въ этомъ отношеніи исключенія. Его братъ прямо замѣчаетъ, что у него лобная „кость очень толста. Ему, дураку, наука нужна".

Какъ многіе ограниченные люди, Гордѣй Торцовъ отличается большимъ самомнѣніемъ и своеобразной гордостью, что, опять таки, является типической чертой самодурства. Онъ считаетъ себя выше окружающихъ его людей и относится къ нимъ свысока и съ презрѣніемъ. Отсюда, между прочимъ, проистекаетъ его грубость въ обращеніи съ близкими людьми. Опредѣленнѣе его самомнѣніе выступаетъ, напримѣръ, въ разговорѣ съ Коршуновымъ въ третьемъ дѣйствіи. Угощая нареченнаго зятя шампанскимъ „на серебряномъ подносѣ", онъ самодовольно спрашиваетъ его: „Ты мнѣ скажи, что я за человѣкъ? Могутъ меня здѣсь цѣнить?" Объ этомъ пренебрежительномъ отношеніи Гордѣя Карпыча къ окружающимъ, основанномъ на чрезвычайно высокомъ самомнѣніи, говорятъ и другія лица комедіи. Такъ, Пелагея Егоровна жалуется Митѣ на его недовольство окружающей средой. „Мнѣ, говоритъ (разсказываетъ онъ про мужа), здѣсь не съ кѣмъ компанію водить, все, говоритъ, сволочь, все, видишь ты, мужики и живутъ-то по-мужицки". Любимъ,

передавая свой разговоръ съ братомъ, приводитъ слѣдующія слова послѣдняго: „По моимъ чувствамъ и понятіямъ мнѣ бы совсѣмъ... не въ этомъ роду родиться“.

Таковы тѣ черты, которыми Гордѣй Торцовъ примыкаетъ къ цѣлому ряду самодуровъ, изображенныхъ Островскимъ. Но въ немъ есть еще одна особенность, не совсѣмъ обычная для самодуровъ старой формаціи, тѣмъ не менѣе являющаяся очень характерной для той группы русскаго купечества, которая начинаетъ усваивать вліяніе цивилизаціи. Какъ извѣстно, на заурядныя натуры культура, если только она впервые касается ихъ, дѣйствуетъ довольно своеобразно; первое вліяніе ея, подобно дѣйствію нѣкоторыхъ лѣкарствъ, которыя, будучи приняты въ первый разъ, какъ будто ухудшаютъ положеніе больного и только впослѣдствіи содѣйствуютъ его выздоровленію. Грубое невѣжество, не одаренное сильнымъ умомъ, поражается въ культурѣ только ея внѣшними придатками и, стремясь возможно болѣе усвоить ихъ, остается по существу съ тѣми же отрицательными чертами, что и раньше, но только зачастую выступающими гораздо болѣе рельефно и осложненными новыми недостатками, неразрывно связанными съ усвоеніемъ одной внѣшней стороны цивилизаціи. Такъ было и съ Гордѣемъ Торцовымъ. Жилъ онъ въ своемъ родномъ городѣ по отцовскимъ завѣтамъ, не зная никакихъ порядковъ культурной жизни, дожилъ чуть не до 60-ти лѣтъ, не помышляя объ „образованности“. Но вотъ „съѣздилъ въ отъѣздъ“, въ Москву, да и „перенялъ у кого-то“, какъ съ сокрушеніемъ разсказываетъ о немъ Пелагея Егоровна. „Перенялъ“ онъ, какъ и слѣдовало ожидать, одну внѣшность цивилизаціи, грубо матеріальную сторону образованія. „Ладитъ одно—хочу жить по нынѣшнему, модами заниматься“. Въ этой погонѣ за тѣмъ, чтобы „всякую моду подражать“, заключается, по мнѣнію Гордѣя Карпыча, главнѣйшій признакъ образованнаго человѣка. Отсюда—стремленіе придать всему строю своей домашней жизни внѣшній обликъ культурности. Въ гостиной заводится новая, конечно, модная „небель“, за столомъ прислуживаетъ „не молодецъ въ поддевкѣ, либо дѣвка“, а „фицыянтъ въ нитяныхъ перчаткахъ... ученый... изъ Москвы“, который „всѣ порядки знаетъ; гдѣ кому сѣсть, что дѣлать“. Угощаетъ Гордѣй Карпычъ своего пріятеля Коршунова не мадерой или наливками, которыя пьютъ „по необразованію“ въ его кругу, а шампанскимъ и приказываетъ подать его не болѣе, не менѣе, какъ полдюжины. Жена на старости лѣтъ должна, по его требованію, наряжаться въ чепчикъ; даже приказчику и знакомому купеческому сыну достается за то, что тѣ не „подражаютъ моду“ и носятъ долгополые кафтаны, а не одѣваются въ сюртуки. Идеаломъ человѣка, усвоившаго „всякую моду“, является для него Африканъ Саввичъ, предъ которымъ онъ изъ силъ выбивается, чтобы заслужить его одобреніе. За внѣшнимъ лоскомъ, которымъ, по мнѣнію Гордѣя Карпыча, надѣленъ Коршуновъ, онъ не различаетъ въ немъ его отвратительныхъ нравственныхъ качествъ, не обращаетъ вниманія на худую молву, которая всюду идетъ о немъ, и не задумываясь готовъ отдать за него свою дочь. Такимъ образомъ, та внѣшняя образованность, усвоеніемъ которой такъ кичится Гордѣй Торцовъ, нисколько по существу не измѣнила его и только дала лишній поводъ проявляться его самодурству и заносчивости.

Но изобразивъ цѣлый рядъ недостатковъ Гордѣя Торцова, Островскій, вѣрный жизненной правдѣ, сумѣлъ показать въ немъ и привлекательную черту. При всей своей грубости, жестокосердіи, необузданномъ самодурствѣ, онъ оказывается спосо-

бенъ растрогаться и, подъ наплывомъ добрыхъ чувствъ, перестаетъ быть самодуромъ и дѣлаетъ хорошее дѣло, уступая просьбамъ брата жены и дочери и соглашаясь на бракъ послѣдней съ Митей. Но это чисто временный, мимолетный порывъ, который такъ же быстро можетъ пройти, какъ неожиданно появился. Въ натурѣ Гордѣя Торцова, какъ и у всѣхъ самодуровъ, нѣтъ простора для гуманныхъ, человѣческихъ чувствъ; они подавляются природной необузданностью, которая, не встрѣчая себѣ препятствій, доходитъ до гигантскихъ размѣровъ. Единственное правило, которымъ они руководствуются въ жизни, это—„моему ндраву не препятствуй“. Передъ этимъ „ндравомъ“, какъ бы онъ невыносимъ ни былъ, должно преклоняться все окружающее.

Характеры, сложившіеся подъ вліяніемъ самодурства: Пелагея Егоровна, Любовь Гордѣевна, Митя.

Какъ дѣйствуетъ господствующее во весь размахъ самодурство на тѣхъ, кто, волею судьбы, обреченъ на полное ему подчиненіе, это можно видѣть изъ разсмотрѣнія характеровъ Пелагеи Егоровны, Любовь Гордѣевны и Мити.

Въ противоположность Гордѣю Карпычу Пелагея Егоровна надѣлена въ достаточной мѣрѣ здравымъ смысломъ и прекрасно понимаетъ всю нелѣпость подражательныхъ затѣй мужа. „Какъ-таки разсудку не имѣть!“ жалуется она на него Митѣ: „ну, еще кабы молоденькій: молоденькому это и нарядиться, и все это лестно, а то вѣдь подъ шестьдесятъ! Миленькій, подъ шестьдесятъ!“

Враждебно относится она къ погонѣ мужа за внѣшнимъ лоскомъ европейскаго просвѣщенія еще и потому, что всей душой любитъ родные русскіе обычаи и весь старинный укладъ жизни. „Я, матушка,—говоритъ она своей гостьѣ,—люблю по старому, по старому... да по нашему, по русскому. Да... чтобъ потчевать, да чтобъ мнѣ пѣсни пѣли“... „Модное-то ваше да нынѣшнее,—убѣждаетъ она мужа,—каждый день мѣняется, а русскій-то нашъ обычай испоконъ вѣку живетъ! Старики-то не глупѣй насъ были“. И она съ удовольствіемъ слушаетъ святочныя пѣсни, потѣшается надъ ряжеными, отъ души радуется праздничному веселью молодежи.

Въ обращеніи съ людьми Пелагея Егоровна чужда грубости и безсмысленнаго чванства, какими отличается ея мужъ. Ея отношенія къ Митѣ, Егорушкѣ, подругамъ дочери полны ласки и сердечности. Дочь свою Любовь Гордѣевну она любитъ съ большой нѣжностью и желаетъ ей въ мужья того, на комъ остановится ея собственное сердце. Узнавъ о взаимномъ ихъ расположеніи съ Митей, она готова выдать дочь за него, не обращая вниманія на то, что онъ бѣденъ и неровня ей по своему общественному положенію.

Такимъ образомъ, весь душевный складъ, всѣ чувства и мысли Пелагеи Егоровны идутъ въ разрѣзъ съ образомъ дѣйствій и настроеніемъ Гордѣя Карпыча.

Однако, несмотря на то, что его поведеніе постоянно оскорбляетъ самыя святыя ея чувства, она безропотно покоряется ему, выливая свою наболѣвшую душу въ безплодныхъ жалобахъ, охахъ да вздохахъ. Гнетъ самодурства, подъ которымъ

она прожила свой вѣкъ, до того парализовалъ ея волю и энергію, что она не въ силахъ что-нибудь предпринять даже въ томъ случаѣ, когда дѣло идетъ о томъ, что дороже ей всего на свѣтѣ, о судьбѣ, точнѣе гибели, родной, горячо любимой дочери. Чуткимъ материнскимъ сердцемъ чуетъ она, что ея Любочкѣ грозитъ бѣда, что Гордѣй Карпычъ затѣялъ что-то недоброе по отношенію къ дочери: „смотритъ звѣремъ, ни словечка не скажетъ, точно я и не мать“, раскрываетъ она свою душу Митѣ—и однако же не смѣетъ даже обратиться къ нему съ вопросомъ о такомъ близкомъ и дорогомъ для нея дѣлѣ. Наконецъ, мучительное ожиданіе разрѣшается: какъ ударъ грома, поражаетъ ее объявленіе Гордѣя Карпыча о томъ, что онъ выдаетъ дочь за Коршунова. Въ порывѣ безпредѣльной материнской любви, чувствуя, что дочь обречена на гибель въ замужествѣ за этимъ ужаснымъ человѣкомъ, она, не помня себя, бросается къ ней съ крикомъ: „Моя дочь! Не отдамъ!“ Но стоило Гордѣю Карпычу напомнить ей о своей волѣ словами: „Жена! Ты меня знаешь!“ какъ бѣдная женщина тотчасъ смиряется и не чувствуетъ въ себѣ никакой энергіи, чтобы отстоять любимое дитя. Только въ слезахъ да безплодныхъ сѣтованіяхъ изливается ея горе. „Охъ, не моя воля“, скорбитъ она: „кабы моя воля была, нешто-бъ я отдала!... Глаза то всѣ проглядѣла, на нее глядючи! Хоть бы теперь то наглядѣться на нее про запасъ. Точно я ее хоронить собираюсь!... Что жъ я! Вотъ поплакать—наше дѣло“.

Глубокое сожалѣніе возбуждаетъ эта несчастная мать, сама сознающая свою полную безпомощность, до такой степени угнетенная не знающимъ преграды самодурствомъ мужа, что не въ состояніи сохранить за собою даже тѣ немногія права, какія, согласно русскому исконному обычаю, принадлежатъ ей, какъ матери, въ рѣшеніи вопроса о замужествѣ дочери.

На примѣрѣ Пелагеи Егоровны можно видѣть, до какого обезпеченія и полнаго уничтоженія всякой способности къ самобытной дѣятельности, къ мало-мальски самостоятельному шагу доводитъ самодурство натуру, надѣленную самыми симпатичными нравственными качествами. Любовь Гордѣевна и Митя тоже служатъ прекрасными иллюстраціями этой мысли.

Оба они горячо любятъ другъ друга и находятъ поддержку своему чувству у Пелагеи Егоровны. Митя при этомъ представляетъ собою глубоко самоотверженную натуру, способную къ жертвѣ ради блага другого. Онъ свое жалованье отсылаетъ матери, а самъ терпитъ нужду; рискуя подпасть подъ гнѣвъ хозяина, даетъ у себя пріютъ его несчастному, безпутному брату и даже иной разъ снабжаетъ его деньгами. И однако же оба они не чувствуютъ въ себѣ никакой силы, чтобы создать свое счастье, бороться съ тѣмъ, что разрушаетъ его. Они лишены способности сдѣлать малѣйшій самостоятельный шагъ. „А ну, какъ тятенька не захочетъ нашего счастья, что тогда?“ съ тревогой спрашиваетъ Любовь Гордѣевна Митю, когда они объяснились. И тотъ малодушно отстраняетъ отъ себя этотъ роковой вопросъ, говоря: „что загадывать впередъ? Тамъ какъ Богъ дастъ!“ Дальнѣйшій ходъ событій какъ нельзя болѣе подтверждаетъ ихъ безпомощность въ борьбѣ съ деспотическимъ самодурствомъ Гордѣя Карпыча. Привозитъ онъ къ себѣ въ домъ Африкана Саввича и объявляетъ его женихомъ дочери, и у той, несмотря на то, что разбиваются всѣ ея мечты о счастьи, едва хватаетъ силы, чтобы обратиться

къ отцу съ мольбою, которая начинается однако словами: „Тятенька! Я изъ твоей воли ни на шагъ не выйду“. Весь протестъ ея выражается въ томъ, что она бросается въ ноги отцу и слезно молитъ его: „не захоти моего несчастья на всю жизнь!... Передумай, тятенька!... Что хочешь меня заставь, только не принуждай ты меня противъ сердца за мужа итти за немилаго!“ Но когда тотъ сурово заявляетъ о неизмѣнности своего рѣшенія, она смиренно говоритъ: „Твоя воля, батюшка!“ кланяется и отходитъ къ матери, и на этомъ кончается ея слабая попытка отстоять свое право распоряжаться своею личностью. А, вѣдь, какъ горячо любитъ она Митю, какъ хорошо знаетъ, что ждетъ ее въ замужествѣ съ Коршуновымъ, замучившимъ ревностью свою первую жену.

Митя какъ будто нѣсколько больше ея проявляетъ энергіи въ борьбѣ за свое счастье, но и она представляется слишкомъ ничтожной,—не даромъ же онъ живетъ подъ гнетомъ торцовскаго самодурства. Онъ не можетъ видѣть несчастья любимой дѣвушки и покидаетъ домъ Гордѣя Карпыча. Въ минуту прощанья расходилось у него сердце, и онъ вотъ съ какими рѣчами обращается къ Пелагеѣ Егоровнѣ, зная, что та на его сторонѣ: „Соберите-ка вы ее (Любовь Гордѣевну) да одѣньте потеплѣе... Посажу я ее въ саночки-самокаточки да и былъ таковъ! Не видать тогда ее старому, какъ ушей своихъ, а моей головѣ заодно ужъ погибать! Увезу ее къ матушкѣ, да и повѣнчаемся! Эхъ! Дайте душѣ просторъ—разгуляться хочетъ!“ Но это тотъ порывъ, минутный подъемъ духа, на который способны порою самые безвольные люди. Вспыхнувъ, какъ порохъ, онъ такъ же быстро и гаснетъ. У него не хватаетъ воли настоять на своемъ рѣшеніи, и онъ, встрѣтивъ возраженія, самъ измѣняетъ свое намѣреніе, успокаивая себя фразой: „Ну, знать не судьба!“ хотя и знаетъ, что „Любовь Гордѣевнѣ за Коршуновымъ не иначе, какъ погибать надобно“. И если бы не случайное стеченіе обстоятельствъ, благодаря которому благополучно устраивается судьба обоихъ молодыхъ людей, жизнь ихъ, особенно Любовь Гордѣевны, была бы разбита навѣки, а они не въ состояніи ничего предпринять, не могутъ хоть сколько-нибудь бороться съ надвигающимся несчастьемъ. Вся ихъ сила воли, энергія, самобытность до конца подавлены властью самодурства.

Любимъ Торцовъ.

Есть въ комедіи: „Бѣдность не порокъ“ еще одинъ очень любопытный образъ, созданіемъ котораго Островскій вызвалъ многочисленные восторги и порицанія среди современныхъ читателей. Это—знаменитый Любимъ Торцовъ, своими высокими качествами души приводившій въ восторгъ кружокъ славянофиловъ, группировавшихся возлѣ журнала: „Москвитянинъ“, и наоборотъ, послуживший предметомъ издѣвательствъ надъ этими послѣдними со стороны западниковъ, которымъ больше бросались въ глаза его отрицательныя стороны.

Исторія Любима Торцова есть печальная исторія многихъ надѣленныхъ не совсѣмъ заурядным духовнымъ міромъ русскихъ людей, загубленныхъ гнетущими условіями жизни окружающей среды, спустившихся до самыхъ поддонковъ общества, но и тамъ, „на днѣ“, сохранившихъ нѣкоторыя возвышенныя качества своего духа. Въ виду этого личность Любима представляетъ собой интересъ, и потому Остров-

скій довольно подробно разсказываетъ намъ, какъ выбился онъ изъ привычной колеи жизни и дошелъ до положенія босяка, пропойцы, отверженнаго обществомъ.

Отъ природы обладающій пылкимъ темпераментомъ, что называется, „широкая натура“, онъ при жизни отца въ родной семьѣ, гдѣ, по всей вѣроятности, тоже царило самодурство, поневолѣ долженъ былъ сдерживать себя, подчиняясь господствовавшей силѣ. Чѣмъ сильнѣе было это подчиненіе, чѣмъ болѣе лишалась свободы его страстная натура, тѣмъ могущественнѣе должна была пробуждаться въ немъ неудержимая потребность въ „вольной волюшкѣ“, стремленіе дать просторъ рвущейся къ сильнымъ, разнообразнымъ впечатлѣніямъ душѣ.

Наконецъ, желанная свобода получена: отецъ умеръ, гнета нѣтъ, въ рукахъ изрядная сумма денегъ, доставшаяся по наслѣдству отъ дѣлежа съ братомъ. Любимъ знаетъ, что братъ его надулъ, что дѣлежъ совершенъ неправильно, но жажда новыхъ впечатлѣній, упоеніе свободой такъ велико, что онъ не обращаетъ на это вниманіе и поскорѣй отправляется въ Москву „людей посмотрѣть, себя показать, высокаго тону набраться“. Долго сдерживаемая широкая русская натура, не смягченная ни образованіемъ, ни благотворными вліяніями окружающихъ, развернулась во всю. И пошелъ Любимъ Торцовъ обычной дорогой не знающихъ удержу „савраповъ безъ узды“. „То-есть такого дурака разыгриваю“, вспоминаетъ онъ потомъ объ этой порѣ: „что на рѣдкость. Первое дѣло, одѣлся франтомъ—знай, дескать, нашихъ! Сейчасъ, разумѣется, по трактирамъ... Шпиленъ-зи полька, дайте еще бутылочку похолоднѣе. Пріятелей, друзей завелось хоть прудъ пруди! По театрамъ ѣздилъ... Все трагедію ходилъ смотрѣть: очень любилъ, только не видѣлъ ничего путемъ и не помню ничего, потому что больше все пьяный“, и т. д. Естественное послѣдствіе этого разгула—полная растрата всего наслѣдства, а тамъ—„продалъ платье, всѣ модныя штуки, взялъ бумажками, размѣнялъ на серебро, серебро на мѣдныя“, а тамъ—полная нищета и позоръ. Однако ѣсть надобно. И вотъ, не будучи въ состояніи воровать,—совѣсть не позволяетъ,—Любимъ Карпычъ добываетъ себѣ пропитаніе шутовствомъ. „Сталъ по городу скоморохомъ ходить, по копеечкѣ собирать, шута изъ себя разыгривать, прибаутки разсказывать, артикулы разные выкидывать. Бывало, дрожишь съ утра ранняго въ городѣ, гдѣ-нибудь за угломъ отъ людей хоронишься да дожидаешься купцовъ. Какъ пріѣдетъ, особенно кто побогаче, выскочишь, сдѣлаешь колѣно, ну и дастъ кто пятачокъ, кто гривну. Что наберешь, тѣмъ и дышешь день-то, тѣмъ и существуешь“.

Тяжелая жизнь, полная лишеній и униженій, наконецъ, отрезвила его. Простудившись зимою, онъ пролежалъ довольно долго въ больницѣ и тутъ сталъ приходить въ себя. „Страхъ на меня напалъ,—разсказываетъ онъ Митѣ,—ужасть на меня напла. Какъ я жилъ? Что я за дѣла дѣлалъ? Сталъ я тосковать, да такъ тосковать, что, кажется, умереть лучше“. Такъ произошло духовное возрожденіе Любима Торцова. Честной трудовой жизнью хочетъ онъ загладить грѣхи прошлаго, но, не найдя поддержки въ родномъ братѣ, грубо оттолкнувшемъ его, не въ силахъ самостоятельно выбиться на желанную дорогу.

Однако, оставаясь босякомъ, Любимъ Торцовъ сумѣлъ сохранить въ себѣ лучшія качества своей души: любовь къ правдѣ, чувство благодарности, участіе къ чужому горю, уваженіе къ труду. Несмотря на то, что онъ, такъ сказать, надорванъ жизнью, онъ настойчивъ и энергиченъ, разъ дѣло идетъ о судьбѣ симпатич-

ныхъ ему людей. Подъ его паясничествомъ и глумленіемъ надъ Коршуновымъ въ третьемъ дѣйствіи кроется тонкій разсчетъ, изобличающій въ немъ умнаго человѣка. Ему нужно, съ одной стороны, вывести на чистую воду Коршунова, а съ другой,—задѣвъ его за живое, заставить отказаться отъ невѣсты. И то и другое, какъ извѣстно, вполнѣ ему удается. Сумѣлъ онъ найти дорогу и къ мало доступному гуманнымъ чувствамъ сердцу брата, котораго своей горячей, хватающей за душу рѣчью заставилъ хоть на время стать человѣкомъ. „Человѣкъ ты или звѣрь?“ говоритъ онъ, становясь передъ нимъ на колѣни. „Пожалѣй ты и Любима Торцова! Братъ, отдай Любушку за Митю—онъ мнѣ уголъ дастъ. Назябся ужъ я, наголодался. Лѣта мои прошли, тяжело ужъ мнѣ паясничать на морозѣ-то изъ-за куска хлѣба; хоть подъ старость-то, да честно пожить. Вѣдь, я народъ обманывалъ, просилъ мылостыню, а самъ пропивалъ. Мнѣ работишку дадутъ: у меня будетъ свой горшокъ щей. Тогда то я Бога возблагодарю. Братъ! И моя слеза до неба дойдетъ. Что онъ бѣденъ-то! Эхъ, кабы я бѣденъ былъ, я бы человѣкомъ былъ. Бѣдность не порокъ“. Даже черствый Гордѣй Карпычъ прослезился отъ этой идущей отъ сердца мольбы, даже на него подѣйствовало горячее, благородное слово брата.

Такимъ образомъ, Любимъ Торцовъ, спустившійся въ самые низшіе слои общества, отверженный и братомъ и своимъ сословіемъ, при всѣхъ своихъ недостаткахъ отличается большой нравственной силой и стоитъ несравненно выше Гордѣя Карпыча. Но онъ—жертва того строя жизни, откуда взятъ сюжетъ для разсматриваемой комедіи, строя, который не даетъ мѣста страстнымъ, энергичнымъ, даровитымъ натурамъ, неспособнымъ обезличиться, какъ напримѣръ, Митя, Любовь Гордѣевна, Пелагея Егоровна, или же превратиться въ угнетателя, какъ самодуръ Гордѣй Карпычъ. Изображая въ лицѣ Любима Торцова одну изъ жертвъ патріархальной купеческой среды, Островскій впервые въ нашей литературѣ воплотилъ въ этомъ образѣ типъ русскаго босяка, пропойцы въ той разновидности, которая наиболѣе приковываетъ къ себѣ вниманіе и вызываетъ сочувствіе. Полъ-столѣтія прошло съ тѣхъ поръ, какъ созданъ Любимъ Торцовъ, а между тѣмъ онъ до сихъ поръ не утерялъ своей жизненности.

Изобразивъ въ комедіи: „Бѣдность не порокъ“ одного изъ самыхъ типическихъ представителей самодурства и показавъ, какъ дѣйствуетъ оно на окружающихъ, Островскій удѣлилъ въ ней не мало мѣста и чисто бытовой сторонѣ жизни, выведя на сцену народные обычаи, пѣсни, святочныя развлеченія. Передъ нами проходитъ все незатѣйливое народное русское святочное веселье съ подблюдными пѣснями, ряженьми, танцами и обычнымъ угощеніемъ—пряниками, конфектами, мадерой, веселье и шутки молодежи, шаблонные разговоры старухъ, скорбное пѣніе свадебныхъ пѣсенъ и т. д. Эта сторона творчества Островскаго—народность тоже была въ значительной степени новостью для тогдашней литературы. Одинъ изъ лучшихъ нашихъ критиковъ Аполлонъ Григорьевъ, посвятившій Островскому очень цѣнныя статьи, справедливо увидѣлъ въ этомъ „новое слово“ въ нашей литературѣ. Обращеніе къ народности за матеріаломъ для поэтическаго творчества привело въ восторгъ многихъ изъ современниковъ Островскаго. Яркимъ выразителемъ этого

восторга было напечатанное въ журналѣ: „Москвитянинъ“ стихотвореніе, гдѣ находятся, между прочимъ, такія строки.

Скорѣй въ театръ! Тамъ ломятся толпами,
Тамъ по душѣ теперь гуляетъ бытъ родной;
Тамъ пѣсня русская свободно, звонко льется,
Тамъ цѣлый міръ, міръ полный и живой...
Великорусская на сценѣ жизнь пируетъ,
Великорусское начало торжествуетъ,
Великорусской рѣчи складъ,
Великорусскій умъ, великорусскій взглядъ,
Какъ Волга-матушка, широкій и гульливый...

Общая картина жизни, изображенная въ „Грозѣ“ Островскаго.

Характеризуя самодурство Гордѣя Торцова, мы упоминали о томъ, что оно основано на коренныхъ принципахъ русской домашней жизни, опирается на односторонне понятый домостроевскій идеалъ семьи, сохранившійся почти въ полной неприкосновенности въ старомъ купеческомъ быту. Но въ образѣ Гордѣя Торцова Островскій центръ тяжести перенесъ на его личныя свойства и представилъ его самодурство и деспотизмъ не какъ результатъ опредѣленныхъ бытовыхъ условій, а независимо отъ нихъ, какъ продуктъ его личныхъ свойствъ. Зато въ драмѣ: „Гроза“, написанной шесть лѣтъ спустя послѣ комедіи: „Бѣдность не порокъ“ и увѣнчанной Академіей Наукъ Уваровской преміей, тотъ же семейный деспотизмъ и самодурство ставятся въ непосредственную связь съ домостроевскими принципами жизни. „Гроза“ написана была послѣ поѣздки Островскаго для изученія въ бытовомъ и промышленномъ отношеніи верхняго теченія Волги. Создавалась она одновременно съ отчетомъ о путешествіи и явилась плодомъ непосредственныхъ впечатлѣній, вынесенныхъ изъ наблюденій надъ народно-купеческимъ бытомъ.

Какъ и въ комедіи: „Бѣдность не порокъ“, дѣйствіе разыгрывается въ предѣлахъ одной семьи, но на ряду съ этимъ, въ видѣ, такъ сказать, общаго фона картины, авторъ даетъ краткій очеркъ жизни приволжскаго города Калинова, гдѣ происходитъ дѣйствіе. Это одинъ изъ тѣхъ медвѣжьихъ угловъ нашего отечества, которые точно отрѣзаны отъ всего міра и не ощущаютъ никакой связи съ остальными людьми. Лучшій истолкователь „Грозы“—Добролюбовъ въ статьѣ: „Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“, посвященной разбору ея, такъ характеризуетъ обитателей Калинова: „Никакіе интересы міра ихъ не тревожатъ, потому что не доходятъ до нихъ; царства могутъ рушиться, новыя страны открываться, лицо земли можетъ измѣняться, какъ ему угодно, міръ можетъ начать новую жизнь на новыхъ началахъ,—обитатели города Калинова будутъ себѣ существовать по прежнему въ полнѣйшемъ невѣдѣніи объ остальномъ мірѣ“. Эта обособленность, жизнь въ сторонѣ отъ всякихъ постороннихъ вліяній дала полный просторъ для развитія нѣкоторыхъ отрицательныхъ сторонъ мѣщанско-купеческаго быта, застывшаго въ неизмѣнныхъ формахъ домостроевскихъ традицій. Лучше всего обрисовывается эта жизнь въ рѣчахъ единственнаго положительнаго типа, выведеннаго въ этой пьесѣ Островскимъ,—

механика-самоучки Кулигина. Вотъ въ какихъ выраженіяхъ изображаетъ онъ Борису жизнь калиновцевъ: „Жестокіе нравы, сударь, въ нашемъ городѣ, жестокіе! Въ мѣщанствѣ, сударь, вы ничего, кромѣ грубости да бѣдности нагольной, не увидите. И никогда намъ, сударь, не выбиться изъ этой коры! Потому что честнымъ трудомъ никогда не заработать намъ больше насущнаго хлѣба! А у кого деньги, сударь, тотъ старается бѣднаго закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денегъ наживать... Бульваръ сдѣлали, а не гуляютъ. Ну, что-бы, кажется, имъ не гулять, не дышать свѣжимъ воздухомъ? Такъ нѣтъ. У всѣхъ давно ворота, сударь, заперты, и собаки спущены... Вы думаете, они дѣло дѣлаютъ, либо Богу молятся? Нѣтъ, сударь! И не отъ воровъ они запираются, а чтобы люди не видали, какъ они своихъ домашнихъ ѣдятъ поѣдомъ, да семью тиранятъ. И что слезъ льется за этими запорами невидимыхъ да неслышимыхъ!.. И что, сударь, за этими замками разврату темнаго да пьянаго! И все шито да крыто... Ты, говоритъ, смотри въ людяхъ меня да на улицѣ, а до семьи моей тебѣ дѣла нѣтъ. Семья, говоритъ, дѣло тайное, секретное! Знаемъ мы эти секреты-то! Отъ этихъ секретовъ-то, сударь, ему одному весело, а остальные волкомъ воютъ. Да и что за секретъ? Кто его не знаетъ! Ограбить сиротъ, родственниковъ, племянниковъ, заколотить домашнихъ, такъ, чтобы ни объ чемъ, что онъ тамъ творитъ, пикнуть не смѣли,—вотъ и весь секретъ“!

Безпредѣльное невѣжество царитъ въ этой ужасной средѣ, погруженной въ свои будничныя дрязги. Да оно и не удивительно. Всякая любознательность, всякая попытка выйти изъ заколдованнаго круга калиновскихъ понятій подавляется въ корнѣ своемъ, какъ нѣчто грѣшное и преступное. Такія лица, какъ стремящійся къ свѣту знанія, вопреки всѣмъ преградамъ, самоучка-механикъ Кулигинъ, встрѣчаютъ одно осужденіе отъ представителей этой среды. Хочетъ, напримѣръ, Кулигинъ для общей пользы устроить громоотводъ и, чтобы склонить на пожертвованіе купца Дикого, разъясняетъ ему причины грозы, указывая, что она происходитъ отъ электричества. А тотъ въ отвѣтъ преподноситъ слѣдующую тираду: „Какое еще тамъ елестричество! Ну, какъ же ты не разбойникъ? Гроза-то намъ въ наказаніе посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи, оборопяться. Что, ты татаринъ, что-ли?“. Зато какимъ уваженіемъ пользуются личности въ родѣ странницы Ѳеклуши, которая „по своей немощи далеко не ходила, а слыхать—много слыхала“. Разсказы Ѳеклуши имъ по душѣ, ибо вполнѣ гармонируютъ съ ихъ собственнымъ невѣжествомъ. Съ упоеніемъ слушаютъ они повѣствованія старой болтуньи о странѣ, гдѣ всѣ люди съ песьими головами, объ огненномъ зміи, котораго стали запрягать „для ради скорости“, о дьяволѣ, котораго она собственными глазами видѣла въ Москвѣ поутру на крышѣ одного дома сѣющимъ плевелы, чтобы ихъ потомъ въ суетѣ дневной подбирали люди.

Таковъ общій фонъ жизни, на которомъ вырисовываются отдѣльныя дѣйствующія лица „Грозы“. Мы остановимся на личности Дикого, Кабановой, ея сына и главной героини Катерины, какъ наиболѣе типичныхъ явленіяхъ этой жизни.

Дикой, Кабанова, Тихонъ.

Въ лицѣ Дикого мы имѣемъ дѣло съ самодуромъ чистѣйшей воды. Это человѣкъ, для котораго не существуетъ никакихъ разумныхъ основаній для его поступковъ, который не признаетъ права даже на ничтожный самостоятельный шагъ у тѣхъ людей, которые имѣли несчастье попасть къ нему въ подчиненіе. Единственный законъ, единственная сила, передъ которой всѣ должны склоняться,—это его дикій, необузданный лишенный всякихъ логическихъ основаній произволъ. Это, по мѣткому опредѣленію калиновцевъ, „воинъ“; по его собственнымъ словамъ, „у него дома постоянно война идетъ“.

Вотъ одна сцена, въ достаточной степени характеризующая воинственное настроеніе Дикого и показывающая, въ чемъ оно проявляется. Гуляя въ праздничный день на бульварѣ, встрѣчается онъ со своимъ племянникомъ Борисомъ, вся вина котораго только въ томъ, что онъ попался ему на дорогѣ. И вотъ, не взирая ни на что, онъ всенародно чуть не съ пѣной у рта накидывается на него: „Разъ тебѣ сказалъ, два тебѣ сказалъ: не смѣй мнѣ навстрѣчу попадаться; тебѣ все неймется! Мало тебѣ мѣста-то? Куда не пойди, тутъ ты и есть! Тьфу ты, проклятый“! Борисъ, по опыту зная всю безполезность возраженій, молча выслушиваетъ ругательства дяди. Но тотъ все не успокаивается. „Что ты, какъ столбъ, стоишь-то? Тебѣ говорятъ аль нѣтъ“? продолжаетъ онъ свои нападки.—Я и слушаю, что-жъ мнѣ дѣлать еще,—смиренно отвѣчаетъ Борисъ. Но передъ Дикимъ никогда правъ не будешь: „Провались ты! Я съ тобою и говорить-то не хочу, съ езуитомъ. Вотъ навязался“! произноситъ онъ напослѣдокъ, плюетъ и уходитъ прочь. Ни за что, ни про что ругательски изругалъ невиннаго человѣка и его же сдѣлалъ виноватымъ во всемъ происшедшемъ. Но не только съ членами своей семьи „воюетъ“ Дикой; онъ также накидывается на всѣхъ, предъ кѣмъ чувствуетъ свою силу.

На ряду съ этимъ безсмысленнымъ самодурствомъ, основаннымъ на сознаніи своего внѣшняго превосходства надъ окружающими, которое формулируется Дикимъ въ словахъ: „Ты—червякъ! Захочу—помилую, захочу—раздавлю“, авторъ оттѣнилъ въ немъ и другія черты, характерныя для нѣкоторыхъ представителей дореформеннаго купечества. Это—жадность къ деньгамъ и склонность къ плутовству, которыя онъ въ своей беззастѣнчивой наивности открыто выставляетъ на показъ. Для него нѣтъ ничего хуже, какъ платить кому-нибудь деньги. „Знаю, что надо отдать, а все добромъ не могу“, откровенничаетъ онъ передъ Кабановой: „Другъ ты мнѣ и я тебѣ долженъ отдать, а приди ты у меня просить—обругаю. Я отдамъ—отдамъ, а обругаю. Потому только заикнись мнѣ о деньгахъ, у меня всю внутренную разжигать станетъ... ну, и въ тѣ поры ни за что обругаю человѣка“. Онъ присваиваетъ наслѣдство Бориса и не стѣсняясь заявляетъ: „у меня свои дѣти, за что я чужимъ деньги отдамъ? Черезъ это я своихъ обидѣть долженъ“. На замѣчаніе городничаго, чтобы онъ честно разсчитывалъ рабочихъ, Дикой беззастѣнчиво отвѣчаетъ ему: „Стоитъ-ли, ваше высокоблагородіе, намъ съ вами объ такихъ пустякахъ разговаривать! Много у меня въ годъ-то народу перебываетъ; вы то поймите: не доплачу я имъ по какой-нибудь копейкѣ на человѣка, а у меня изъ этого тысячи составляются, такъ оно мнѣ и хорошо“.

Но какъ ни разнузданъ въ своемъ самодурствѣ Дикой, попирающій элемен-

тарныя правила нравственной порядочности, въ душѣ его все-же живетъ скрытая боязнь нарушенія установленныхъ нормъ жизни. Характеренъ въ этомъ отношеніи его разсказъ о томъ, какъ онъ, изругавши во время говѣнья мужика, потомъ „на дворѣ, въ грязи ему кланялся, при всѣхъ... кланялся“. Этимъ [illegible]ящимся гдѣ то въ глубинѣ души сознаніемъ необходимости подчинять свою необузданную волю высшему нравственному распорядку объясняется его видимое признаніе превосходства надъ собою Кабановой, которая одна во всемъ городѣ можетъ его „разговорить“. Дѣло въ томъ, что въ лицѣ ея онъ видитъ воплощеніе тѣхъ идеаловъ жизни, нравственныхъ принциповъ, дальнѣйшимъ логическимъ развитіемъ которыхъ является его самодурство.

Кабанова—это олицетвореніе тѣхъ жизненныхъ правилъ въ ихъ крайней формѣ, сложившихся въ русскомъ народѣ, которыя впервые въ Домостроѣ нашли себѣ выраженіе въ литературѣ. Въ основѣ ихъ лежитъ, между прочимъ, мысль, о повиновеніи дѣтей родителямъ и жены мужу. Но какой уродливый видъ получила она въ моральномъ кодексѣ Кабановой! Единственное средство достигнуть такого повиновенія, по ея мнѣнію, заключается въ томъ, чтобы внушать членамъ семьи непрестанный страхъ, постоянно изводить ихъ упреками и бранью, не давать имъ сдѣлать по своей волѣ и шагу, распространить свой контроль не только на дѣйствія, но и мысли ихъ. И она настойчиво, послѣдовательно проводитъ эти принципы въ жизнь, ни передъ чѣмъ не отступая. Какъ ржа желѣзо, по выраженію одного дѣйствующаго лица, точитъ она своего совершенно уже обезличеннаго сына Тихона и его жену Катерину, не давая имъ свободно дохнуть. То ни съ того, ни съ сего, начинаетъ она допекать сына, что тотъ недостаточно почтителенъ къ ней и славитъ повсюду, что мать ворчунья и проходу не даетъ, хотя сама же признается, когда сынъ возражаетъ ей, что ничего подобнаго не слыхала—„ужъ кабы слышала, тогда не такъ бы заговорила“; то попрекаетъ его въ томъ, что онъ жену больше любитъ чѣмъ мать,—нѣтъ нужды, что она этого „глазами не видитъ: у нея сердце вѣщунъ, она сердцемъ можетъ чувствовать“, то вдругъ накидывается на невѣстку, когда та почтительно замѣтила, что и она и мужъ относятся къ ней съ любовью, упрекая ее въ томъ, что она выставляетъ на показъ свои чувства. И это все на улицѣ, вышедши изъ церкви! Когда Тихонъ на упреки матери, что жена его не боится, замѣчаетъ, что ему этого и не нужно, съ него довольно ея любви, она считаетъ его чуть не сумасшедшимъ. „Какъ зачѣмъ бояться,—говоритъ она,—какъ зачѣмъ бояться? Да ты рехнулся, что-ли? Тебя не станетъ бояться, меня и подавно. Какой же это порядокъ-то въ домѣ будетъ? Вѣдь ты, чай, съ ней въ законѣ живешь? Али, по-вашему, законъ ничего не значитъ?“

Такимъ образомъ, по ея убѣжденію, опирающемуся на незыблемый законъ старины, страхъ передъ родителями, передъ мужемъ долженъ непрестанно господствовать въ семейныхъ отношеніяхъ, иначе всѣ совратятся съ пути истиннаго и погибнутъ. И вотъ она „страхомъ спасаетъ“ сына и невѣстку, подчиняетъ своему неустанному контролю каждое ихъ дѣйствіе.

Тихонъ даже не можетъ попрощаться съ женой такъ, какъ велитъ ему сердце. Грознымъ олицетвореніемъ „закона“ является между ними мать и заставляетъ сына повторять за собою строгія наставленія женѣ о почтеніи къ свекрови, о томъ,

„чтобы не сидѣла, сложа ручки, въ окна глазъ не пялила“ и т. д. Когда Катерина, разставаясь съ мужемъ, въ порывѣ нѣжности бросается ему на шею, раздается грозный окрикъ Кабановой: „Что на шею-то виснешь, бесстыдница! Онъ тебѣ мужъ—глава! Аль порядку не знаешь? Въ ноги кланяйся!“ Проводивъ мужа, Катерина должна даже выражать скорбь по указу свекрови: часа полтора „выть“, лежа на крыльцѣ; не дѣлая этого, она подвергается ядовитымъ упрекамъ Кабановой въ отсутствіи любви къ мужу.

Этотъ убивающій всякую волю, отравляющій существованіе семейный деспотизмъ, превращающій человѣка въ послушнаго раба чужого самодурства, какъ уже было указано, опирается у Кабановой на опредѣленное міровоззрѣніе, вытекаетъ изъ стремленія сохранить неприкосновенными завѣщанныя, по ея понятію, стариной правила жизни. Она скорбитъ, что молодежь (сынъ и невѣстка) не знаетъ никакого порядка—даже проститься путемъ не умѣетъ, что только старшими и держится жизнь; съ сокрушеніемъ думаетъ о томъ, какъ выводится „старина“, безъ соблюденія завѣтовъ которой, по ея мнѣнію, наступитъ чуть не свѣтопредставленіе.

Кабановскій деспотизмъ и самодурство куда страшнѣе того, который проявляетъ Гордѣй Торцовъ или Дикой: у тѣхъ нѣтъ внѣ себя никакой опоры, и потому ихъ все же можно, хоть и рѣдко, искусно играя на нихъ психологіи, заставить на время стать обыкновенными людьми, какъ это дѣлаетъ Любимъ Торцовъ со своимъ братомъ. Но нѣтъ той силы, которая сбила бы съ позиціи Кабанову: помимо своей деспотической натуры, она всегда найдетъ себѣ опору и поддержку въ тѣхъ устояхъ жизни, которые она считаетъ неприкосновенной святыней. Вотъ почему, если самодурскій гнетъ Торцова уничтожающимъ образомъ дѣйствовалъ на личности подчиненныхъ ему людей, то несравненно въ большей степени долженъ проявляться деспотизмъ Кабановой: слабыя, безвольныя натуры, болѣе или менѣе легко подчиняющіяся чужому вліянію, онъ окончательно обезличиваетъ, какъ это и случилось съ Тихономъ; что же касается до цѣльныхъ, страстныхъ характеровъ, не могущихъ заглушить въ себѣ жажду свободной жизни, но и не способныхъ отрѣшиться отъ тѣхъ взглядовъ, которые имъ внушила среда, то они зачастую гибнутъ, не вынесши страшнаго внутренняго разлада, что мы и видимъ на Катеринѣ.

Тихонъ, въ сущности, не дурной человѣкъ; у него есть хорошія природныя качества, какъ мягкость сердца, совѣстливость, способность нѣжно полюбить человѣка и жалѣть его въ несчастіи, забывая собственное оскорбленіе, но онъ совершенно забитъ и обезличенъ подъ желѣзнымъ гнетомъ матери и лишенъ всякой самостоятельности; у него нѣтъ не только воли, но даже самостоятельной мысли. „Да я, маменька, не хочу своей волей жить. Гдѣ ужъ мнѣ своей волей жить“. Заявляетъ онъ какъ то матери и, дѣйствительно, ни въ чемъ не можетъ онъ ее ослушаться, не въ состояніи повиноваться своему внутреннему голосу. Онъ—послушное орудіе въ ея рукахъ, яркій показатель того, до какой степени ничтожества можетъ доходить человѣческая личность, изуродованная самодурствомъ и деспотизмомъ.

Катерина.

Но не всѣ, подобно Тихону, теряютъ подъ гнетомъ Дикихъ и Кабановыхъ свою индивидуальность, становятся безвольными, неспособными ни къ какому самостоятельному шагу существами, или же со спокойнымъ сердцемъ, при помощи лжи и хитрости подрываютъ ихъ власть, какъ это дѣлаетъ, напримѣръ, Варвара. Есть натуры сильныя, энергичныя, съ ясно выраженной индивидуальностью, органически честныя, которыя не способны ни на тотъ, ни на другой выходъ. Если при этомъ окружающая среда, съ дѣтства засосавшая ихъ, внушила имъ тѣ или другія черты своего міровоззрѣнія, онѣ не въ силахъ освободиться отъ ея власти и гибнутъ жертвой внутренняго разлада, зачастую трагически кончая свою жизнь. Такой жертвой въ драмѣ: „Гроза“ и является главное дѣйствующее лицо ея—Катерина.

Катерина одарена страстной, энергичной натурой, отъ природы неспособной подчиняться чужому гнету, насилію. „Такая ужъ я зародилась горячая“, разсказываетъ она о себѣ Варварѣ: „Я еще лѣтъ шести была, не больше, такъ что сдѣлала. Обидѣли меня чѣмъ то дома, а дѣло было къ вечеру, уже темно, я выбѣжала на Волгу, сѣла въ лодку, да и отпихнула ее отъ берега. На другое утро ужъ нашли верстъ за десять!“ „Эхъ, Варя, не знаешь ты моего характера!“ продолжала она далѣе: „Конечно, не дай Богъ этому случиться. А ужъ коли очень мнѣ здѣсь опостынетъ, такъ не удержать меня никакой силой. Въ окно выброшусь, въ Волгу кинусь. Не хочу здѣсь жить, такъ не стану, хоть ты меня рѣжь“. Но было бы ошибкой думать на основаніи этого факта, что Катерина принадлежитъ къ буйнымъ, строптивымъ характерамъ. Наоборотъ, это воплощенная кротость, мечтательность, натура, склонная къ идеализаціи, „возвышающимъ обманамъ“.

Въ дѣтствѣ этотъ богатый внутренній міръ находитъ себѣ пищу въ религіозномъ настроеніи, чему содѣйствовала и обстановка ея родной семьи, гдѣ она „жила—ни объ чемъ не тужила, точно птичка на волѣ“. Все—и ежедневное посѣщеніе Богослуженія утромъ и вечеромъ, и разсказы странницъ и богомолокъ, сопровождаемые пѣніемъ духовныхъ пѣсенъ, и рукодѣліе „по бархату золотомъ“, и горящія всю ночь передъ иконами лампадки—все способствовало религіозной мечтательности, наполнявшей ея внутренній міръ. Въ церкви она чувствовала себя, какъ въ раю, чутко прислушиваясь къ той музыкѣ возвышенныхъ настроеній, какая звучала у нея въ душѣ. Вся проникнутая религіознымъ порывомъ, она видитъ ангеловъ, летающихъ въ столбахъ кадильнаго дыма, слышитъ ихъ пѣніе. Во снѣ ей грезятся „или храмы золотые, или сады какіе то необыкновенные, и все поютъ невидимые голоса, и кипарисомъ пахнетъ, и горы и деревья, будто не такія, какъ обыкновенно, а какъ на образахъ пишутся“. Такъ создала она себѣ въ дѣтствѣ свой особый, свѣтлый и чистый внутренній міръ, который сливался съ окружающей ее обстановкой, одухотворялъ ее, стушевывая всѣ отрицательныя, мертвящія ея стороны. Она не замѣчаетъ поэтому никакихъ темныхъ свойствъ въ окружающей жизни и безропотно подчиняется ея укладамъ, которые мало по малу облекаются въ форму ея собственныхъ убѣжденій. А уклады эти тѣ-же самые, что въ семьѣ ея мужа,—не даромъ-же Кабанова выбрала Катерину въ жены своему сыну. Не было только тамъ страшнаго гнета, или его не чувствовала на себѣ нѣжно любимая матерью Катерина. Безропотно подчиняясь волѣ родительскаго авторитета, она не испытывала его

тяжести, потому что не имѣла своихъ стремленій, которыя встрѣтили бы препятствіе въ окружающемъ ее порядкѣ жизни. Вотъ почему она не протестуетъ противъ него даже тогда, когда во имя его совершается огромный переломъ въ ея жизни: бракъ съ Тихономъ Кабановымъ. Знаетъ она, что дѣвушки ея возраста выходятъ замужъ, что въ этомъ вопросѣ рѣшающій голосъ принадлежитъ родителямъ, не чувствуетъ въ себѣ никакихъ основаній для сопротивленія родительской волѣ и спокойно идетъ на этотъ шагъ.

Вѣрная нравственнымъ законамъ своего быта, она стремится жить съ мужемъ въ любви и совѣтѣ, быть ему хорошей женою. Но ея природныя свойства, ея внутренній міръ не въ силахъ мириться съ тѣмъ семейнымъ адомъ, который царитъ подъ видомъ родительской власти въ домѣ Кабановой. Катерина впервые испытываетъ мучительный разладъ между своимъ внутреннимъ міромъ и окружающей ее жизнью. Душевное спокойствіе потеряно, потому что разлетаются прахомъ при соприкосновеніи съ гнетущей дѣйствительностью ея свѣтлыя мечты, подавляются ея лучшія чувства. Точно въ тюрьмѣ живетъ она; каждый шагъ ея подвергается подозрительному контролю, въ ней видятъ дурные, грѣховные помыслы. Она не можетъ отдаться тѣмъ свѣтлымъ религіознымъ порывамъ, которые такъ питали ея душу въ юности: слишкомъ тяжелъ гнетъ, слишкомъ безысходенъ, чтобы можно было забыть о немъ хоть на время. Какъ дамокловъ мечъ, виситъ надъ ней всегда деспотизмъ Кабановой и неоткуда ждать спасенія. Она совершенно одинока и задыхается въ мрачной тюрьмѣ кабановскихъ понятій.

А естественная потребность участія, любви, ласки, жажда встрѣтить родственную душу, съ которой можно было бы подѣлиться сокровенными движеніями сердца, тѣмъ болѣе растетъ, чѣмъ сильнѣе сознаетъ она разладъ съ окружающими людьми и свое духовное одиночество. „Ночью, Варя,—жалуется она сестрѣ мужа,—не спится мнѣ, все мерещится шопотъ какой то: кто то такъ ласково говоритъ со мной, точно голубитъ меня, точно голубь воркуетъ. Ужъ не снятся мнѣ, Варя, какъ прежде, райскія деревья да горы... Охъ, дѣвушка, что-то со мной недоброе дѣлается, чудо какое-то. Никогда со мной этого не бывало... Сдѣлается мнѣ такъ душно дома, что бѣжала-бы!“

Встрѣча съ Борисомъ даетъ реальный исходъ этому неопредѣленному томленію, вызванному неудовлетворенностью жизни. Въ этомъ человѣкѣ изъ другого міра, съ другими понятіями и убѣжденіями, чѣмъ тѣ, какія господствуютъ вокругъ нея, чуетъ Катерина симпатію и участіе къ себѣ, и вотъ противъ ея собственной воли пробуждается въ ея душѣ чувство любви къ нему. Въ страшный ужасъ и недоумѣніе приводитъ оно Катерину. „Быть грѣху какому-нибудь“, исповѣдуется она передъ Варварой: „Такой на меня страхъ! Точно я стою надъ пропастью, и меня кто-то туда толкаетъ, а удерживаться мнѣ не за что... Что со мной? Передъ бѣдой, передъ какой-нибудь это!“ Считать законнымъ свое новое чувство она не можетъ, она признаетъ его преступленіемъ: „Вѣдь, это не хорошо, вѣдь, это страшный грѣхъ, что я другого люблю“, говоритъ она Варварѣ и безпомощно ищетъ вокругъ себя поддержки и опоры, чтобы спастись отъ самой себя. Она всѣми силами хочетъ пробудить въ своей душѣ чувство къ мужу, но ея отчаянныя усилія разбиваются о тупоуміе и пошлость этой жертвы самодурства. Сцена прощанья съ Тихономъ какъ нельзя лучше показываетъ намъ, какъ мало цѣнитъ онъ свою жену, какъ

чужда и непонятна ему душевная жизнь ея. Чувствуя, что съ отъѣздомъ мужа она не въ силахъ будетъ бороться сама съ собою, Катерина умоляетъ его не уѣзжать или же взять ее съ собою. „Да нельзя“, холодно отвѣчаетъ онъ, освобождаясь отъ ея объятій: „Куда какъ весело съ тобой ѣхать! Вы меня уже заѣздили здѣсь совсѣмъ! Я не чаю, какъ вырваться-то, а ты еще навязываешься со мной... Ты подумай то: какой ни на есть, а я, все-таки, мужчина; всю жизнь вотъ этакъ жить, какъ ты видишь, такъ убѣжишь и отъ жены. Да какъ знаю я теперича, что недѣли двѣ никакой грозы надо мною не будетъ, кандаловъ на ногахъ нѣтъ, такъ до жены-ли мнѣ“.—„Какъ же мнѣ любить тебя, когда ты такія слова говоришь!“ восклицаетъ бѣдная женщина въ отвѣтъ на эту грубо циничную откровенность. Но Тихону съ его пришибленнымъ умомъ не понять всей горькой справедливости этого упрека, и онъ спокойно уѣзжаетъ, покинувъ на произволъ судьбы свою жену, и предается дикому разгулу, „чтобъ ужъ на цѣлый годъ отгуляться“.

Но Катерина все еще не теряетъ надежды побороть зародившееся чувство: она налагаетъ на себя работу для бѣдныхъ, думая такимъ путемъ заглушить грѣшныя мысли. „Пойду въ гостинный дворъ,—мечтаетъ она,—куплю холста да и буду шить бѣлье, а потомъ раздамъ бѣднымъ. Они за меня Богу помолятся. Вотъ и засядемъ шить съ Варварой и не увидимъ, какъ время пройдетъ; а тутъ Тиша пріѣдетъ“.

Но обстоятельства роковымъ образомъ складываются противъ нея, когда по своему жалѣющая ее Варвара устраиваетъ ей свиданіе съ Борисомъ. Страшную борьбу выдерживаетъ съ собой Катерина, но, въ концѣ концовъ, не въ силахъ устоять противъ искушенія видѣть любимаго человѣка. „Мнѣ хоть умереть, да увидѣть его! Ахъ, кабы ночь поскорѣе!“ восклицаетъ она въ порывѣ нахлынувшей на нее жажды жизни.

Однако сближеніе съ Борисомъ не даетъ ей даже временнаго счастья. Грознымъ призракомъ стоитъ передъ нею сознаніе грѣховности своего чувства, съ одной стороны, и, съ другой—неспособность лгать и притворяться. „Поди отъ меня! Поди прочь, окаянный человѣкъ! Ты знаешь-ли: вѣдь, мнѣ не замолить этого грѣха, не замолить никогда! Вѣдь, онъ камнемъ ляжетъ на душу, камнемъ“,—такими словами встрѣчаетъ Катерина Бориса на первомъ свиданіи. Тѣмъ не менѣе она не можетъ отказаться отъ своего счастья,—слишкомъ уже истомилась она въ душевномъ одиночествѣ подъ гнетомъ семейнаго деспотизма, слишкомъ ужъ жаждетъ она дать просторъ накипѣвшему чувству. Голосъ разсудка, сознаніе нравственнаго долга заглушаются въ бѣдной женщинѣ открывающейся перспективой счастья, которое она такъ тщетно стремилась отыскать въ кабановской семьѣ. Какъ ночная бабочка на огонь, неудержимо рвется она изъ мрака своей семьи на просторъ, къ свѣту раздѣленнаго чувства и не въ силахъ устоять противъ соблазна. „Нѣтъ у меня воли. Кабы была у меня своя воля не пошла-бы я къ тебѣ“, твердитъ она Борису, формулируя въ этихъ словахъ свою неодолимую жажду новой жизни. И она всей душой стремится навстрѣчу неизвѣданному счастью. Не будь Катерина отъ природы органически честной натурой, обладай она, подобно Варварѣ, столь развитой въ „темномъ царствѣ“ способностью лгать и притворяться, она сумѣла бы выйти изъ своего положенія. Но ея правдивая душа не выноситъ сдѣлокъ съ совѣстью. „Обманывать-то я не умѣю; скрыть-то ничего не могу“, признается она откровенно Варварѣ.

И дѣйствительно, когда вернулся мужъ, Катерина сама не своя сдѣлалась; по словамъ Варвары, „дрожитъ вся, точно ее лихорадка бьетъ; блѣдная такая, мечется по дому, точно чего-то ищетъ... На мужа не смѣетъ глазъ поднять“. Гнетущій страхъ, навѣянный религіозными воззрѣніями среды, заставляетъ ее съ трепетомъ ждать возмездія за совершенный грѣхъ. Безсмысленныя рѣчи сумасшедшей барыни, раскаты грома, картина геены огненной на церковной стѣнѣ—все это напоминаетъ больному воображенію Катерины о грядущихъ мученіяхъ. Не выдержавъ страшныхъ мукъ совѣсти, она всенародно, въ присутствіи тещи, кается мужу въ своемъ грѣхѣ. „Что, сынокъ, куда воля-то ведетъ!“ злорадно замѣчаетъ старуха, не подозрѣвая того, что не свобода, а именно неволя привела Катерину къ нарушенію нравственнаго долга.

Понятно, что послѣ этого Катеринѣ немыслимо было остановиться въ семьѣ мужа. Это значило отдать себя на съѣденіе свекрови, чувствуя непоправимую вину передъ ней, стать навсегда безгласной рабой своего мужа, заживо похоронить себя. Какъ утопающій за соломенку, хватается она за послѣднюю возможность устроить свою жизнь: хочетъ бѣжать съ Борисомъ. Но онъ, хоть и любитъ ее, не имѣетъ настолько силы воли, чтобы рѣшиться на этотъ шагъ. На просьбу Катерины, узнавшей объ этомъ отъѣздѣ, взять ее съ собою, онъ отвѣчаетъ: „нельзя, Катя! не по своей волѣ я ѣду, дядя посылаетъ, ужъ и лошади готовы“... Что оставалось дѣлать Катеринѣ? Ея душевное настроеніе и вытекающее изъ него рѣшеніе прекрасно обрисовывается въ послѣднемъ монологѣ. „Куда теперь? Домой итти? Нѣтъ, мнѣ что домой, что въ могилу—все равно. Да, что домой, что въ могилу!... Въ могилѣ лучше... Подъ деревцомъ могилушка... какъ хорошо!... солнышко ее грѣетъ, дождичкомъ ее мочитъ... весной на ней травка вырастетъ, мягкая такая... Такъ тихо! Такъ хорошо! А объ жизни и думать не хочется. Опять жить? Нѣтъ, нѣтъ, не надо, не хорошо! И люди мнѣ противны, и домъ мнѣ противенъ и стѣны противны! Не пойду туда! Нѣтъ, нѣтъ, не пойду! Все равно, что смерть придетъ, что сама... а жить нельзя!“ и она бросается въ Волгу и въ самоубійствѣ находитъ выходъ изъ своего положенія.

Добролюбовъ, давшій блестящій анализъ характера Катерины, видѣлъ въ ней „лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“, признавалъ, что она представляетъ собою „протестъ противъ кабановскихъ понятій и нравственности, протестъ, доведенный до конца, провозглашенный и подъ домашней пыткой и надъ бездной, въ которую бросилась бѣдная женщина“. Трагическій конецъ ея жизни кажется ему отраднымъ, ибо „въ немъ данъ страшный вызовъ самодурной силѣ, онъ говоритъ ей, что уже нельзя итти дальше, нельзя долѣе жить съ ея насильственными, мертвящими началами“. Трудно однако согласиться съ такой точкой зрѣнія на героиню „Грозы“. Развѣ „темное царство“ хоть немного поколебалось въ своихъ устояхъ оттого, что погибла эта правдивая, честная натура, развѣ ея смерть заставила хоть одного человѣка усумниться въ истинности тѣхъ правилъ жизни, которыя въ своемъ крайнемъ выраженіи довели до могилы молодую, хорошую жизнь? Наоборотъ, съ точки зрѣнія кабановской мерали, гибель Катерины есть лучшее подтвержденіе того, какъ опасно нарушать ея завѣты и предписанія. Нѣтъ, не „лучъ свѣта“, не отрадное явленіе возвѣщающее близкую кончину міра Дикихъ и Кабановыхъ, представляетъ

собою Катерина, а несчастную жертву безграничнаго деспотизма и самодурства, культивируемыхъ въ этой средѣ.

Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ.

Въ „Грозѣ“ есть намеки на лучи свѣта, которые разсѣютъ тьму „темнаго царства“, но они, по нашему мнѣнію, не тамъ, гдѣ ихъ ошибочно видитъ Добролюбовъ.

Предчувствіе паденія этого царства посѣщаетъ наиболѣе характерную представительницу его—старую Кабанову. Проводивъ сына, она сокрушается о томъ, что „старина выводится“. „Что будетъ, какъ старики-то перемрутъ, какъ будетъ свѣтъ стоять, ужъ я и не знаю. Ну, да ужъ хоть то хорошо, что не увижу ничего“, говоритъ она и тѣмъ самымъ предрекаетъ близкую кончину старыхъ порядковъ жизни. Вмѣстѣ съ Ѳеклушей-странницей признаетъ она, что „послѣднія времена“ приходятъ, и, выслушавъ разсказъ ея о „суетѣ“ Москвы, о желѣзной дорогѣ, о томъ, что „ужъ и время-то стало въ умаленіе приходить“, она со вздохомъ замѣчаетъ, что и хуже будетъ, и что, быть можетъ, и ей придется дожить до этого. Что же является причиной ея тревоги? Отсутствіе стойкости въ народѣ, вѣрности завѣтной старинѣ. Вотъ ее „хоть золотомъ осыпь“, она не поѣдетъ по желѣзной дорогѣ, а люди между тѣмъ ѣздятъ и ничѣмъ ихъ не удержишь. Даже въ родномъ ея Калиновѣ появляются такіе „учители“, какъ Кулигинъ, толкующій о томъ, что не нужно бояться грозы и кометъ. „Коли старикъ такъ разсуждаетъ, чего ужъ отъ молодыхъ-то требовать“!

Изъ этихъ опасеній Кабановой не трудно понять, что угрожаетъ, по ея мнѣнію, старому міру, что отвращаетъ народъ отъ завѣтовъ прошлаго. Это—просвѣщеніе, лучи котораго начинаютъ проникать и въ далекіе Калиновы и разрушать эти оплоты невѣжества. Не Катерина, которая сильна только своей натурой, а люди, надѣленные новымъ, свѣтлымъ образомъ мыслей, вооруженные знаніемъ, подорвутъ прочныя основы, на которыхъ стоитъ „темное царство“. Намекъ на такихъ людей далъ Островскій въ своей „Грозѣ“ въ лицѣ Кулигина, даровитаго самородка, выдвинутаго изъ нѣдръ народной жизни. Мы уже знаемъ, какъ здраво смотритъ на окружающую его жизнь этотъ самоучка-механикъ, непрестанно воюющій во имя общественныхъ интересовъ съ Дикими и Кабановыми, мечтающій найти „перпету мобиль“, чтобы получить за изобрѣтеніе милліонъ и употребить всѣ деньги для общества, „для поддержки“: „работу надо дать мѣщанству-то, а то руки есть, а работать нечего“, какъ говоритъ онъ о своей завѣтной мечтѣ Борису.

Но Островскому не пришлось изобразить борьбы новой грядущей силы—просвѣщенія, одухотворяемаго гуманными общественными идеалами, съ міромъ купеческаго самодурства и семейнаго деспотизма, выросшихъ на почвѣ старой русской жизни. Борьбу новыхъ началъ со старыми устоями воспроизвелъ онъ въ другой средѣ—чиновничьей. Этой задачѣ посвящена комедія: „Доходное мѣсто“, къ разсмотрѣнію которой мы теперь и переходимъ.

Дореформенное чиновничество въ „Доходномъ мѣстѣ“ Островскаго.

„Доходное мѣсто“ было написано въ 1856-мъ году. Какъ извѣстно, это было время духовнаго возрожденія русскаго общества, пробудившагося послѣ Крымской войны и подвергшаго критикѣ различныя стороны семейнаго и общественнаго строя. Старый чиновничій міръ былъ одной изъ тѣхъ язвъ, которыми давно такъ мучительно болѣла дореформенная Россія. Неудивительно поэтому, что литература, ставшая вождемъ молодого общественнаго самосознанія, почуявъ новыя вѣянія со вступленіемъ на престолъ Александра II-го, съ удвоенной энергіей принялась громить клику взяточниковъ и казнокрадовъ, скрывшихся подъ именемъ русскаго чиновничества. Непосредственнымъ отраженіемъ этого общаго освободительнаго движенія литературы явилась и пьеса Островскаго: „Доходное мѣсто“, бывшая въ этомъ отношеніи одной изъ первыхъ ласточекъ, возвѣщающихъ наступленіе новой весны въ русской общественной жизни.

Сюжетъ комедіи какъ нельзя болѣе соотвѣтствовалъ историческому моменту, который переживало въ наше время это общество. Онъ воспроизводилъ столкновеніе стараго и новаго поколѣній чиновничьяго міра, захватывалъ этотъ міръ не только въ его отношеніи къ службѣ, но и въ домашней, семейной жизни; въ благополучномъ исходѣ борьбы въ пользу представителя новыхъ идеаловъ—Жадова сказалась характерная для того времени вѣра въ близкое торжество другихъ, болѣе разумныхъ и нравственныхъ началъ гражданской жизни; наконецъ, эта комедія едва-ли не впервые въ русской литературѣ ярко и подробно обрисовываетъ вліяніе семейныхъ отношеній на общественную дѣятельность.

Дореформенное чиновничество имѣетъ въ комедіи трехъ представителей, принадлежащихъ къ различнымъ ступенямъ іерархической лѣстницы. Тутъ и занимающій высокій постъ Аристархъ Владиміровичъ Вышневскій, и его правая рука, стоящій ступенью ниже Юсовъ, и начинающій дѣлать карьеру мелкій департаментскій чиновникъ Бѣлогубовъ. Несмотря на разницу лѣтъ и служебнаго положенія, всѣ они проникнуты одинаковымъ отношеніемъ къ службѣ въ томъ смыслѣ, что видятъ въ ней средство обогащенія всякими нечистыми путями. „Практическій“ взглядъ на службу для нихъ стоитъ на первомъ планѣ. Казнокрадство и взяточничество до такой степени вошло въ служебный обиходъ этихъ людей, что они открыто говорятъ о „доходныхъ мѣстахъ“, т. е. о такихъ, гдѣ наиболѣе удобно прибѣгать ко взяткамъ или пользоваться хищеніемъ казенныхъ суммъ.

Вышневскій, напримѣръ, не стѣсняясь говоритъ на эту тему со своимъ племянникомъ Жадовымъ, хотя отлично знаетъ, что тотъ не раздѣлятъ его мнѣнія. Онъ уговариваетъ его „бросить завиральныя идеи“, служить какъ „служатъ всѣ порядочные люди“, т. е. глядѣть „на жизнь и на службу практически“, и обѣщаетъ въ такомъ случаѣ „помочь и совѣтомъ, и деньгами, и протекціей“. Его не страшитъ общественное мнѣніе, потому что онъ не вѣритъ, чтобы оно было противъ его взглядовъ. Когда Жадовъ отвергаетъ гнустное предложеніе дяди, надѣясь найти для себя поддержку въ общественномъ мнѣніи, тотъ иронически замѣчаетъ ему: „Да дожидайся! У насъ общественнаго мнѣнія нѣтъ, мой другъ, и быть не можетъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ ты понимаешь. Вотъ тебѣ общественное мнѣніе: не

пойманъ—не воръ. Какое дѣло обществу, на какіе доходы ты живешь, лишь бы ты жилъ прилично и велъ себя, какъ слѣдуетъ порядочному человѣку". Что касается до совѣсти, то она не очень-то тревожитъ его и легко успокаивается такими, напримѣръ, аргументами, какъ „спокойствіе совѣсти не спасетъ... отъ голода", и т. п. Для того, чтобы на законномъ основаніи удовлетворять свои пріобрѣтательскія вождѣленія, Вышневскій, конечно, долженъ хорошо знать всю формальную сторону своей службы, и онъ, дѣйствительно, является настоящимъ дѣльцомъ,—„геній, Наполеонъ, ума необъятнаго, быстрота, смѣлость въ дѣлахъ", по выраженію Юсова хотя и „въ законѣ не совсѣмъ твердъ", ибо „изъ другого вѣдомства". Но тутъ всегда на подмогу являются Юсовы, прекрасно понимающіе справедливость старой пословицы: „рука руку моетъ".

Юсовъ, ближайшій подчиненный и правая рука Вышневскаго, прошелъ длинный и тяжелый путь прежней чиновничьей ферулы и является однимъ изъ типичнѣйшихъ представителей старыхъ служебныхъ порядковъ. Съ раннихъ лѣтъ тянетъ онъ канцелярскую лямку, цѣпко пробираясь все выше и выше, совершенствуясь въ умѣніи замѣтать слѣдъ своихъ беззаконныхъ поступковъ. „Меня,—разсказываетъ онъ о своемъ прошломъ,—давно ужъ это было—привели въ присутствіе въ затрапезномъ халатишкѣ, только что грамотѣ зналъ—читать да писать... Года два былъ на побѣгушкахъ, разныя коммиссіи исправлялъ: и за водкой то бѣгалъ, и за пирогами, и за квасомъ, кому съ похмѣлья, и сидѣлъ-то я не у стола, не на стулѣ, а у окошка на связкѣ бумагъ, и писалъ-то я не изъ чернильницы, а изъ старой помадной банки. А вотъ вышелъ въ люди... Да-съ, имѣю теперь три домика, хоть далеко, да это мнѣ не мѣшаетъ; лошадокъ держу четверню. Оно подальше-то лучше; и земли побольше и не такъ шумно, да и разговору меньше, пересуду". Понятно, на какія деньги пріобрѣтены эти „три домика", если Юсовъ предусмотрительно заботится о томъ, чтобы было поменьше „пересуду". Прекрасно приспособившись къ старому порядку, при которомъ для людей его пошиба не жизнь, „а рай просто—умирать не надо", онъ, конечно, не можетъ спокойно относиться къ „нынѣшнимъ", „верхоглядамъ, образованнымъ", отъ которыхъ, по его словамъ, „житья нѣтъ", и онъ всячески тѣснитъ ихъ „для пользы службы". Къ „простымъ людямъ" у него „больше сердце лежитъ". „При нынѣшнихъ строгостяхъ случается съ человѣкомъ несчастье, выгонятъ изъ уѣзднаго училища за неуспѣхи или изъ низшихъ классовъ семинаріи: какъ его не призрѣть? Онъ и такъ судьбой убитъ, всего онъ лишенъ, всѣмъ обиженъ. Да и люди-то выходятъ... понятливѣе и подобострастнѣе, душа у нихъ открытѣе".

Такимъ подчиненнымъ во вкусѣ Юсова является молодой чиновникъ Бѣлогубовъ. Онъ хоть и „грамоты не знаетъ", по собственному признанію Юсова, писать не умѣетъ правильно, тѣмъ не менѣе онъ быстро дѣлаетъ служебную карьеру подъ покровительствомъ своего начальника, который видитъ въ немъ человѣка своего лагеря и всячески его поддерживаетъ. Занимая ничтожное мѣсто писца, онъ умудряется получать отъ просителей взятки, хотя бы въ видѣ матеріи на жилеты, а добившись, при содѣйствіи Юсова, мѣста столоначальника, онъ уже беретъ во всю и даритъ на пріобрѣтенныя такимъ путемъ деньги роскошные наряды своей женѣ. И онъ, подобно Вышневскому, смотритъ на взятки, какъ на совершенно естественное, чуть-ли не законное дѣло, и открыто говоритъ о томъ, что ему удалось „зацѣпить",

въ присутствіи сослуживцевъ и прямого своего начальника Юсова. Онъ—плоть отъ плоти и кровь отъ крови стараго чиновничьяго міра. Не даромъ онъ расточаетъ нѣжныя благодарности Юсову, который „вывелъ его въ люди“. „Кому же я обязанъ“?—говоритъ онъ ему на пирушкѣ послѣ одного дѣла, гдѣ онъ „ловко хватилъ“.—„Развѣ бы я понималъ что, кабы не вы? Отъ кого я въ люди пошелъ, отъ кого жить сталъ, какъ не отъ васъ? Подъ вашимъ крыломъ воспитался! Другой-бы того и въ десять лѣтъ не узналъ, всѣхъ тонкостей и оборотовъ, что я въ четыре года узналъ. Съ васъ примѣръ бралъ во всемъ“.

Такъ своего рода круговая порука, взаимная поддержка во имя выгоднѣйшаго стяженія существуетъ между этими представителями „закона и власти“ въ дореформенной Россіи.

Изобразивъ ихъ со стороны отношенія къ службѣ, Островскій раскрылъ намъ ихъ душу и внѣ оффиціальнаго ихъ положенія. Онъ очень вѣрно отмѣтилъ, что на ряду съ несчастнымъ отношеніемъ къ служебнымъ обязанностямъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ живетъ особаго рода совѣстливость и благодушіе. Они сами по себѣ не такіе ужъ дурные люди, какими они являются въ качествѣ общественныхъ дѣятелей. Такъ, Юсовъ, напримѣръ, строго блюдетъ свою особую професіональную честность. Онъ до глубины души возмущается какимъ-то писцомъ, взявшимъ взятку и надувшимъ просителя. По его мнѣнію, такого чиновника нужно выгнать со службы, и онъ объясняетъ почему: „Ты возьми, такъ за дѣло, а не за мошеничество. Возьми такъ, чтобы и проситель былъ не обиженъ, и чтобы ты былъ доволенъ. Живи по закону; живи такъ, чтобы и волки были сыты, и овцы цѣлы. Что за большимъ-то гоняться! Курочка по зернышку клюетъ, да сыта бываетъ“. И онъ, и Бѣлогубовъ заботятся о своей семьѣ и считаютъ своимъ непремѣннымъ долгомъ возможно обезпечить ее въ матеріальномъ отношеніи. Оба они отличаются какимъ то особымъ добродушіемъ, обходительностью. Со смиреннымъ самодовольствомъ Юсовъ предается такимъ разглагольствованіямъ: „А гордости во мнѣ нѣтъ-съ. Гордость ослѣпляетъ... Мнѣ хоть мужикъ... я съ нимъ, какъ со своимъ братомъ... все равно ближній“. Подкутивъ въ компаніи молодыхъ чиновниковъ, онъ пляшетъ подъ машину, а потомъ пускается на такія идиллически-сантиментальныя философствованія: „Мнѣ можно плясать. Я все въ жизни сдѣлалъ, что предписано человѣку. У меня душа спокойна... Я теперь только радуюсь на Божій міръ! Птичку увижу—и на ту радуюсь; цвѣтокъ увижу—и на него радуюсь,—премудрость во всемъ вижу. Помня свою бѣдность, нищую братію не забываю. Другихъ не осуждаю... Кого мы можемъ осуждать! Мы не знаемъ, что еще сами то будемъ!“ Бѣлогубовъ любезно приглашаетъ Жадова въ свою компанію, предлагаетъ ему занять денегъ и очень огорченъ, когда тотъ отъ всего отказывается.

Но и Бѣлогубовъ и Юсовъ совершенно лишены сознанія нравственной отвѣтственности передъ обществомъ и съ точки зрѣнія общественной этики, представляютъ собою глубоко отрицательное явленіе, тѣмъ болѣе печальное, что они сами въ своей наивной безнравственности не сознаютъ всей преступности своего отношенія къ службѣ.

Одно только тревожитъ ихъ всѣхъ, отъ Вышневскаго до Бѣлогубова—это появленіе „мальчишекъ“, „верхоглядовъ“, которыхъ „сотнями выпускаютъ“, и они могутъ заполнить прежнихъ „орловъ“, какъ выражается Юсовъ о чиновникахъ ста-

рой закваски. Вышневскій только прикидывается спокойнымъ, но въ смѣлыхъ рѣчахъ своего племянника онъ чуетъ приговоръ себѣ, вѣритъ въ его близкое торжество и, хоть глубоко ненавидитъ, но въ то же время и боится его, ибо чувствуетъ за нимъ силу, съ которой ему не справиться. И Юсовъ, какъ онъ ни „строгъ и взыскателенъ“ съ „нынѣшними“, „образованными“, какъ ни старается ставить имъ всякія преграды, однако и онъ съ сокрушеніемъ признаетъ, что „упадаетъ чиновничество, духу того нѣтъ“. Даже Бѣлогубовъ, при всей своей ограниченности и тупой враждѣ невѣжественнаго человѣка къ образованію, не можетъ не признать преимущества надъ собою Жадова. Старое царство дрожитъ и трепещетъ, чувствуя, что не сдобровать ему въ борьбѣ съ представителями новой правды.

Жадовъ.

Это новое теченіе въ русскомъ чиновничествѣ, котораго такъ боятся старые крючкотворцы и взяточники, олицетворено Островскимъ въ личности Жадова. Но авторъ, на протяженіи всей комедіи съ глубокой симпатіей относящійся къ своему герою, не ставитъ однако его на пьедесталъ и, выставляя его положительныя стороны, не скрываетъ и недостатковъ.

Передъ нами заурядный средній человѣкъ, просвѣщенный, проникнутый возвышенными, благородными стремленіями; въ столкновеніи съ суровой дѣйствительностью онъ оказывается далеко не всегда на надлежащемъ нравственномъ уровнѣ и едва не терпитъ полнаго пораженія. Болѣе подробное разсмотрѣніе его личности покажетъ какъ положительныя, такъ и отрицательныя его стороны, какъ общественнаго дѣятеля.

Въ противоположность Юсову и Бѣлогубову, Жадовъ, прежде всего, образованный человѣкъ; онъ окончилъ университетъ и не только умомъ воспринялъ холодную научную мудрость, но и проникся глубоко возвышенными идеалами общественнаго служенія. Поступивъ на службу подъ начальство дяди и замѣчая вокругъ себя неправду и несправедливость, онъ со всѣмъ пыломъ юности начинаетъ „читать въ канцеляріи писарямъ мораль“, какъ насмѣшливо выражается о немъ Вышневскій. Онъ вѣритъ въ то, что его слова произведутъ дѣйствіе, заставятъ людей одуматься. Онъ не можетъ равнодушно смотрѣть на совершающіяся вокругъ него мерзости и горячо обличаетъ ихъ. На упреки тетушки въ излишней нетерпимости Жадовъ отвѣчаетъ: „Да развѣ нетерпимость недостатокъ? Развѣ лучше равнодушно смотрѣть на Юсовыхъ, Бѣлогубовыхъ и всѣ мерзости, которыя постоянно кругомъ тебя дѣлаются? Отъ равнодушія не далеко до порока. Кому порокъ не гадокъ, тотъ самъ понемногу втянется“. Онъ смѣло и открыто хочетъ проводить въ жизнь тѣ взгляды, которые усвоилъ въ годы ученія съ лучшихъ профессорскихъ каѳедръ. Онъ вѣритъ въ возможность просуществовать честной работой, понимаетъ поэзію трудовой жизни, надѣется найти поддержку своимъ стремленіямъ въ общественномъ мнѣніи, словомъ, вступаетъ въ жизнь полнымъ юныхъ силъ, свѣтлыхъ, радужныхъ надеждъ, съ глубокой вѣрой въ торжество добра и правды. Чѣмъ-то молодымъ, свѣжимъ, жизнерадостнымъ вѣетъ отъ рѣчей Жадова, когда онъ про-

сить у дяди повышенія по службѣ, чтобы имѣть возможность жениться. Несмотря на отказъ и зловѣщія предсказанія, онъ не падаетъ духомъ и такъ же бодро, какъ и раньше, смотритъ на жизнь: „Да, разговаривайте!“ говоритъ онъ самъ съ собой: „Не вѣрю я вамъ, не вѣрю и тому, чтобы честнымъ трудомъ не могъ образованный человѣкъ обезпечить себя съ семействомъ. Не хочу вѣрить и тому, что общество такъ развратно. Это обыкновенная манера стариковъ разочаровывать молодыхъ людей, представлять все въ черномъ свѣтѣ. Людямъ стараго вѣка завидно, что мы такъ весело и съ такой надеждой смотримъ на жизнь. А, дядюшка! Я васъ понимаю. Вы теперь всего достигли—и знатности, и денегъ, вамъ некому завидовать. Вы завидуете только намъ, людямъ съ чистой совѣстью, съ душевнымъ спокойствіемъ. Этого вы не купите ни за какія деньги. Разсказывайте, что хотите, а я все-таки женюсь и буду жить счастливо“.

Невольно любуешься этой смѣлой готовностью рынуться въ жизненную борьбу, но въ то же время нельзя не признать нѣкоторой наивности и непослѣдовательности въ рѣчахъ и поступкахъ Жадова.

Начать съ того, что едва-ли есть какой-нибудь смыслъ „читать мораль“ писцамъ въ родѣ Бѣлогубова: это равносильно метанью бисера передъ свиньми. Затѣмъ, ужъ совсѣмъ непослѣдовательно для Жадова служить подъ начальствомъ дяди, завѣдомаго взяточника, и просить у него повышенія. Вѣдь, онъ самъ говоритъ о томъ, что образованный человѣкъ можетъ честнымъ трудомъ прожить съ семействомъ, а онъ пока одинокъ,—что же удерживаетъ его въ обществѣ Юсовыхъ и Бѣлогубовыхъ? Все это свидѣтельствуетъ о его неподготовленности къ практической жизни, о недостаточной послѣдовательности своимъ убѣжденіямъ.

Еще болѣе выступаетъ его непониманіе жизни и людей въ его отношеніяхъ къ невѣстѣ, вообще во всей исторіи любви къ Полинѣ. Здѣсь съ Жадовымъ происходитъ то, что испоконъ вѣковъ переживаетъ человѣчество въ лицѣ тѣхъ своихъ членовъ, которые мало надѣлены способностью анализа. Подъ вліяніемъ сильнаго чувства онъ невѣроятно идеализируетъ Полину, представляетъ ее себѣ такой, какой желалъ-бы видѣть любимую дѣвушку, принимаетъ мечты за дѣйствительность. Всѣ пламенныя рѣчи Жадова о назначеніи женщины въ обществѣ, о гражданскихъ добродѣтеляхъ, о наслажденіи трудомъ пролетаютъ мимо ушей Полины, нисколько не задѣвая ни ея ума, ни сердца, но Жадовъ, ослѣпленный любовью и собственными мечтами, не замѣчаетъ, что его невѣста гораздо болѣе сочувствуетъ бѣлогубовскимъ взглядамъ на жизнь, чѣмъ недоступнымъ ея ограниченному умственному и нравственному кругозору его теоріямъ. Отуманенный своимъ чувствомъ, онъ, не понимая, какую, въ сущности, пошлость и нравственное ничтожество представляетъ собою Полина, женится на ней.

И только проживъ съ женой цѣлый годъ, онъ разгадываетъ Полину. „Исторія моя коротка“, разсказываетъ онъ старому школьному товарищу; „я женился по любви, какъ ты знаешь, взялъ дѣвушку неразвитую, воспитанную въ общественныхъ предразсудкахъ, какъ и всѣ почти наши барышни, мечталъ ее воспитать въ нашихъ убѣжденіяхъ и вотъ ужъ годъ женатъ...“—И что-же?—„Разумѣется, ничего. Воспитывать мнѣ ее некогда, да я и не умѣю приняться за дѣло. Она такъ и осталась при своихъ понятіяхъ; въ спорахъ, разумѣется, я ей долженъ

уступать... Да она меня и не слушаетъ, она меня просто не считаетъ за умнаго человѣка. По ихъ понятію, умный человѣкъ долженъ быть непремѣнно богатъ".

Авторъ въ достаточной степени раскрываетъ передъ нами взгляды Полины. Если она не усвоила въ совершествѣ мѣщанскіе идеалы жизни своей семьи, какъ ея сестра, то все же окружающая среда наложила очень замѣтный отпечатокъ на ея душу. Отсутствіе способности вдумчиво относиться къ жизни, недостатокъ воли и полное равнодушіе къ нравственнымъ идеаламъ жизни способствуютъ полному подчиненію Полины авторитету сестры и матери, которыя постоянно настраиваютъ ее противъ мужа.

И вотъ начинается семейный адъ для Жадова. Отъ времени до времени дѣлаетъ набѣги теща и взвинчиваетъ свою дочь. „Бываютъ же такіе мерзавцы на свѣтѣ"! возмущается она Жадовымъ: „Ты то что-же молчишь, сударыня? Не я ли тебѣ твердила: не давай мужу потачки, точи его поминутно, и день, и ночь: давай денегъ, да давай, гдѣ хочешь возьми, да подай... Скажетъ: нѣтъ у меня. А мнѣ, молъ, какое дѣло? Хоть укради, да подай! Зачѣмъ бралъ? Умѣлъ жениться, умѣй и жену содержать прилично", и т. д. Поддаваясь внушеніямъ матери и сестры, Полина, хотя и любитъ посвоему мужа, но, тяготясь бѣдностью, завидуя сестрѣ, вышедшей за Бѣлогубова и щеголяющей въ роскошныхъ нарядахъ, начинаетъ пилить Жадова, упрекая его въ отсутствіи средствъ.

А онъ ужъ и такъ изнемогаетъ отъ непосильной для него борьбы съ жизнью, къ которой онъ такъ мало подготовленъ. „Какой я человѣкъ! Я ребенокъ", съ сокрушеніемъ говоритъ онъ о себѣ: „я объ жизни не имѣю никакого понятія... Кругомъ развратъ, силъ мало". Прежней свѣтлой вѣры въ свои силы, жизнь и людей—какъ не бывало. Сознаніе собственной слабости закрадывается въ его душу. „Не знаю, вынесу ли я", срывается у него съ языка въ минуту горькаго раздумья о своемъ кажущемся ему безвыходномъ положеніи. Передъ его глазами все яснѣе и яснѣе встаетъ диллема—или поступиться убѣжденіями, или лишиться любви Полины.

Островскій довольно подробно останавливается на изображеніи коллизіи семейныхъ отношеній и общественныхъ обязанностей въ душѣ Жадова; почти весь четвертый актъ комедіи посвященъ этому. Вполнѣ понятно, почему авторъ удѣляетъ такъ много мѣста именно этой сторонѣ душевной драмы своего героя: она является очень типической для русской жизни не только той поры, которая нашла себѣ отраженіе въ „Доходномъ мѣстѣ", но и времени значительно позднѣйшаго. Здѣсь Островскій является прекраснымъ бытописателемъ, особенно въ обрисовкѣ образа тещи Жадова, вдовы Кукушкиной. Вмѣстѣ со своею дочерью, которую она умѣла надлежащимъ образомъ настроить противъ мужа, дѣлаетъ она рѣшительное нападеніе на Жадова: „Позвольте спросить, милостивый государь, за что она страдаетъ?... Мы съ мужемъ по грошамъ набирали деньги, чтобы воспитывать дочерей, чтобы отдать ихъ въ пансіонъ... для того, чтобы они имѣли хорошія манеры, не видали кругомъ себя бѣдности... Средства мои самыя ничтожныя, а все-таки, онѣ жили, какъ герцогини, въ самомъ невинномъ состояніи; гдѣ ходъ въ кухню—не знали; не знали изъ чего щи варятся; только и занимались, какъ слѣдуетъ барышнямъ, разговоромъ объ чувствахъ и предметахъ самыхъ облагороженныхъ.... Порядочные люди не заставляютъ женъ работать, для этого у нихъ есть

прислуга, а жена... для того, чтобы одѣвать, какъ нельзя лучше, любоваться на нее, вывозить въ люди, доставлять всѣ наслажденія", и т. д. все въ томъ-же родѣ, вплоть до угрозы, что „бѣдность до всего доводитъ" женщину, и что ее „даже и винить нельзя". Выведенный изъ себя этими возмутительными рѣчами Жадовъ проситъ тещу оставить его домъ и запрещаетъ женѣ имѣть какія бы то ни было сношенія съ сестрой и матерью. Но Полина, съ своей стороны, оказываетъ сильное противодѣйствіе мужу, заявляя, что она хочетъ жить, „какъ люди живутъ, а не какъ нищіе", что ей нѣтъ дѣла до средствъ,—„кто любитъ, тотъ найдетъ средства", и, желая заставить его пойти на сдѣлки съ совѣстью, уходитъ изъ дому, дѣлая видъ, что совсѣмъ покидаетъ мужа. Жадовъ окончательно сраженъ этимъ неожиданнымъ ударомъ. Онъ не въ силахъ жить безъ жены,—онъ слишкомъ любитъ ее, но удержать ее можно, только пожертвовавъ своими убѣжденіями. И страшныя мысли закрадываются въ душу Жадова. „Нѣтъ, надо рѣшиться на что-нибудь", говоритъ онъ самъ съ собой: „я долженъ или разстаться съ ней, или... жить... жить, какъ люди живутъ. Объ этомъ надо подумать.... Разстаться? Да въ силахъ-ли я съ ней разстаться? Ахъ, какая мука! какая мука! Нѣтъ, ужъ лучше... что съ мельницами то сражаться! Что я говорю! Какія мысли лѣзутъ мнѣ въ голову!" Когда посланная въ догонку за Полиной кухарка возвращается, Жадовъ дѣлаетъ послѣднее отчаянное усиліе, чтобы склонить жену на свою сторону. Онъ говоритъ ей о томъ, что жизнь не стоитъ на мѣстѣ, что всегда были, есть и будутъ люди, которые вступаютъ въ борьбу съ установившимися привычками и условіями жизни во имя лучшаго, свѣтлаго будущаго, что они не могутъ поступать иначе, что „борьба трудна и часто пагубна, но тѣмъ больше славы для избранныхъ: на нихъ благословеніе потомства; безъ нихъ ложь, зло, насиліе выросли-бы до того, что закрыли-бы отъ людей свѣтъ солнечный". Въ отвѣтъ на эти пламенныя рѣчи Жадовъ слышитъ отъ Полины: „Да ты сумасшедшій, право сумасшедшій!" Жадовъ видитъ, что онъ и жена говорятъ на совершенно различныхъ языкахъ, и ей никогда не научиться понимать его. „Прощайте, юношескія мечты мои! Прощайте, великіе уроки! Прощай, моя честная будущность!" со слезами отчаянія восклицаетъ онъ и отправляется вмѣстѣ съ женой просить у дяди доходнаго мѣста.

Такъ палъ нравственно, не выдержавъ борьбы съ пошлостью жизни, этотъ слабый, безвольный представитель новыхъ вѣяній въ русской чиновничьей средѣ. И Вышневскій справедливо издѣвается надъ нимъ, когда онъ проситъ мѣста, гдѣ бы могъ пріобрѣсть что-нибудь: „Не ты ли говорилъ, что растетъ какое-то новое поколѣніе образованныхъ, честныхъ людей, мучениковъ правды, которые обличатъ насъ, закидаютъ насъ грязью?.. И что-жъ оказывается! Вы честны до тѣхъ поръ, пока не выдохлись уроки, которые вамъ долбили въ голову; честны только до первой встрѣчи съ нуждой!"

Въ одномъ только отношеніи глубоко заблуждается Вышневскій, отождествляя Жадова со всѣмъ новымъ поколѣніемъ, такъ самоотверженно вступившимъ въ борьбу со старой жизнью. Жадовъ самъ въ концѣ комедіи выясняетъ разницу между собой и лучшими представителями этого поколѣнія: „Всегда были и будутъ честные люди, честные граждане, честные чиновники, всегда были и будутъ слабые люди. Вотъ вамъ доказательство—я самъ... Я не герой, я обыкновенный, слабый человѣкъ; у меня мало воли... Нужда, обстоятельства, необразованность родныхъ могутъ загнать меня, какъ загоняютъ почтовую лошадь".

Но Островскій не допустилъ до окончательной гибели своего героя. Радужныя надежды, которыми полны были лучшіе люди наканунѣ „эпохи великихъ реформъ“, отразились и на благополучномъ для Жадова окончаніи комедіи. Когда онъ, сгорая отъ стыда, проситъ у дяди доходнаго мѣста, онъ случайно узнаетъ, что тотъ отданъ подъ судъ, что, значитъ, начинается новая эра въ чиновничьемъ мірѣ,—и онъ быстро воспрянулъ духомъ. Ярко заблестѣла въ его сознаніи заря лучшаго общественнаго будущаго, и онъ вновь чувствуетъ въ себѣ силы для борьбы. Сознаніе того, что его „правда“ торжествуетъ, что не съ вѣтряными мельницами ведетъ онъ борьбу, чувства солидарности съ начинающимъ вступать въ свои права новымъ теченіемъ русской жизни окрыляютъ его, даютъ бодрость и энергію, и онъ отказывается отъ Полины, чтобы итти навстрѣчу передовымъ вѣстникомъ начинающагося возрожденія. „Ужъ теперь я не измѣню себѣ“, говоритъ онъ: „если судьба приведетъ ѣсть одинъ черный хлѣбъ,—буду ѣсть одинъ черный хлѣбъ. Никакія блага не соблазнятъ меня, нѣтъ! Я хочу сохранить за собою дорогое право глядѣть всякому въ глаза прямо, безъ стыда, безъ тайныхъ угрызеній, читать и смотрѣть сатиры и комедіи на взяточниковъ и хохотать отъ чистаго сердца, отъ кровеннымъ смѣхомъ. Если вся жизнь моя будетъ состоять изъ трудовъ и лишеній, я не буду роптать...“ Такимъ бодрымъ, не страшащимся никакихъ невзгодъ является Жадовъ въ концѣ комедіи, и несомнѣнно, что онъ останется вѣренъ себѣ, пока не будетъ чувствовать себя одинокимъ, пока будетъ находить въ чемъ-нибудь поддержку своимъ стремленіямъ.

Во всякія переходныя эпохи бываютъ свои Жадовы, на долю которыхъ выпадаетъ своя тяжелая борьба, далеко не всегда оканчивающаяся такъ благополучно, какъ это показалъ намъ Островскій; основныя черты этого типа и трагизмъ его положенія отливаются обыкновенно въ тѣ формы, какія мы находимъ въ „Доходномъ мѣстѣ“. Вотъ почему эта комедія представляетъ интересъ не только какъ вѣрная картина русскаго чиновничества наканунѣ шестидесятыхъ годовъ, но и потому, что даетъ одинъ изъ общечеловѣческихъ типовъ, особенно хорошо знакомый русской интеллигенціи.

Н. А. Некрасовъ.

Біографія Некрасова.

Прежде чѣмъ приступить къ анализу поэзіи Некрасова, остановимся вкратцѣ на его жизни. Это будетъ тѣмъ болѣе кстати, что біографія Некрасова до сихъ поръ мало разработана. Особенно важно прослѣдить не столько за фактической стороной его біографіи, сколько выяснить важнѣйшія вліянія, подъ которыми слагалась личность „печальника народнаго горя", какъ по справедливости называютъ Некрасова. Для этого придется отмѣнить вліянія какъ семьи, такъ и эпохи, отдѣльныхъ личностей и различныхъ случайныхъ обстоятельствъ. Разсмотрѣніе съ этой стороны жизни Некрасова въ значительной степени уяснитъ мотивы его поэзіи, а также и поможетъ опредѣлить ея историко-литературное и общественное значеніе.

Николай Алексѣевичъ Некрасовъ родился 22-го ноября 1821-го года въ какомъ-то еврейскомъ мѣстечкѣ Винницкаго уѣзда, Подольской губ., гдѣ былъ расположенъ тотъ полкъ, въ которомъ его отецъ, армейскій офицеръ, состоялъ на службѣ. Черезъ три года отецъ будущаго поэта вышелъ въ отставку и переѣхалъ въ свое наслѣдственное имѣніе Ярославской губерніи и уѣзда село Грешнево. Уже тогда маленькій Некрасовъ отличался необычайной воспріимчивостью и памятью: въ его душѣ запечатлѣлась, напримѣръ, довольно подробно картина пріѣзда въ родовое имѣніе отца, несмотря на то, что ему было тогда всего три года. Понятно, что при столь сильной воспріимчивости впечатлѣнія дѣтства должны были ярко сохраниться въ сознаніи мальчика и, какъ это почти всегда бываетъ, оказать вліяніе на его послѣдующую жизнь.

Каковы-же были эти первичныя, сначала даже безсознательныя дѣтскія впечатлѣнія нашего поэта и какое вліяніе могли они оказать на его душевный складъ и развитіе?

Всматриваясь ближе въ дѣтскіе годы Некрасова, особенно принимая въ соображеніе многія автобіографическія замѣчанія, разсѣянныя въ различныхъ его произведеніяхъ, мы должны будемъ признать, что тяжелое душевное страданіе было неразлучно съ первыми впечатлѣніями воспріимчиваго мальчика. На первомъ планѣ здѣсь долженъ быть поставленъ семейный раздоръ среди родителей Некрасова. Причиной этого раздора былъ отецъ поэта, грубый, необразованный человѣкъ, котораго цивилизація коснулась только снаружи, давъ ему внѣшній лоскъ, свѣтскую обходительность и ловкость. Этими чисто внѣшними достоинствами онъ плѣнилъ свою будущую супругу, дочь богатаго польскаго пана Закревскаго. Несмотря на несогласіе родителей,

она тайно обвѣнчалась съ очаровательнымъ офицеромъ, который, прямо съ бала тайкомъ увезъ ее. Отецъ не могъ простить дочери этого оскорбленія и лишилъ ее назначеннаго ей приданаго. Такимъ образомъ, хорошо воспитанная, избалованная роскошной жизнью дѣвушка очутилась въ бѣдной обстановкѣ армейскаго офицера и должна была переносить всѣ тягости походной жизни. Мужъ вскорѣ охладѣлъ къ ней, и вотъ тутъ то, когда первая горячка страсти прошла, оказалась цѣлая пропасть между супругами, начались сцены и раздоры.

Не измѣнились тяжелыя семейныя отношенія и позднѣе, когда кутила-офицеръ поселился съ семьей въ родовомъ имѣніи. Прежняя склонность къ кутежамъ и разгулу не ослабѣла въ немъ и теперь, но приняла только, согласно новымъ условіямъ и обстановкѣ, иную форму, столь обычную среди широкихъ помѣщичьихъ натуръ добраго стараго времени. Отецъ поэта пристрастился къ охотѣ, сопровождаемой разгульными кутежами, къ картежной игрѣ, и тихая деревенская усадьба стала часто оглашаться пьяными криками пирующихъ. Впослѣдствіи самъ поэтъ такъ изобразилъ свое дѣтство:

Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой,
Я росъ средь буйныхъ дикарей,
И мнѣ дала судьба, по милости великой,
Въ руководители псарей.
Вокругъ меня кипѣлъ развратъ волною грязной,
Боролись страсти нищеты,
И на душу мою той жизни безобразной
Ложились грубыя черты.

А тутъ, рядомъ съ этимъ омутомъ, гдѣ во весь размахъ господствовало крѣпостное право и разнузданное самодурство, несчастная, горячо любимая мать, вѣчная страдалица отъ безобразныхъ выходокъ мужа, всегда дрожащая за себя и своихъ дѣтей, вѣчно оскорбляемая въ своихъ лучшихъ чувствахъ мрачными картинами окружающей пошлости и разврата. Всей силой своей доброй, любящей натуры она парализовала вліяніе на своихъ дѣтей окружающаго мрака, и сила ея воздѣйствія была громадна и въ высшей степени благотворна. Не даромъ у Некрасова во всю жизнь не было выше и чище образа, какъ образъ его страдалицы-матери, которая какъ свѣтлая звѣзда, вела его къ пути правды и человѣколюбія. Въ поэмѣ: „Мать“ мы находимъ слѣдующія строки, показывающія, какое огромное значеніе имѣло для Некрасова вліяніе матери:

И если я легко стряхнулъ съ годами
Съ души моей тлетворные слѣды
Поправшей все разумное ногами,
Гордившейся невѣжествомъ среды,
И если я наполнилъ жизнь борьбою
За идеалъ добра и красоты,
И носитъ пѣснь, слагаемая мною,
Живой любви глубокія черты,—
О мать моя—подвинутъ я тобою,
Во мнѣ спасла живую душу ты.

Не робѣть передъ правдой-царицею
Научила ты музу мою?

заявляетъ Некрасовъ въ другомъ мѣстѣ, въ поэмѣ: „Рыцарь на часъ“, говоря о своей матери. Объ этомъ благоговѣйномъ отношеніи къ памяти матери говоритъ, между прочимъ, въ своихъ воспоминаніяхъ о Некрасовѣ Ѳ. М. Достоевскій, передавая содержаніе бывшаго однажды между ними разговора. „Онъ говорилъ мнѣ тогда“, сообщаетъ Достоевскій о Некрасовѣ: „со слезами о своемъ дѣтствѣ и безобразной жизни, которая измучила его въ родительскомъ домѣ, о своей матери,— а то, какъ онъ говорилъ о своей матери, та сила умиленія, съ которою онъ вспоминалъ о ней, рождали уже тогда предчувствіе, что если будетъ что-нибудь святое въ его жизни, но такое, чтобы могло спасти его, и послужить ему маякомъ, путеводной звѣздой даже въ самыя темныя и роковыя минуты его судьбы, то ужъ, конечно, лишь одно это первоначальное дѣтское впечатлѣніе дѣтскихъ слезъ, дѣтскихъ рыданій, обнявшись гдѣ-нибудь украдкой, чтобы не видали (какъ разсказывалъ онъ мнѣ), съ мученицей-матерью, съ существомъ, столь любившимъ его“.

Этотъ разговоръ происходилъ, когда Некрасову было уже около 30-ти лѣтъ, и если дѣтскія впечатлѣнія и тогда были настолько сильны, что вызывали слезы горечи и страданія, то легко себѣ представить, какимъ тяжелымъ гнетомъ ложились они на воспріимчивую душу будущаго поэта. Какое страшное отвращеніе и непримиримое ожесточеніе долженъ былъ онъ вынести ко всему давящему болѣе слабаго, а съ другой стороны—какое горячее сочувствіе къ всѣмъ невинно страдающимъ, ко всѣмъ „униженнымъ и оскорбленнымъ“. Такъ, естественнымъ образомъ, должна была подѣйствовать на маленькаго Некрасова семейная обстановка.

Точно, чтобы дополнить и еще болѣе усилить эти тяжелыя впечатлѣнія, вынесенныя изъ родной семьи, судьба окружаетъ его дѣтскіе годы такими явленіями общественной жизни, которыя тоже должны были вызывать въ немъ состраданіе къ несчастнымъ, скорбь за ихъ горькую долю.

Село Грешнево, имѣніе Некрасовыхъ, было расположено на низовой ярославско-костромской дорогѣ (Владимірскій, или Сибирскій трактъ), по которой не разъ проходили цѣлыя партіи закованныхъ въ цѣпи ссыльныхъ; вблизи протекала Волга. Великой русской рѣкѣ суждено было впервые, если вѣрить Некрасову, пробудить въ немъ чувство сожалѣнія къ народу и его страдальцамъ въ лицѣ бурлаковъ. Услыхавъ впервые бурлацкій „стонъ“, говоритъ Некрасовъ:

Я былъ испуганъ, оглушенъ,
Я знать хотѣлъ, что значитъ онъ,—
И долго берегомъ рѣки
Бѣжалъ. Устали бурлаки,
Котелъ съ расшивы принесли,
Усѣлись, развели костеръ
И межъ собою повели
Неторопливый разговоръ.
— Когда-то въ Нижній попадемъ?
Одинъ сказалъ: когда-бы попасть
Хоть на Илью... „Авось придемъ“,
Другой съ болѣзненнымъ лицемъ
Ему отвѣтилъ: „эхъ напасть!
Когда-бы зажило плечо,
Тянулъ-бы лямку, какъ медвѣдь,
А кабы къ утру умереть—
Такъ лучше-бы еще“.
Онъ замолчалъ и навзничь легъ.
Я этихъ словъ понять не могъ,
Но тотъ, который ихъ сказалъ,
Угрюмый, тихій и больной,
Съ тѣхъ поръ меня не покидалъ!
Онъ и теперь передо мной:
Лохмотья жалкой нищеты,
Изнеможенныя черты
И выражающій укоръ

Спокойно безнадежный взоръ...
Безъ шапки, блѣдный, чуть живой,
Лишь поздно вечеромъ домой
Я воротился...
О горько, горько, я рыдалъ,
Когда въ то утро я стоялъ
На берегу родной рѣки
И въ первый разъ ее назвалъ
Рѣкою рабства и тоски!...
Что я въ ту пору замышлялъ,
Созвавъ товарищей—дѣтей,
Какія клятвы я давалъ
Пускай умретъ въ душѣ моей,
Чтобъ кто-нибудь не осмѣялъ!

То-же народное горе и страданіе узналъ маленькій Некрасовъ и въ другой формѣ, когда онъ неоднократно вмѣстѣ съ отцомъ, занимавшимъ одно время должность исправника, присутствовалъ при различныхъ сценахъ полицейской расправы въ духѣ стараго времени. Всѣ эти тяжелыя картины должны были будить въ несчастномъ, угнетенномъ ребенкѣ, такъ рано испытавшемъ страданіе, горячее сочувствіе къ страданію другого. Такимъ образомъ, изъ сказаннаго видно, что дѣтство Некрасова складывалось такъ, что онъ имѣлъ возможность познакомиться съ народной жизнью, главнымъ образомъ, съ ея темными сторонами, и научиться сочувствовать горькой долѣ простолюдина.

Народная жизнь, впрочемъ, рано стала извѣстной будущему поэту не только съ этой печальной стороны. Дѣтскіе годы онъ проводилъ въ обществѣ крестьянскихъ ребятишекъ, вмѣстѣ съ которыми не рѣдко возлѣ большой дороги подолгу слушалъ разсказы словоохотливыхъ прохожихъ, безсознательно изучая, такимъ образомъ, народную жизнь и міросозерцаніе. Въ „Крестьянскихъ дѣтяхъ“, этой чудной идилліи, Некрасовъ такъ говоритъ объ этомъ, и нѣтъ никакого основанія сомнѣваться въ истинѣ его словъ:

У насъ дорога большая была.
Рабочаго званія люди сновали
По ней безъ числа.
Копатель канавъ, вологжанинъ,
Лудильщикъ, портной, шерстобитъ,
А то въ монастырь горожанинъ
Подъ праздникъ молиться катитъ.
Подъ наши густые, старинные вязы
На отдыхъ тянуло усталыхъ людей.
Ребята обступятъ: начнутся разсказы
Про Кіевъ, про турку, про чудныхъ звѣрей.
Иной подгуляетъ—такъ только держися,
Начнетъ съ Волочка—до Казани дойдетъ!
Чухну передразнитъ, мордву, черемиса
И сказкой потѣшитъ и притчу ввернетъ...
Случалось, тутъ цѣлые дни пролетали—
Что новый прохожій, то новый разсказъ....

Такъ сама судьба способствовала тому, чтобы будущій печальникъ народнаго горя еще въ пору ранняго дѣтства узналъ близко народную жизнь съ раз-

личныхъ сторонъ. Воспріимчивая натура даровитаго мальчика безсознательно впитывала въ себя всѣ впечатлѣнія, получаемыя отъ окружавшей жизни. Впослѣдствіи эти впечатлѣнія дали богатый матеріалъ для его поэтическаго творчества.

Одиннадцати лѣтъ Некрасовъ поступилъ въ Ярославскую гимназію, гдѣ пробылъ около шести лѣтъ. Годы въ гимназіи ничего не прибавили умственному развитію мальчика и скорѣе способствовали нѣкоторой его нравственной порчѣ. Дотянувши кое-какъ до 5-го класса, Некрасовъ принужденъ былъ оставить гимназію, такъ какъ онъ оказался авторомъ очень многихъ шуточныхъ сатиръ, направленныхъ противъ нѣкоторыхъ товарищей и начальства. Вышедши изъ гимназіи, Некрасовъ, по желанію отца, отправился въ Петербургъ для поступленія въ одинъ изъ кадетскихъ корпусовъ. Въ его дорожномъ сундукѣ, вмѣстѣ съ рекомендательными письмами, находилась довольно объемистая тетрадь стиховъ (писать стихи онъ началъ съ семилѣтняго возраста и, по его собственнымъ словамъ, „что прочитаетъ, тому и подражаетъ“, т. е. шелъ обычной дорогой всѣхъ начинающихъ поэтовъ). Встрѣча съ ярославскими знакомыми студентами рѣшила его судьбу: онъ оставилъ прежнее намѣреніе поступить въ корпусъ и принялся дѣятельно готовиться къ университетскому экзамену. Послѣ различныхъ приключеній ему удалось, наконецъ, попасть въ университетъ. Но неисполненіе воли отца повлекло за собою полный отказъ со стороны послѣдняго оказывать какую-либо матеріальную помощь непокорному сыну, и онъ очутился безъ всякихъ средствъ, безъ работы, въ незнакомомъ городѣ, не имѣя даже ни малѣйшаго понятія о томъ, какимъ образомъ и гдѣ онъ можетъ заработать нѣсколько грошей, необходимыхъ буквально для поддержанія жизни.

Этотъ періодъ тяжкой борьбы за существованіе человѣка, еще далеко не сложившагося ни морально, ни физически, безъ ясныхъ и твердыхъ жизненныхъ убѣжденій, имѣлъ очень важное вліяніе на послѣдующую жизнь Некрасова, и на немъ нужно остановиться нѣсколько подробнѣе.

Еще до поступленія въ университетъ онъ уже испыталъ всѣ прелести страшной нужды. Вмѣстѣ съ товарищемъ-сожителемъ и слугою, крѣпостнымъ мальчикомъ, имъ приходилось тратить на троихъ на обѣдъ по 15 коп. въ день. Впослѣдствіи, черезъ сорокъ лѣтъ, умирая, Некрасовъ вспомнилъ эти обѣды, видя въ нихъ главную причину своего тяжкаго недуга. „Ровно три года,—говоритъ Некрасовъ объ этомъ періодѣ своей жизни,—я чувствовалъ себя постоянно, каждый день голоднымъ. Не разъ доходило до того, что я отправлялся въ одинъ ресторанъ на Морской, гдѣ дозволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросивъ себѣ: возьмешь, бывало, для виду газету, а самъ подвинешь къ себѣ тарелку съ хлѣбомъ и ѣшь“.

Панаевъ, близко знавшій въ это время Некрасова, описалъ, какъ онъ жилъ съ однимъ художникомъ. Они занимали одну комнату, питались щами, имѣли одни общіе сапоги и одно верхнее платье, такъ что выходили изъ дому поочередно. Раньше этого Некрасовъ былъ еще въ худшемъ положеніи: онъ снималъ сырую, почти вовсе безъ мебели комнату въ подвальномъ этажѣ, такъ что писать приходилось, лежа на полу; все его имущество состояло изъ коврика и подушки, даже верхняго платья не было; питался онъ однимъ чернымъ хлѣбомъ.

Немудрено, что при такихъ условіяхъ жизни здоровье Некрасова не выдержало, и онъ опасно заболѣлъ. Крѣпкій организмъ, впрочемъ, взялъ верхъ, и онъ кое-какъ поправился. Но тутъ бѣда: отставной унтеръ-офицеръ, у котораго онъ жилъ, запас-

шись предварительно роспиской, что все имущество Некрасова остается ему, хозяину, въ счетъ долга, когда нѣсколько оправившійся квартирантъ вышелъ послѣ болѣзни къ одному знакомому студенту, не приняль его больше къ себѣ въ домъ, и несчастный юноша, полубольной, безъ всякихъ средствъ, очутился въ полномъ смыслѣ слова на улицѣ. „Была очень скверная, холодная осень, пронизывающая до костей", разсказываетъ объ этомъ случаѣ Некрасовъ: „пошелъ я по улицамъ, ходилъ, ходилъ, усталъ страшно и присѣлъ на лѣсенкѣ около одного магазина; на мнѣ была дрянная шинелишка и саржевые панталоны. Горе такъ проняло меня, что я закрылъ лицо руками и заплакалъ. Вдругъ слышу шаги. Смотрю—нищіе съ мальчикомъ. „Подайте, Христа ради", протянулъ мальчикъ, обращаясь ко мнѣ и останавливаясь. Онъ не собрался еще съ мыслями, что сказать, какъ старикъ толкнулъ мальчика.—Что ты? Не видишь развѣ, онъ самъ къ утру окоченѣетъ. Эхъ, голова! Чего ты здѣсь?—продолжалъ старикъ.—Ничего,—отвѣтилъ я.—Ничего! Ишь, гордый. Пріюту, видно нѣту? Пойдемъ съ нами.—Не пойду, оставьте меня.—Ну, не ломайся. Окоченѣешь, говорю. Дѣлать нечего, пошелъ. Пришли въ 17 линію Васильевскаго острова и вошли въ большую комнату, наполненную бабами, нищими и дѣтьми. Въ одномъ углу играли въ три листка. Старикъ подвелъ меня къ играющимъ.—Вотъ грамотный,—сказалъ онъ,— а пріютиться некуда. Дайте ему водки. Иззябъ весь.—Я вышилъ полъ-рюмки. Одна старуха постлала постель, подложила подъ голову подушечку. Крѣпко и хорошо уснулось. Когда проснулся, въ комнатѣ никого не было, кромѣ старухи. Она обратилась ко мнѣ: „напиши мнѣ аттестатъ, а то безъ него плохо". Написалъ и получилъ 15 копеекъ".

Какое же значеніе для Некрасова имѣло это тяжелое время, какъ повліяло на его душевный строй и міросозерцаніе? Цѣлые годы тяжелой жизненной борьбы въ то время, когда формируется человѣкъ, не могутъ ни для кого пройти безслѣдно, не прошли они безслѣдно и для Некрасова, наложивъ свой особый отпечатокъ на его духовный обликъ, и этотъ отпечатокъ не изгладился во всю послѣдующую его жизнь. Суровая бѣдность, вѣчная погоня за грошевой работой развили въ немъ, прежде всего, какую-то скрытность, замкнутость въ самомъ себѣ. По отзывамъ людей, близко знавшихъ его, въ немъ всегда было что-то загадочное, невысказанное, затаенное отъ всѣхъ постороннихъ взглядовъ. Только когда слишкомъ уже сильна была потребность подѣлиться съ другими своимъ внутреннимъ міромъ, онъ прибѣгалъ къ откровенности и то чаще не въ личной бесѣдѣ, не съ однимъ человѣкомъ, а съ массой своихъ читателей, которыя являлись точно духовниками его и принимали исповѣдь наболѣвшей души.

Если сдержанныя муки,
Накипѣвъ, подъ сердце подойдутъ,
Я пишу,

говоритъ Некрасовъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній. Эту особенность Некрасова —выливать свои задушевныя мысли только на бумагѣ не мѣшаетъ помнить особенно тѣмъ, кто рѣшается утверждать, что Некрасовъ былъ неискренъ въ своей поэзіи, писалъ ради внѣшней выгоды, стараясь угодить толпѣ.

Сверхъ того, въ это-же время тяжелой, упорной борьбы за существованіе,

когда приходилось едва не умирать съ голоду, Некрасовъ, по его-же собственнымъ словамъ, „поклялся не умереть на чердакѣ“, т. е., говоря иными словами, рѣшилъ во что-бы то ни стало, какими бы то ни было средствами, выбиться изъ удручающей бѣдности. Въ этомъ рѣшеніи кроется начало той черты Некрасова, которая такъ отталкивала отъ него многихъ и вызывала цѣлый рядъ всевозможныхъ упрековъ и уколовъ, часто преувеличенныхъ и всегда посылаемыхъ со злой ироніей. Мы имѣемъ въ виду житейскую практичность, ловкость Некрасова, умѣніе выгодно устраивать свои матеріальныя дѣла, что такъ удачно подмѣтилъ въ немъ Бѣлинскій еще въ началѣ сороковыхъ годовъ, т. е. примѣрно въ тотъ періодъ его жизни, о которомъ у насъ теперь идетъ рѣчь, сказавъ, что Некрасовъ пойдетъ далеко и, навѣрно, наживетъ себѣ капиталецъ. Объ этой чертѣ Некрасова и о томъ, какой трагизмъ она вносила въ его душевный міръ, мы еще будемъ говорить; теперь-же необходимо отмѣтить, что бѣдственное положеніе, въ которое попалъ Некрасовъ по пріѣздѣ въ Петербургъ, заставило его столкнуться съ бѣдняками столицы, увидѣть, такъ сказать, оборотную сторону столичной жизни, и такъ какъ людское страданіе уже съ ранняго дѣтства было ему близко и знакомо и вызывало горячее сочувствіе, тяжелыя сцены пережитой и видѣнной имъ бѣдности городского пролетаріата глубоко запечатлѣлись въ его душѣ и впослѣдствіи дали обильный матеріалъ для его произведеній.

Чтобы не погибнуть голодною смертію, Некрасовъ долженъ былъ искать какого-нибудь заработка. Мы уже знаемъ, что онъ ранѣе пробовалъ свои силы на литературномъ поприщѣ, писалъ стихи, и потому естественно, что, кромѣ грошевыхъ уроковъ, онъ старался добыть себѣ литературной работы. Работа эта была самаго разнообразнаго и чисто случайнаго характера, вовсе не была связана съ какимъ-либо идейнымъ настроеніемъ и имѣла цѣлью исключительно матеріальный заработокъ. То были библіографическія и всякія другія замѣтки въ „Литературныхъ Прибавленіяхъ“ къ „Инвалиду“, въ „Литературной Газетѣ“ Краевскаго, въ „Сынѣ Отечества“, въ „Пантеонѣ“ и въ „Отеч. Запискахъ“, водевили для Александринскаго театра, азбуки и сказки по заказу книгопродавца Полякова и т. п. Тутъ, въ этой чисто черновой журнальной работѣ, еще нельзя увидѣть того Некрасова, который впослѣдствіи сталъ извѣстенъ всей образованной Россіи. Его міровоззрѣніе въ это время было еще слишкомъ несформировавшимся или, вѣрнѣе говоря, у него еще не было никакого міровоззрѣнія. Самое общество литераторовъ, съ которыми ему приходилось теперь сталкиваться, не могло дать ему сколько-нибудь благотворныхъ впечатлѣній, могущихъ способствовать развитію его богато одаренной, непосредственной натуры, уже успѣвшей до нѣкоторой степени очерствѣть, сдѣлаться „практикомъ“ въ дурномъ смыслѣ этого слова. Это было печальное время затишья, реакціи въ литературныхъ сферахъ Петербурга. Вспоминая эти годы, Некрасовъ такъ впослѣдствіи писалъ о нихъ:

Въ то время пусто и мертво
Въ литературѣ нашей было.
Скончался Пушкинъ—безъ него
Любовь къ ней публики остыла.
Ничья могучая рука
Ея не направляла къ цѣли,
Лишь два задорныхъ поляка
На первомъ планѣ въ ней шумѣли.

Основной тонъ въ литературѣ принадлежалъ Сенковскому, Булгарину и Гречу, съ именами которыхъ связывается представленіе о самомъ печальномъ состояніи нашей журналистики, когда люди безъ всякихъ убѣжденій, безъ знаній, часто съ продажной совѣстью обратили нашу литературу въ промыселъ, доставлявшій часто приличный доходъ. Духъ литературной спекуляціи всецѣло воцарился среди петербургскихъ литераторовъ и выразился въ цѣломъ рядѣ сомнительнаго свойства изданій, въ родѣ „Панорамы Петербурга“ Башуцкаго, всевозможныхъ альманаховъ, сборниковъ, лубочныхъ изданій для полуобразованнаго класса, переводныхъ романовъ вольнаго содержанія и т. д. При такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ Некрасову пришлось начинать свою литературную карьеру, и неудивительно, что въ немъ выработалась склонность къ литературной спекуляціи, литературно-промышленная практичность. Литературное дѣло, волею судебъ, обратилось къ нему прежде всего своею промышленною стороною, и мы не станемъ обвинять Некрасова въ томъ, что первое время на литературу онъ смотрѣлъ исключительно, какъ на средство заработка. Другому взгляду на нее научиться было не у кого, а условія предшествовавшей жизни были таковы, что не могли выработать въ немъ иного отношенія къ литературному поприщу. Если бы молодой, еще не сложившійся Некрасовъ не столкнулся съ другимъ кругомъ людей, отъ котораго пахнуло новой, свѣжей, идейной жизнью, онъ никогда не создалъ бы тѣхъ стихотвореній, которыя мы находимъ въ его такъ называемомъ полномъ собраніи стихотвореній, хотя туда и не вошли его юношескія произведенія.

Намъ предстоитъ теперь отмѣтить вліяніе на Некрасова одной изъ выдающихся личностей, какія создавала когда-либо русская жизнь, личности, возлѣ которой въ началѣ сороковыхъ годовъ группировались всѣ лучшія наши литературныя силы, которая была въ ту мрачную эпоху первой ласточкой, возвѣщавшей новое теченіе въ русской мысли, развивавшееся вполнѣ въ приснопамятные шестидесятые годы. Мы имѣемъ въ виду В. Г. Бѣлинскаго, съ которымъ въ это время познакомился Некрасовъ, оставившій, послѣ двухъ-лѣтняго пребыванія тамъ, университетъ и занявшійся исключительно литературной работой. Ранѣе этого, въ 1840-мъ году, матеріальное положеніе Накрасова настолько улучшилось, что онъ уже могъ издать на свои средства сборникъ юношескихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ: „Мечты и звуки“, на которомъ, однако, не выставилъ своей фамиліи. Впослѣдствіи Некрасовъ самъ скупалъ и уничтожалъ экземпляры этого изданія. Дѣйствительно, это были вполнѣ дѣтскія, безсодержательныя стихотворенія, въ которыхъ едва замѣтны проблески позднѣйшаго некрасовскаго таланта. „Мечты и звуки“ вызвали безпощадную рецензію Бѣлинскаго. По этому поводу нѣкоторые высказываютъ удивленіе, какъ Бѣлинскій, всегда съ поразительнымъ чутьемъ угадывавшій будущіе таланты, не нашелъ и признака его въ авторѣ этого сборника. Но тутъ нѣтъ ничего удивительнаго: Некрасовъ—поэтъ „музы, мести и печали“ еще не народился, и тому-же Бѣлинскому было суждено стать виновникомъ его духовнаго возрожденія. Къ сожалѣнію, эта наиболѣе интересная часть біографіи Некрасова, тотъ періодъ его жизни, примѣрно съ 1841-го по 1845-й годъ, когда онъ отъ дѣтскаго лепета, напечатаннаго въ сборникѣ „Мечты и звуки“, перешелъ къ стихотвореніямъ, помѣщеннымъ въ началѣ перваго тома его сочиненій, остается до настоящаго времени мало разработаннымъ, и мы не имѣемъ возможности, даже въ об-

щихъ чертахъ, прослѣдить его постепенный ростъ. Извѣстно только, что Бѣлинскій сразу полюбилъ его за его рѣзкій, нѣсколько ожесточенный умъ, за тѣ страданія, которыя онъ испыталъ такъ рано, за тотъ смѣлый, практическій взглядъ не по лѣтамъ, который онъ вынесъ изъ своей трудовой и страдальческой жизни. Самъ Бѣлинскій къ этому времени дѣлается страстнымъ поборникомъ искусства для жизни; онъ смотритъ теперь на искусство, какъ на одно изъ могучихъ выраженій жизни, служеніе которой обязательно для художника; литература въ его глазахъ является однимъ изъ главнѣйшихъ средствъ общественнаго развитія, могучимъ орудіемъ прогресса. Въ кружкѣ, группировавшемся около Бѣлинскаго, постоянно обсуждались вопросы русской общественной жизни, указывались темныя ея стороны, шла рѣчь объ обязанностяхъ поэта, гражданина, осуждалось крѣпостное право. Некрасовъ чутко прислушивался ко всѣмъ этимъ страстнымъ разговорамъ и подъ вліяніемъ ихъ, по его собственнымъ словамъ, началъ работать, учиться. Свѣтлая личность Бѣлинскаго, обаятельно дѣйствовавшая на всѣхъ, кто зналъ его, оказала свое благотворное вліяніе и на Некрасова. Благодаря общенію съ кружкомъ Бѣлинскаго, начинается духовное возрожденіе Некрасова. Во всю послѣдующую жизнь сохранилъ онъ благоговѣйное отношеніе къ памяти Бѣлинскаго.

Молясь твоей многострадальной тѣни,
Учитель, передъ именемъ твоимъ
Позволь смиренно преклонить колѣни!

писалъ Некрасовъ о Бѣлинскомъ въ „Медвѣжьей охотѣ“, и эти слова показываютъ, съ какимъ глубокимъ почтеніемъ относился онъ къ этому „учителю“. По его словамъ, когда онъ писалъ лучшія свои произведенія, онъ мысленно видѣлъ передъ собою чистый образъ Бѣлинскаго.

Подъ вліяніемъ Бѣлинскаго, мало по малу, на ряду съ прежнимъ, чисто промышленнымъ взглядомъ на литературную дѣятельность, у него развивается другой, по которому литература является могучей жизненной силой, и долгъ поэта „стать обличителемъ толпы, ея страстей и заблужденій“; одновременно съ чисто эгоистическими побужденіями для дѣятельности въ немъ усиленно развивается то, что принято называть чувствомъ общественности, для котораго достаточно была подготовлена почва какъ его личными страданіями, такъ и созерцаніемъ людского горя, всегда сильно дѣйствовавшаго на его отзывчивое сердце. Съ этого времени начинается, вѣроятно, та трагедія внутренняго, душевнаго міра Некрасова, о которой говорятъ почти всѣ, близко знавшіе его люди. Эта трагедія создавалась, какъ удачно выразился одинъ изъ литераторовъ, основнымъ противорѣчіемъ его жизни между клятвою не умереть на чердакѣ и искреннимъ сочувствіемъ къ обитателямъ чердаковъ, ко всѣмъ „страждущимъ и обремененнымъ“. Страннымъ образомъ сплетались въ немъ эти двѣ, такъ трудно примиримыя въ одной личности черты—стремленіе, иногда безъ должнаго разбора въ путяхъ къ личному благосостоянію и комфорту, который ему отлично удалось создать себѣ во второй періодъ его жизни, и съ другой стороны, горячая искренняя любовь къ народу и вообще страждущему человѣчеству. Этотъ разладъ между общимъ тономъ его произведеній и личной жизнью служилъ постояннымъ источникомъ тяжелаго внутренняго страданія.

Это тяжелое сознаніе собственнаго безсилія жить и дѣйствовать такъ, какъ считаешь честнымъ, справедливымъ, позднѣе неоднократно отражалось въ его поэзіи, и произведенія этого рода поражаютъ своимъ страшнымъ лиризмомъ. Ничто не было такъ мучительно для Некрасова, какъ этотъ внутренній разладъ:

Что враги? Пусть клевещутъ язвительнѣй.
Я пощады у нихъ не прошу!
Не предумать имъ казни мучительнѣй
Той, которую въ сердце ношу!

Отмѣченную сейчасъ характерную особенность души Некрасова необходимо имѣть въ виду при объясненіи цѣлой группы его стихотвореній, являющихся именно исповѣдью наболѣвшей души.

Но будемъ слѣдить дальше за постепеннымъ ростомъ Некрасова. Не сразу, конечно, развивалось во всей своей силѣ то настроеніе поэта, которое вызвало къ жизни музу „мести и печали“. Знакомство съ кружкомъ Бѣлинскаго впервые затронуло въ немъ благороднѣйшія стороны его души, но еще прошло не мало времени, прежде чѣмъ Некрасовъ далъ лучшія изъ своихъ произведеній. Онъ пока все еще занимается сочиненіемъ фельетоновъ, повѣстей, романовъ. Изъ нихъ наиболѣе извѣстны: „Опытная женщина“, повѣсть, помѣщенная въ 1841 г., въ „Отеч. Зап.“; „Петербургскіе углы“, напечатанные въ сборникѣ, изданномъ Некрасовымъ, подъ заглавіемъ „Физіологія Петербурга“ въ 1846 г.; „Три страны свѣта“, романъ написанный вмѣстѣ съ Панаевой: „Мертвое озеро“; „Тонкій человѣкъ“; три послѣднія произведенія напечатаны были въ „Современникѣ“ 48—56 гг. Вообще, по собственнымъ словамъ Некрасова, ему пришлось написать до 300 печатныхъ листовъ прозы, что составляетъ до 4800 страницъ обыкновеннаго формата въ 16-ю долю листа. Въ упомянутыхъ сейчасъ беллетристическихъ произведеніяхъ и другихъ, написанныхъ прозою, трудно найти что-нибудь, напоминающее будущаго Некрасова. Это обычныя произведенія въ духѣ, такъ называемой тогда, натуральной школы, иныя съ явнымъ подражаніемъ Гоголю, нѣкоторыя съ сатирическимъ элементомъ, но безъ „гражданской скорби“, которая служитъ отличительной чертой позднѣйшихъ сатиръ Некрасова. Видно, что эти произведенія не являются продуктомъ горячаго идейнаго настроенія, а просто служатъ средствомъ литературнаго заработка.

Но вотъ на ряду съ ними въ 1846-мъ году въ „Петербургскомъ сборникѣ“ (такъ назывался третій альманахъ, изданный Некрасовымъ) появляются уже такія произведенія, какъ „Въ дорогѣ“, „Колыбельная пѣсня“ и „Отрадно видѣть“. Въ нихъ уже проглядываетъ *настоящій* Некрасовъ. Эти стихотворенія, какъ извѣстно, помѣщены въ началѣ перваго тома его стихотвореній. Если ихъ сравнить съ предыдущими прозведеніями Некрасова, то легко подмѣтить нѣчто новое; въ нихъ уже замѣтны тѣ настроенія, какія впослѣдствіи, съ конца пятидесятыхъ годовъ, стали господствующими въ его поэзіи.

Между тѣмъ матеріальное положеніе Некрасова все улучшается, и съ 1847 года онъ вмѣстѣ съ Панаевымъ дѣлается издателемъ „Современника“. Съ этого времени онъ до самой смерти не разставался съ журнальной дѣятельностью, стоючи во главѣ сначала „Современника“ (до 1868 года), а потомъ „Отеч. Записокъ“ (съ 68-го до самой смерти).

Почему-то установилось мнѣніе, что Некрасовъ, будучи редактомъ-издателемъ двухъ названныхъ журналовъ, эксплоатировалъ своихъ сотрудниковъ, преслѣдуя исключительно личныя матеріальныя выгоды. На самомъ дѣлѣ, ничего подобнаго не было. Такъ, напр., Некрасовъ самъ добровольно предложилъ своимъ ближайшимъ сотрудникамъ и соредакторамъ, Салтыкову и Елисееву, участіе въ доходахъ изданія на равныхъ съ нимъ правахъ,—случай небывалый въ русской журналистикѣ.

Мы не будемъ подробно останавливаться на этомъ періодѣ жизни Некрасова, такъ какъ изложеніе фактической біографіи не входитъ въ нашу задачу. Отмѣтимъ только тѣ настроенія и вліянія, какія возникли у Некрасова въ эту пору. Въ теченіе тридцати лѣтъ, когда Некрасовъ стоялъ во главѣ двухъ лучшихъ нашихъ журналовъ, ему приходилось пускать въ ходъ всю свою необыкновенную практичность и изворотливость, чтобы обезпечить успѣхъ, а иногда и самое существованіе своихъ изданій. Для этой цѣли приходилось заводить и поддерживать цѣлый рядъ самыхъ разнообразныхъ знакомствъ, самому вести открытую, свѣтскую жизнь, имѣть сношенія съ людьми, которымъ въ другое время онъ же самъ быть можетъ не подалъ-бы руки. А съ другой стороны—вліяніе идейныхъ теченій 60-хъ годовъ, носителями которыхъ отчасти были журналы Некрасова, заставляло болѣе, чѣмъ когда-нибудь, сознавать все несоотвѣтствіе личной жизни съ исповѣдуемыми убѣжденіями. Отсюда страшный внутренній разладъ и неразлучное съ нимъ страданіе, преслѣдующіе Некрасова, особенно въ послѣдніе годы его жизни. Результатомъ этого являются рѣзкія, обличительныя сатиры, направленныя противъ петербургскаго общества и даже отдѣльныхъ личностей, съ одной стороны, и съ другой—глубоко грустные, элегическіе мотивы, исповѣдь собственной наболѣвшей души. Сверхъ того, въ это-же время, особенно въ періодъ съ 56 по 65 годъ, подъ вліяніемъ общаго пробужденія симпатій къ народу, поэзія Некрасова принимаетъ тотъ характеръ, который особенно памятенъ его читателямъ. Онъ обращается теперь въ пѣвца народнаго горя, яркаго изобразителя народной жизни, которой еще никому до того времени не удалось захватить такъ широко, какъ ему. Въ это время появились всѣ лучшія его произведенія, касающіяся народной жизни, какъ „Морозъ—красный носъ“, „Крестьянскія дѣти“, „Орина, мать солдатская“ и мн. др. Запасы впечатлѣній, вынесенныхъ изъ народной жизни въ дѣтствѣ, пополнялись ежегодными поѣздками въ ярославское имѣніе брата или же въ Чудово, гдѣ у него была охотничья дача. Охота съ давнихъ поръ была его страстью и въ то-же время служила средствомъ знакомиться съ народнымъ бытомъ. Сохранились любопытныя свѣдѣнія, сообщенныя его сестрой, объ этихъ охотничьихъ поѣздкахъ. „Каждое лѣто повторялось одно и то-же. Поработавъ нѣсколько дней, братъ начиналъ собираться. Это значило подавали къ крыльцу простую телѣгу, которую нагружали провизіей и порохомъ. Затѣмъ, вечеромъ или рано утромъ на другой день, братъ отправлялся самъ въ легкомъ экипажѣ съ любимой собакой, рѣдко съ товарищемъ. Товарища на охоту брать не любилъ. Онъ пропадалъ на нѣсколько дней, иногда на недѣлю и болѣе. По расказамъ, происходило вотъ что: въ разныхъ пунктахъ охоты у него были уже знакомцы, мужики-охотники. Онъ до каждаго доѣзжалъ и охотился въ его мѣстности. По окончаніи утренней охоты, выбиралось удобное мѣсто: братъ со своей компаніей завтракалъ, говорилъ самъ мало или дремалъ. Компанія, которая получала не мало водки и сколько угодно мяса, была разговорчива,—братъ слушалъ или нѣтъ—это его дѣло.

Рѣдкій разъ не привозилъ онъ изъ своего странствія какого-либо запаса для своихъ произведеній. Такъ, однажды, при мнѣ онъ вернулся и засѣлъ за „Коробейниковъ“, которыхъ потомъ при мнѣ читалъ крестьянину Кузьмѣ. Въ другой разъ засѣлъ на два дня—и явились „Крестьянскія дѣти“. Орина, мать солдатская, сама ему разсказывала свою ужасную жизнь. Онъ говорилъ, что нѣсколько разъ дѣлалъ крюкъ, чтобы поговорить съ нею, а то боялся сфальшивить. Память у него была удивительная; онъ записывалъ однимъ словечкомъ цѣлый разсказъ и помнилъ его всю жизнь по одному записанному слову. При работѣ тетради эти съ непонятными никому отмѣтками были передъ его глазами“.

Итакъ, эти лѣтнія поѣздки давали новый запасъ наблюденій для поэта, которыя потомъ перерабатывались въ чудныя произведенія, расходившіяся по всей Россіи. Подъ вліяніемъ ихъ извѣстность Некрасова росла все больше и больше. Въ теченіе его жизни вышло семь изданій его стихотвореній. Особенно проявилось участіе къ нему русскаго общества въ послѣдніе годы его жизни, когда, быть можетъ, подъ вліяніемъ неизлѣчимой болѣзни, въ немъ усиленно началась работа совѣсти, выразившаяся въ глубоко грустныхъ стихотвореніяхъ 1877 года. Со всѣхъ концовъ Россіи шли полныя участія письма съ самыми искренними, добрыми пожеланіями. Тѣмъ не менѣе, тяжелый внутренній разладъ, сознаніе неправо прожитой жизни не покинули его и въ послѣднія предсмертныя минуты, когда онъ со всѣми присутствовавшими заводилъ постоянно оправдательныя рѣчи. Скончался онъ въ страшныхъ мученіяхъ вечеромъ 27 декабря 1877 года.

Изъ сдѣланнаго выше краткаго обзора жизни Некрасова можно видѣть какъ тѣ вліянія, подъ которыми слагалась эта личность, такъ и настроенія, являвшіяся въ его поэзіи. Подведемъ краткій итогъ всему сказанному, чтобы затѣмъ, исходя отъ него, приступить къ разсмотрѣнію содержанія поэзіи Некрасова и выясненію ея значенія.

Уже въ пору нѣжнаго дѣтства, проведеннаго подъ тяжелымъ гнетомъ необузданнаго крѣпостническаго самодурства, въ душѣ Некрасова образовались два противоположныя настроенія: съ одной стороны, отвращеніе отъ всего угнетающаго, давящаго и, съ другой стороны, сочувствіе ко всему „униженному и оскорбленному“. Эти настроенія развились безсознательно, такъ сказать, инстинктивно, подъ вліяніемъ окружающей обстановки, они не явились результатомъ чьего-либо вліянія, вытекали изъ самой жизни и вслѣдствіе этого были тѣмъ сильнѣе и непосредственнѣе. Дальнѣйшія событія его жизни только еще болѣе усилили и углубили эти настроенія. Съ 16-ти лѣтъ Некрасову, рѣшившемуся, вопреки волѣ отца, итти въ университетъ, пришлось въ томъ періодѣ, когда только формируется человѣкъ, пережить страшную борьбу за жизнь съ постоянными голодовками, при непосильномъ, дурно оплачиваемомъ трудѣ. Только такая устойчивая и богатая натура, какъ Некрасовъ, могла не погибнуть въ этой борьбѣ, не спиться, не размѣняться на мелкую монету послѣ 300 листовъ прозы, написанныхъ при тяжелыхъ цензурныхъ условіяхъ исключительно ради заработка. Эти тяжелые годы, какъ мы знаемъ, еще болѣе усилили отмѣченныя выше, возникшія еще въ дѣтствѣ, настроенія, но, съ другой стороны, создали жажду матеріальной независимости, стремленіе во что-бы то ни стало, тѣмъ или инымъ путемъ, возможно болѣе обезпечить

свое существованіе. Тутъ началось вліяніе Бѣлинскаго и его кружка, и прежнія инстинктивныя симпатіи и антипатіи теперь становятся вполнѣ осмысленными, у поэта слагается опредѣленное міровоззрѣніе, выразителемъ котораго является его дальнѣйшая поэтическая дѣятельность. Но это самое міровоззрѣніе, съ горячимъ сочувствіемъ къ страданіямъ русскаго человѣка, вноситъ страшный антагонизмъ во внутренній міръ Некрасова, и чѣмъ крѣпче примыкаетъ онъ къ передовому движенію русской мысли, такъ называемымъ шестидесятникамъ, тѣмъ болѣе становится этотъ разладъ между исповѣдуемыми убѣжденіями и личной жизнью. Отсюда страстныя, чисто ювеналовскія обличенія и самообличенія, съ одной стороны, и съ другой—воспѣваніе горькой народной доли и вообще человѣческаго страданія: отсюда понятно преобладаніе въ поэзіи его мрачныхъ, скорбныхъ и желчныхъ звуковъ. Звуки эти вытекаютъ прямо изъ жизни поэта, изъ склада его нравственнаго характера и міровоззрѣнія. Сказанное сейчасъ служитъ лучшимъ возраженіемъ противъ обвиненій Некрасова въ неискренности, въ томъ, будто онъ ловко поддѣлывался подъ господствующій тонъ эпохи, противъ обвиненій въ искусственности, въ дѣланности его произведеній *). Скорѣй было-бы неестественнымъ, если-бы поэтъ, при тѣхъ условіяхъ жизни, въ какихъ находился Некрасовъ, и при его міровоззрѣніи, настраивалъ свою лиру на чисто эстетическій ладъ, вздумалъ-бы

Въ годину горя
Красу долинъ, небесъ и моря
И ласки милой воспѣвать.

Итакъ, еще послѣдній краткій выводъ изъ всего сказаннаго: основные мотивы поэзіи Некрасова въ значительной степени объясняются условіями его личной жизни и, главное, вліяніемъ эпохи. Какъ въ высшей степени чуткая нату-

*) Въ бумагахъ Некрасова сохранилось прекрасное, по силѣ стиха, стихотвореніе неизвѣстнаго автора, присланное Некрасову, въ которомъ очень хорошо обрисованы, съ одной стороны, недоброжелательные толки о немъ, а съ другой—указывается на могучее дѣйствіе его стиховъ, вытекающее изъ искренности его настроенія. Вотъ отрывокъ изъ этого малоизвѣстнаго стихотворенія:

Мнѣ говорятъ: твой чудный голосъ—ложь:
Прельщаешь ты притворною слезою
И словомъ лишь къ добру толпу влечешь,
А самъ, какъ змѣй, смѣешься надъ толпою.
Но ихъ рѣчамъ меня не убѣдить.
Иное мнѣ твой взглядъ сказалъ невольно;
Повѣрить имъ мнѣ было-бъ горько, больно...
Не можетъ быть!
Мнѣ говорятъ, что ты душой суровъ,
Что лишь въ словахъ твоихъ есть чувства пламень,
Что ты жестокъ, что стихъ твой весь любовь,
А сердце холодно, какъ камень!
Но отчего-жъ весь міръ сильнѣй любить
Мнѣ хочется, стихи твои читая?
И въ нихъ обманъ, а не душа живая?!
Не можетъ быть!

ра, онъ является выразителемъ господствовавшихъ теченій своего времени и того круга, къ которому онъ принадлежалъ по взглядамъ и убѣжденіямъ. Выросши въ кругу людей сороковыхъ годовъ, онъ затѣмъ примкнулъ къ шестидесятникамъ—народникамъ и въ своей поэзіи отразилъ ту и другую эпоху. Дальнѣйшее разсмотрѣніе этой поэзіи выяснитъ вкратцѣ главное ея содержаніе и тѣмъ самымъ дастъ возможность опредѣлить историко-литературное мѣсто Некрасова.

Разборъ стихотвореній Некрасова и значеніе его поэзіи.

Когда обращаешься къ критическимъ статьямъ о Некрасовѣ, по большей части поражаешься разнообразіемъ толковъ о немъ, какіе тамъ можно встрѣтить. Это разнообразіе происходитъ оттого, что тотъ или другой критикъ, приступая къ разсмотрѣнію и оцѣнкѣ поэзіи Некрасова, почти всегда обращалъ вниманіе на одну какую-либо ея сторону, на ту, которая почему-нибудь была ближе, цѣннѣе для него. Обыкновенно авторы статей о Некрасовѣ, за немногими исключеніями, брали одинъ какой-нибудь элементъ его поэзіи, да и то не цѣликомъ, а только отчасти, и на основаніи его дѣлали заключеніе о всей его дѣятельности. Такъ, одни, обращая, главнымъ образомъ, вниманіе на глубоко жизненное содержаніе его произведеній, готовы были ставить его выше Пушкина и Лермонтова. Яркой иллюстраціей этого мнѣнія служитъ эпизодъ, происшедшій надъ могилой Некрасова въ день его похоронъ. Когда Достоевскій въ надгробномъ словѣ, давая оцѣнку покойнаго поэта, сказалъ, что онъ долженъ прямо стоять вслѣдъ за Пушкинымъ и Лермонтовымъ, нѣсколько молодыхъ голосовъ прервали оратора криками: „нѣтъ, выше, выше!“ Другіе представители, такъ называемой эстетической критики, готовы вовсе отрицать какое бы то ни было значеніе некрасовскихъ стиховъ, называя ихъ прямо дидактической, риѳмованной прозой. Основаніемъ для такого огульнаго осужденія служило присутствіе въ поэзіи Некрасова дѣйствительно слабыхъ произведеній или же отдѣльныхъ мѣстъ, стиховъ, рѣзко разрушающихъ эстетическое впечатлѣніе. Нѣкоторые готовы видѣть въ Некрасовѣ исключительно сатирика, обличителя темныхъ сторонъ жизни; иные знаютъ его только какъ изобразителя народной жизни, какъ пѣвца народнаго горя.

И всѣ эти точки зрѣнія на Некрасова представляются односторонними, слишкомъ узкими, не захватывающими всей его поэзіи и уже по тому одному неправильными. Содержаніе поэзіи Некрасова, какъ всякаго поэта, надѣленнаго чуткой душой, подобно звучному эху откликающейся на различныя явленія жизни, очень обширно и разнообразно, и его невозможно опредѣлить въ двухъ словахъ. Для удобства, чтобы обозрѣть все разнообразіе и богатство поэтическаго творчества Некрасова, мы раздѣлимъ на отдѣльныя группы его стихотворенія и въ немногихъ словахъ выяснимъ сущность содержанія каждой группы. Выдѣлимъ, прежде всего, автобіографическія произведенія, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова.

Чѣмъ сильнѣе лиризмъ поэта, тѣмъ непосредственнѣе, безъ творческой переработки, отражается въ поэзіи его личная жизнь и настроенія. Некрасовъ обладалъ поражающей силой лиризма. Неудивительно поэтому, что въ его поэзіи мы

находимъ цѣлыя картины его личной жизни, душевныхъ волненій, не прикрытыхъ даже легкой пеленой поэтическаго вымысла.

На первомъ планѣ здѣсь должны быть поставлены стихотворенія, касающіяся дѣтскихъ годовъ поэта. Мы уже знаемъ, каковы были впечатлѣнія дѣтства Некрасова, наложившіяся свой особый отпечатокъ на всю его личность и не изгладившіяся до конца его жизни. Эти впечатлѣнія нашли себѣ яркое отображеніе въ его поэзіи. Среди произведеній, навѣянныхъ воспоминаніями о раннемъ дѣтствѣ, отмѣтимъ стихотворенія: „Родина“, „На волгѣ“, начало поэмы: „Несчастные“, отрывки изъ поэмы: „Мать“, отчасти „Рыцарь на часъ“. Вездѣ здѣсь передъ нами рисуется въ немногихъ, но смѣлыхъ стихахъ мрачная эпоха крѣпостного права, самодурство главы дома и печальный, вызывающій глубокое сожалѣніе образъ страдалицы-матери. Этотъ образъ неразрывно связанъ у поэта съ тяжелыми воспоминаніями дѣтства. На всю жизнь запечатлѣлся онъ въ душѣ, и, несомнѣнно, что многія изъ его произведеній, гдѣ идетъ рѣчь о горькой долѣ русской женщины, находятся въ тѣсной связи съ этими глубоко пережитыми еще въ раннемъ дѣтствѣ страданіями за безвинно мучившееся дорогое существо. Образъ матери въ его глазахъ рисуется въ какомъ-то чудномъ ореолѣ, „съ неземнымъ выраженіемъ въ очахъ, съ тихой грустью на блѣдныхъ устахъ“. Это тотъ свѣтлый геній-хранитель, который, подобно путеводной звѣздѣ, свѣтитъ поэту въ его жизни; предъ нимъ часто произноситъ онъ свою горькую исповѣдь, къ нему обращается съ мольбой спасти его отъ нравственнаго паденія и направить на правый путь. Тѣ мѣста поэзіи Некрасова, гдѣ онъ говоритъ о горячо любимой матери, отличаются глубоко искреннимъ, неподдѣльнымъ чувствомъ и своею непосредственностью захватываютъ читателя. Никто изъ нашихъ поэтовъ не поставилъ такъ высоко образа матери-страдалицы, какъ Некрасовъ. Несмотря на ихъ чисто автобіографическій характеръ, стихотворенія этого отдѣла доставляютъ высоко-художественное наслажденіе, пробуждая въ душѣ читателя нѣжныя чувства любви и признательности.

Сюда-же, къ автобіографическимъ стихотвореніямъ, мы отнесемъ, чтобы не выдѣлять ихъ въ особый отдѣлъ, цѣлый рядъ мелкихъ лирическихъ произведеній любовнаго характера. Почему-то эти вещи обходятъ молчаніемъ, а между тѣмъ они представляютъ въ своемъ родѣ поэтическіе перлы, изобличающіе въ Некрасовѣ настоящаго поэта-лирика. Значеніе этихъ стихотвореній заключается въ ихъ полной искренности; видно, что они возникли подъ вліяніемъ непосредственнаго чувства, являются результатомъ страстнаго лирическаго движенія, и это особенно нужно помнить тѣмъ, кто огульно обвиняетъ Некрасова въ дидактизмѣ, желая тѣмъ самымъ показать, что его произведенія представляютъ собою риѳмованную прозу, а не поэтическія созданія. Таковы, напр., стихотворенія: „О, письма женщины намъ милой“, „Такъ это шутка“, „Гдѣ твое личенько смуглое“, „Застѣнчивость“, „Мы съ тобой безтолковые люди“, „Влюбленному“, „Буря“ и нѣкоторыя другія.

Разсмотримъ хоть одно изъ нихъ,—„Такъ это шутка?“. Это стихотвореніе по искренности и правдивости тона, по простотѣ и силѣ языка близко стоитъ къ подобнымъ произведеніямъ Пушкина:

Такъ это шутка? Милая моя,
Какъ боязливъ, какъ недогадливъ я!

Я плакалъ надъ твоимъ разсчитанно суровымъ,
Короткимъ и сухимъ письмомъ;
Ни лаской дружеской, ни откровеннымъ словомъ
Ты сердце не порадовала въ немъ.

Короткое и сухое письмо возлюбленной вызываетъ цѣлую бурю въ душѣ поэта.

Я спрашивалъ: не демонъ-ли раздора
Твоей рукой насмѣшливо водилъ?.. и т. д.

Цѣлый рядъ предположеній промелькнулъ передъ нимъ.

Неразрѣшенной тайной
Я мучился; я плакалъ и страдалъ,
Въ догадкахъ умъ испуганный блуждалъ,
Я жалокъ былъ въ отчаяніи суровомъ.

Оказалось, всѣ волненія были напрасны:

Всему конецъ! Своимъ единымъ словомъ
Душѣ моей ты возвратила вновь
И прежній міръ и прежнюю любовь,
И сердце шлетъ тебѣ благословенья,
Какъ вѣстницѣ нежданнаго спасенья.

Особенно красиво заключительное сравненіе стихотворенія:

Такъ няня въ лѣсъ ребенка заведетъ
И спрячется сама за кустъ высокій.
Встревоженный, онъ ищетъ и зоветъ
И мечется въ тоскѣ жестокой,
И падаетъ безсильный на траву...
А няня вдругъ, ау, ау!
Въ немъ радостью внезапно сердце бьется,
И онъ ужъ прыгаетъ, и весело бѣжитъ,
И падаетъ—и няню не бранитъ,
Но къ сердцу жметъ виновницу испуга,
Какъ отъ бѣды избавившаго друга.

Но гораздо болѣе имѣютъ значенія тѣ изъ стихотвореній этого отдѣла, въ которыхъ поэтъ выражаетъ свои грустныя думы о безполезно прожитой жизни, о томъ, что ему не удалось осуществить своихъ завѣтныхъ мечтаній, что его жизнь представляетъ тяжкій разладъ между идеаломъ и дѣйствительностью. Это настроеніе начало преслѣдовать Некрасова еще въ концѣ сороковыхъ годовъ и чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе и болѣе росло и усиливалось, временами доходя до высшей степени напряженія. Плодомъ его явилось множество какъ отдѣльныхъ небольшихъ стихотвореній,

такъ и лирическихъ отступленій въ болѣе крупныхъ произведеніяхъ. Стихотворенія этого рода, кромѣ чисто автобіографическаго и художественнаго значенія, имѣютъ еще важное значеніе общественное.

Въ силу своей тонкой психической организаціи, а также извѣстнымъ образомъ сложившихся условій жизни, Некрасовъ въ своей поэзіи является яркимъ выразителемъ господствовавшихъ настроеній общественной мысли и чувства; это относится ко всѣмъ отдѣламъ его поэзіи, не исключая и произведеній, тѣсно связанныхъ съ его личною жизнью. И изъ этихъ послѣднихъ въ этомъ отношеніи особенно важное значеніе имѣетъ сейчасъ отмѣченная группа. Въ ней нашло себѣ выраженіе пробужденіе „больной совѣсти“ интеллигентнаго русскаго человѣка, впервые проявившееся во всей силѣ въ сороковые годы и господствующее донынѣ, красною нитью проходя черезъ міровоззрѣніе многихъ лучшихъ представителей образованнаго меньшинства Россіи. Это, съ одной стороны, сознаніе своего долга передъ народомъ и обществомъ, отрицаніе прежнихъ обветшалыхъ укладовъ жизни во имя новыхъ, свѣтлыхъ идеаловъ личнаго и общественнаго существованія, а съ другой—горькое сознаніе собственнаго безсилія, неспособности къ этой „новой жизни“, которая такъ заманчиво влечетъ къ себѣ.

Произведенія этого рода открываются чуднымъ, на нашъ взглядъ, стихотвореніемъ, написаннымъ еще въ концѣ сороковыхъ годовъ: „Я за то глубоко презираю себя“.

Я за то глубоко презираю себя,
Что живу день за днемъ, безполезно губя;
Что я силы своей не пытавъ ни на чемъ,
Осудилъ самъ себя безпощаднымъ судомъ
И, лѣниво твердя: я ничтоженъ и слабъ!
Добровольно всю жизнь пресмыкался, какъ рабъ;
Что доживши кой-какъ до тридцатой весны,
Не скопилъ я себѣ хоть богатой казны,
Чтобъ глупцы у моихъ пресмыкалися ногъ,
Да и умникъ подчасъ позавидовать могъ!
Я за то глубоко презираю себя,
Что потратилъ свой вѣкъ, никого не любя
Что любить я хочу... что люблю я весь міръ,
А брожу дикаремъ, безпріютенъ и сиръ,
И что злоба во мнѣ и сильна и дика,
А до дѣла дойдетъ—замираетъ рука.

Иногда, подъ вліяніемъ родной-ли безыскусственной природы, или вслѣдствіе какихъ-либо другихъ причинъ, человѣкъ стряхиваетъ съ себя пошлость окружающей жизни, и

Сила юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы
Наполняютъ ожившую грудь.

Но тутъ-же сейчасъ:

Вспоминается пройденный путь,
Совѣсть пѣсню свою запѣваетъ.

Горькая это пѣсня. Мучительно больно сознаніе собственнаго ничтожества и полнаго погруженія въ „тину нечистую“

Мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей.

Страстное желаніе отдать свои надломленныя силы „за великое дѣло любви“ пробуждается тогда въ душѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ крѣпнетъ увѣренность, что еще есть возможность цѣною собственной жизни искупить прошлое. Но не долго продолжится этотъ могучій подъемъ духа, какъ будто знаменующій полное перерожденіе человѣка: стоитъ ему попасть въ прежнюю обстановку, какъ вновь господствуетъ убѣжденіе въ полномъ безсиліи на какое-либо благородное дѣло; внутренній голосъ насмѣшливо тянетъ свою пѣсню, столь хорошо знакомую среднему русскому интеллигенту:

Покорись, о ничтожное племя,
Неизбѣжной и горькой судьбѣ!
Захватило васъ трудное время
Неготовыми къ трудной борьбѣ.
Вы еще не въ могилѣ, вы живы,
Но для дѣла—вы мертвы давно:
Суждены вамъ благіе порывы,
Но совершить ничего не дано!

Эти заключительныя строки одного изъ лучшихъ произведеній Некрасова какъ нельзя больше характеризуютъ „рыцарей на часъ“, которыхъ въ огромномъ количествѣ можно встрѣтить въ русской литературѣ и жизни. Тяжелое сознаніе собственнаго безсилія, неспособности отдаться всецѣло на служеніе тому идеалу, къ которому стремишься всей душей,—было трагедіей жизни Некрасова,—да и одного-ли Некрасова,—и многія изъ лучшихъ, задушевнѣйшихъ его произведеній, несомнѣнно, написаны именно въ такіе моменты самобичеванія и тщетныхъ порывовъ къ свѣтлому идеалу. Если справедливо вообще изреченіе Ибсена:

Творить? то значитъ надъ собою
Нелицемѣрный судъ держать,

то оно какъ нельзя болѣе примѣнимо именно къ Некрасову.

Это сознаніе невозможности вступить въ активную борьбу за то, что считаешь святымъ и благороднымъ, особенно сильно выступаетъ у Некрасова въ послѣдніе годы его жизни и грустной нотой звучитъ въ цѣломъ рядѣ предсмертныхъ стихотвореній.

Во мнѣ нѣтъ силъ героя,—
Тотъ не герой, кто лавромъ не увитъ
Иль на щитѣ не вынесенъ изъ боя,—
Я рядовой (теперь ужъ инвалидъ),

грустно признается онъ въ стихотвореніи: „Унынie“, написанномъ за нѣсколько

лѣтъ до смерти. Тамъ-же, въ концѣ, мы находимъ слѣдующія трогательныя строки, идущія изъ глубины сердца поэта:

Народъ, народъ! Мнѣ не надо геройства
Служить тебѣ—плохой я гражданинъ,
Но жгучее, святое безпокойство
За жребій твой донесъ я до сѣдинъ!

Еще болѣе грусти замѣчается въ коротенькомъ стихотвореніи: „Поэту“:

Любовь и трудъ—подъ грудами развалинъ!
Куда ни глянь—предательство, вражда,
А ты молчишь—бездѣйственъ и печаленъ,
И медленно сгораешь со стыда,
И небу шлешь укоръ за даръ счастливый:
Зачѣмъ тебя вѣнчало имъ оно,
Когда душѣ мечтательно-пугливой
Рѣшимости бороться не дано?..

Проявившись съ особою силою въ послѣдніе годы жизни поэта, это гнетущее душу настроеніе сказывалось неоднократно и раньше и нашло себѣ выраженіе, напримѣръ, въ стихотвореніи: „Неизвѣстному другу“, написанномъ около половины шестидесятыхъ годовъ.

Умру я скоро! Жалкое наслѣдство,
О родина, оставлю я тебѣ,

такъ печально начинается это стихотвореніе. Глубокой грустью дышатъ въ немъ слѣдующія заключительныя строки:

Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,
Терпѣньемъ изумляющій народъ,
И бросить хоть единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ;
Но жизнь любя, къ минутнымъ благамъ
Прикованный привычкой и средой,
Я къ цѣли шелъ колеблющимся шагомъ,
Я для нея не жертвовалъ собой:
И пѣснь моя безслѣдно пролетѣла
И до народа не дошла она,
Одна любовь сказаться въ ней успѣла
Къ тебѣ, моя родная сторона.
За то, что я, черствѣя съ каждымъ годомъ,
Ее умѣлъ въ душѣ моей спасти,
За каплю крови, общую съ народомъ,
Мои вины, о родина, прости!..

Едва-ли кто станетъ сомнѣваться въ искренности этихъ горячихъ изліяній наболѣвшей души поэта. Являясь цѣннымъ матеріаломъ для характеристики личности Некрасова, эти произведенія, повторяемъ, имѣютъ важное историческое и даже болѣе того, мы бы сказали, если не общечеловѣческое, то общерусское значеніе. Въ нихъ отразилась сокровенная работа пробудившейся совѣсти людей сороковыхъ годовъ. Эта работа продолжается и теперь, можно даже сказать, что она является характерной особенностью вообще русскаго человѣка, если только онъ, выражаясь словами Некрасова, не погрузился окончательно „въ тину нечистую мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей“. Съ этой стороны, отмѣченныя сейчасъ, въ общихъ чертахъ, такъ сказать, самообличительныя произведенія Некрасова имѣли захватывающее значеніе для современниковъ поэта и сохранили его въ значительной степени и для нашего времени, тѣмъ болѣе, что они, помимо своего содержанія привлекаютъ читателя своими чисто поэтическими достоинствами. Не даромъ „Рыцарь на часъ“ и нѣкоторыя другія однородныя произведенія оказываются до сихъ поръ любимѣйшими изъ стихотвореній Некрасова для многихъ читателей.

Выше шла рѣчь о тѣхъ изъ произведеній Некрасова, въ которыхъ онъ является выразителемъ настроеній людей сороковыхъ годовъ. Къ такимъ произведеніямъ относится также одна изъ лучшихъ поэмъ Некрасова: „Саша“, гдѣ передъ нами выступаетъ любопытный типъ, столь хорошо извѣстный русскому читателю изъ „Рудина“ Тургенева. Написанная раньше тургеневскаго „Рудина“ некрасовская „Саша“, въ лицѣ героя поэмы Агарина, первая отмѣтила многія существенныя черты рудинскаго типа. Въ лицѣ героини поэмы Некрасовъ тоже раньше Тургенева вывелъ стремящуюся къ свѣту натуру, нѣсколько напоминающую основными чертами своего характера Елену изъ „Наканунѣ“. Блестящую характеристику людей рудинскаго типа въ немногихъ стихахъ даетъ Некрасовъ, до такой степени мѣткую, сжатую и сильную, что въ ней нечего ни добавить, ни уменьшить. Эти стихи, какъ нельзя лучше, опредѣляютъ Рудиныхъ. Вотъ какъ характеризуетъ его нашъ поэтъ:

Странное племя, мудреное племя
Въ нашемъ отечествѣ создало время!
Это не бѣсъ, искуситель людской,
Это, увы! современный герой!
Книги читаетъ да по свѣту рыщетъ—
Дѣла себѣ исполинскаго ищетъ,
Благо наслѣдье богатыхъ отцовъ
Освободило отъ малыхъ трудовъ,
Благо итти по дорогѣ избитой
Лѣнь помѣшала, да разумъ развитый.
—„Нѣтъ, я души не растрачу своей
На муравьиной работѣ людей;
Или подъ бременемъ собственной силы
Сдѣлаюсь жертвою ранней могилы,
Или по свѣту звѣздой пролечу!
Міръ,—говоритъ,—осчастливить хочу!“
Что-жъ подъ руками, того онъ не любитъ,

То мимоходомъ безъ умыслу губитъ...
Все, что высоко, разумно, свободно,
Сердцу его и доступно и сродно,
Только дающая силу и власть
Въ словѣ и дѣлѣ чужда ему страсть!
Любитъ онъ сильно, сильнѣй ненавидитъ,
А доведись—комара не обидитъ!
Да говорятъ, что ему и любовь
Голову больше волнуетъ, не кровь.
Что ему книга послѣдняя скажетъ,
То на душѣ его сверху и ляжетъ:
Вѣрить, не вѣрить—ему все равно,
Лишь-бы доказано было умно!
Самъ на душѣ ничего не имѣетъ,
Что вчера сжалъ, то сегодня и сѣетъ;
Нынче не знаетъ, что завтра сожнетъ,
Только, навѣрное, сѣять пойдетъ.
Это въ простомъ переводѣ выходитъ,
Что въ разговорахъ онъ время проводитъ...
Если-жъ за дѣло возьмется—бѣда!
Міръ виноватъ въ неудачѣ тогда!
Чуть поослабнутъ нетвердыя крылья,
Бѣдный кричитъ: „безполезны усилья!“
И ужъ куда какъ становится золъ
Крылья свои опалившій орелъ...
А... сѣетъ онъ все-таки доброе сѣмя!

Эта сжатая характеристика людей рудинскаго типа до того вѣрна и такъ обнаруживаетъ ихъ сущность, что она является необходимымъ дополненіемъ къ извѣстному роману Тургенева, главный герой котораго станетъ несравненно понятнѣе, если параллельно съ нимъ прочесть „Сашу“ Некрасова.

Но рефлективные мотивы сороковыхъ годовъ далеко не исчерпываютъ содержанія поэзіи Некрасова и не являются въ ней преобладающимъ элементомъ. Некрасовъ, примкнувши къ теченію 60-хъ годовъ, явился въ своей поэзіи выразителемъ господствовавшей струи этого теченія, тѣсно связаннаго съ вопросомъ о крѣпостномъ правѣ, вытекавшаго отчасти изъ сознанія своего долга передъ народомъ, желанія помочь его тяжелому положенію. Еще съ конца сороковыхъ годовъ пробивается въ поэзіи Некрасова новое, свѣжее направленіе, которому суждено было потомъ разрости въ широкую картину народной жизни. Это направленіе поэзіи Некрасова открывается стихотвореніемъ: „Въ дорогѣ“, которое привело въ неописанный восторгъ Бѣлинскаго. Когда Некрасовъ прочелъ его нашему знаменитому критику, тотъ бросился къ нему, обнялъ и чуть не со слезами на глазахъ воскликнулъ: „да знаете-ли вы, что вы—поэтъ и поэтъ истинный!“ Съ этихъ поръ, по словамъ Панаева, Некрасовъ все болѣе и болѣе возвышался въ глазахъ Бѣлинскаго. Сущ-

ность стихотворенія „Въ дорогѣ“ заключается въ рѣчи ямщика, къ которому поэтъ обратился съ просьбой разсказать ему что-либо, чтобы разогнать какъ-нибудь скуку.

„Самому мнѣ невесело, баринъ“,—

отвѣчаетъ ямщикъ:

„Сокрушила злодѣйка—жена!“

И далѣе разсказываетъ о своемъ горѣ. Въ этой простой, безыскусственной рѣчи ямщика, удачно переданной Некрасовымъ, передъ нами встаетъ картина молодой разбитой женской жизни. Жена ямщика, по какому-то произволу барыни, была воспитана вмѣстѣ съ ея дочерью и затѣмъ, по такому-же капризу, отдана замужъ за ямщика. Мужъ ей попался добрый, любящій, который

Одѣвалъ и кормилъ, безъ пути не бранилъ,
Уважалъ, то-ись, вотъ какъ,—съ охотой...
А, слышь, бить,—такъ почти не бивалъ,
Развѣ только подъ пьяную руку...

Тѣмъ не менѣе, Груня таетъ, какъ свѣча, не будучи въ состояніи приспособиться къ крестьянской жизни.

При чужихъ и туда сюда,
А украдкой реветъ какъ шальная...
На какой-то портретъ все глядитъ,
Да читаетъ какую то книжку...
Инда страхъ меня, слышь ты, щемитъ,
Что погубитъ она и сынишку:
Учитъ грамотѣ, моетъ, стрижетъ,
Словно барченка, каждый день чешетъ,
Бить не бьетъ, бить и мнѣ не даетъ...
Да не долго пострѣла потѣшитъ!
Слышь, какъ щепка худа и блѣдна,
Ходитъ то-ись совсѣмъ черезъ силу,
Въ день двухъ ложекъ не съѣстъ толокна—
Чай, свалимъ черезъ мѣсяцъ въ могилу...
А съ чего?...
Погубили ее господа,
А была-бы бабенка лихая!

замѣчаетъ печально ея мужъ. Вотъ эта первая драма изъ народной жизни, такъ просто переданная Некрасовымъ. Съ такимъ гуманнымъ, элегическимъ чувствомъ тогда еще никто не говорилъ о народѣ, и неудивительно, что великій русскій критикъ сразу угадалъ въ Некрасовѣ оригинальную поэтическую силу. Съ этого времени Некрасовъ все чаще и чаще обращается къ изображенію народой жизни, и съ половины 50-хъ годовъ, а особенно въ шестидесятые, народъ и его жизнь становятся преобладающимъ элементомъ его поэзіи.

Произведенія, посвященныя изображенію народнаго быта, наиболѣе памятны читателямъ Некрасова; ими онъ стяжалъ себѣ славу „печальника горя народнаго“ и пріобрѣлъ обширный кругъ читателей; стихотворенія этого рода есть главная, существенная часть его поэзіи; для многихъ Некрасовъ памятенъ только, какъ поэтъ изобразитель народной жизни. Поэтому слѣдуетъ нѣсколько подробнѣе остановиться на этомъ отдѣлѣ его стихотвореній и опредѣлить, какая сторона быта народа привлекала вниманіе поэта и какъ онъ относился къ различнымъ явленіямъ его жизни. Произведенія Некрасова, съ той или другой стороны затрагивающія народную жизнь, охватываютъ собою почти цѣлое тридцатилѣтіе, первая половина котораго относится еще къ эпохѣ крѣпостного права. Такимъ образомъ, въ его поэзіи мы находимъ, съ одной стороны, дореформенное крестьянство, и съ другой—изображеніе народнаго быта послѣ великаго акта 19-го февраля 1861 г.

Остановимся сначала на тѣхъ его произведеніяхъ, гдѣ изображается народъ въ крѣпостномъ состояніи. Сюда относится уже отмѣченное выше „Въ дорогѣ“, затѣмъ такія стихотворенія, какъ „Тройка“, „Изъ путевыхъ записокъ гр. Гаранскаго“, „Ночь“, „Размышленія у парадная подъѣзда“, „Забытая деревня“ и нѣк. др.

Въ нихъ Некрасовъ одинъ изъ первыхъ затронулъ такіе вопросы, какихъ до того времени не замѣчали или боялись касаться. Ему, вмѣстѣ съ Тургеневымъ („Записки охотника“) и Григоровичемъ, принадлежитъ великая заслуга ознакомленія общества съ жизнью русскаго крестьянина, главнымъ образомъ, съ темными сторонами этой жизни, развившимися на почвѣ крѣпостного права. Мрачная эта картина, нарисованная поэтомъ. Вотъ молодая крестьянская дѣвушка, невольно привлекшая вниманіе своей красотой, живостью, полная силы и свѣжести. Кажется, природа все ей дала, чтобы жизнь была полна и легка.

Да не то тебѣ пало на долю,

грустно замѣчаетъ поэтъ,

За неряху пойдешь мужика.
Завязавши подъ мышки передникъ,
Перетянешь уродливо грудь,
Будетъ бить тебя мужъ-привередникъ,
И свекровь въ три погибели гнуть...
И въ лицѣ твоемъ, полномъ движенья,
Полномъ жизни, появится вдругъ
Выраженье тупого терпѣнья
И безсмысленный, вѣчный испугъ.
И схоронятъ въ сырую могилу,
Какъ пройдешь ты тяжелый свой путь,
Безполезно угасшую силу
И ничѣмъ не согрѣтую грудь.

Но не въ лучшемъ положеніи и мужчина, весь принадлежащій произволу своего барина или въ конецъ уничтожаемый роковымъ стеченіемъ обстоятельствъ, какъ это, напримѣръ, ясно видно изъ стихотворенія: „Вино“. Парня, безъ всякой съ его стороны

вины, подвергъ тѣлесному наказанію баринъ. Это столь обычное въ старину явленіе вызываетъ однако у него въ душѣ цѣлую бурю негодованія:

Какъ подумаю, весь задрожу,
На душѣ все чернѣй да чернѣй.
Какъ теперь на людей погляжу?
Какъ прійду къ ненаглядной моей?

Кстати подвернувшійся штофъ вина залилъ бурный порывъ протеста. За этимъ несчастьемъ на голову бѣднаго парня сыплются другія: его невѣсту выдаютъ силою за немилого, который сумѣлъ расположить къ себѣ старосту; тамъ его обсчитываетъ плутъ-подрячикъ. Эти незаслуженныя обиды вновь пробуждаютъ въ душѣ парня страшное негодованіе, онъ уже близокъ къ преступленію, но и на этотъ разъ вино спасаетъ его. Неудивительно, что онъ такъ рѣшительно высказываетъ одобреніе вину, въ которомъ русскій человѣкъ издревле находитъ спасеніе отъ „горя-злосчастья“:

Не водись-ка на свѣтѣ вина,
Тошенъ былъ-бы мнѣ свѣтъ,
И пожалуй—силенъ сатана—
Натворилъ-бы я бѣдъ!

Но далеко не всѣ способны на какой-бы то ни было протестъ, хотя-бы даже въ словесной формѣ. Вотъ передъ нами картина несбывшихся надеждъ, разбитыхъ жизней, полная скорби и смиреннаго терпѣнія. Это—„забытая деревня“. Баринъ забылъ своихъ крѣпостныхъ, о немъ ни слуху, ни духу, а между тѣмъ у каждаго есть своя нужда, свое горе, которыхъ никто, кромѣ барина, не можетъ разрѣшить. Крестьяне ждутъ—не дождутся помѣщика, чтобы воротить присвоенный сосѣдомъ кусокъ земли; бабушкѣ Ненилѣ нужно лѣсу для починки полуразвалившейся избенки; Наташа не можетъ безъ разрѣшенія барина выйти замужъ за любимаго вольнаго хлѣбопашца,—у всякаго своя нужда, свое горе. Но всѣмъ этимъ надеждамъ не суждено исполниться.

Умерла Ненила; на чужой землицѣ
У сосѣда-плута урожай сторицей;
Прежніе парнишки стали бородаты,
Хлѣбопашецъ вольный угодилъ въ солдаты,
И сама Наташа свадьбой ужъ не бредитъ...
Барина все нѣту, баринъ все не ѣдетъ!
Наконецъ, однажды середи дороги
Шестернею цугомъ показались дроги:
На дрогахъ высокихъ гробъ стоитъ дубовый,
А въ гробу-то баринъ, а за гробомъ—новый.
Стараго отпѣли, новый слезы вытеръ,
Сѣлъ въ свою карету и уѣхалъ въ Питеръ,

а неотложныя нужды крестьянъ такъ и остались неудовлетворенными.

Гдѣ искать бѣдному, обездоленному крѣпостному крестьянину, притѣсняемому всѣми, кто только хочетъ, управы на своихъ обидчиковъ, гдѣ найти отвѣтъ на свои нужды? Гдѣ-то есть, говорятъ, столица, тамъ ужъ разберутъ. И вотъ отправляются крестьяне туда. Длинная дорога окончена, вотъ они уже у желанной цѣли, вотъ сейчасъ они увидятъ того, кто дастъ имъ отвѣтъ на всѣ такъ важные для нихъ вопросы.

Показался швейцаръ.—„Допусти!“ говорятъ
Съ выраженьемъ надежды и муки.
Онъ гостей оглядѣлъ: некрасивы на взглядъ!
Загорѣлыя лица и руки,
Армячишка худой на плечахъ,
По котомкѣ на спинахъ согнутыхъ,
Крестъ на шеѣ и кровь на ногахъ,
Въ самодѣльные лапти обутыхъ.
(Знать, брели-то долгонько они
Изъ какихъ-нибудь дальнихъ губерній).
Кто-то крикнулъ швейцару: „гони!
Нашъ не любитъ оборванной черни!“
И захлопнулась дверь. Постоявъ,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцаръ не пустилъ, скудной лепты не взявъ,
И пошли они, солнцемъ палимы
Повторяя: суди его Богъ!
Разводя безнадежно руками.

И тутъ не нашелъ бѣдный крестьянинъ отвѣта и, пропивши послѣдніе гроши, пойдетъ побираясь дорогой, на родину, въ грустной, подобной стону пѣснѣ выливая свое горе.

Назови мнѣ такую обитель,—

восклицаетъ поэтъ,—

Я такого угла не видалъ,
Гдѣ-бы сѣятель твой и хранитель,
Гдѣ-бы русскій мужикъ не стоналъ?...
Волга! Волга! весной многоводной
Ты не такъ заливаешь поля,
Какъ великою скорбью народной
Переполнилась наша земля!
Гдѣ народъ, тамъ и стонъ...

Эти заключительныя строки „Размышленій у парадnаго подъѣзда“ содержатъ въ себѣ общій взглядъ Некрасова на народную долю въ эпоху крѣпостного права. „Гдѣ народъ—тамъ и стонъ“—вотъ сущность этого взгляда. По мнѣнію поэта, преобладающей чертой народной жизни подъ властью помѣщиковъ было именно страданіе.

Изъ бѣглаго обзора жизни Некрасова мы уже знаемъ, почему именно эта сторона народнаго быта останавливала на себѣ его вниманіе: человѣческое горе, страданіе, въ силу извѣстнымъ образомъ сложившихся обстоятельствъ жизни, наиболѣе были понятны Некрасову; ему, какъ онъ самъ говоритъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, „всюду мерещится драма“. Потому-то ни въ одномъ изъ произведеній Некрасова мы не находимъ исключительно свѣтлыхъ картинъ народнаго быта; поэтъ точно не видитъ ихъ вовсе. За эту односторонность изображенія народной жизни, такъ сказать, чрезмѣрное сгущеніе мрачныхъ красокъ не разъ посылались упреки Некрасову. „Неужели-же, говорили, нашъ народъ хотя-бы даже и въ эпоху крѣпостного права, только страдалъ, неужели нельзя было выбрать хоть одной свѣтлой картины изъ его жизни?“ Поэта обвиняли въ желчности, въ томъ, что онъ умышленно искажаетъ истину. Всѣ эти упреки падаютъ сами собой, если припомнить сказанное раньше о томъ, какъ формировалось міровоззрѣніе Некрасова. Поэтъ невиноватъ, если волею судебъ жизнь повернулась къ нему только одною своею стороною; другое дѣло, какъ онъ изображалъ эту сторону, какъ самъ относился къ описываемымъ явленіямъ. Во всякомъ случаѣ, если даже въ цѣломъ дореформенная народная жизнь изображена Некрасовымъ нѣсколько односторонне, все-же въ ней выдвинута одна изъ яркихъ, характерныхъ ея сторонъ, если и замѣчается, выражаясь литературнымъ терминомъ, идеализація, то эта идеализація не фальшивая, не ложная. Но поэтъ почти въ каждомъ изъ произведеній, касающихся народнаго быта, такъ или иначе, путемъ ли выбора поэтическаго образа и группировки подробностей, или лирическимъ отступленіемъ, вездѣ выражаетъ такое сочувствіе народу, такое страстное негодованіе по отношенію къ его притѣснителямъ, что даже современный намъ читатель, который уже далеко отстоитъ отъ эпохи крѣпостного права и нарисованныхъ поэтомъ мрачныхъ картинъ, невольно проникается его настроеніемъ.

Легко понять, какъ дѣйствовали эти стихотворенія на лучшую часть современнаго Некрасову дореформеннаго общества. Они будили ставшую въ то время чуткой общественную совѣсть, вызывали жалость и сочувствіе къ безправному люду, побуждали искать выхода изъ того ненормальнаго положенія, въ которомъ находился русскій народъ. Короче говоря, эти стихотворенія подготовляли читателей Некрасова къ великому акту 19-го февраля, къ тому страстному движенію русскаго общества, которое, будучи результатомъ сознанія своего вѣкового долга передъ народомъ, проявилось въ самыхъ разнообразныхъ, иногда даже уродливыхъ формахъ, но которое имѣло одну цѣль—возможно скорѣе помочь крестьянину выйти изъ его тягостнаго во многихъ отношеніяхъ положенія.

Некрасовъ, не мало способствовавшій разсмотрѣннымъ сейчасъ отдѣломъ своей поэзіи движенію въ пользу народа въ нашемъ обществѣ въ 50-е и 60-е годы, по своимъ взглядамъ на народную жизнь и его будущее вполнѣ примыкалъ къ этому движенію. Рисуя въ мрачныхъ, пессимистическихъ краскахъ безотрадную картину народнаго горя, поражая читателя ужасомъ и негодованіемъ, онъ все-же, въ концѣ концовъ, оставляетъ въ немъ, несомнѣнно, бодрящее впечатлѣніе. Говоря словами одного критика, Некрасовъ не пасуетъ передъ печальной дѣйствительностью, не склоняетъ передъ ней покорно голову, но смѣло вступаетъ въ бой съ темными силами и увѣренъ въ побѣдѣ. Эта увѣренность вытетаетъ изъ глубокаго убѣжденія въ свѣтломъ будущемъ, котораго, наконецъ добьется достойный его русскій народъ.

Эта вѣра въ неизсякаемый родникъ народныхъ силъ, въ его лучшее будущее проглядываетъ во многихъ произведеніяхъ Некрасова. Извѣстное, напримѣръ, стихотвореніе: „Школьникъ“, помѣщаемое чуть не во всѣхъ хрестоматіяхъ, заканчивается слѣдующими восторженными стихами:

Не бездарна та природа,
Не погибъ еще тотъ край,
Что выводитъ изъ народа
Столько славныхъ, то и знай.

Въ поэмѣ: „Несчастные“ есть также мѣсто, ясно свидѣтельствующее о глубокой вѣрѣ поэта въ народныя силы.

Во многомъ насъ
Опередили иноземцы,
Но мы догонимъ, въ добрый часъ!
Лишь Богъ помогъ бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольнѣй—
Покажетъ Русь, что есть въ ней люди,
Что есть грядущее у ней.
Она не знаетъ середины—
Черна—куда не погляди,
Но не проѣлъ до сердцевины
Ея порокъ. Въ ея груди
Бѣжитъ потокъ живой и чистый
Еще нѣмыхъ народныхъ силъ;
Такъ подъ корой Сибири льдистой
Золотоносныхъ много жилъ.

Таковъ былъ взглядъ Некрасова на жизнь народа и его будущее до эпохи освобожденія.

Но вотъ пришло 19 февраля 1861 года. Радостное событіе уничтоженія крѣпостного права Некрасовъ привѣтствовалъ стихотвореніемъ: „Свобода“, въ которомъ на ряду съ горячей радостью по поводу того, что уже въ Россіи нѣтъ больше рабовъ, высказываетъ и грустныя мысли о томъ, что все-же народу прійдется еще не мало перенести.

Умъ человѣческій тонокъ и гибокъ:
Знаю, на мѣсто сѣтей крѣпостныхъ
Люди придумали много иныхъ.

Но поэта ободряетъ мысль, что теперь ихъ легче распутать народу. Такимъ образомъ, Некрасовъ не принадлежалъ къ тѣмъ оптимистамъ-мечтателямъ, которые думали, что съ освобожденіемъ народъ сразу начнетъ благоденствовать. Онъ отлично понималъ, что освобожденіе есть только первый шагъ къ народному счастью, и что

пройдетъ еще не мало времени, прежде чѣмъ народная жизнь приметъ, наконецъ, вполнѣ благопріятное для самаго народа теченіе. Онъ попрежнему остается пѣвцомъ народнаго горя, попрежнему бичуетъ тѣхъ, кто, называя забавою щелкоперовъ народное благо, съ презрѣніемъ относится къ народу, считая его погруженнымъ въ невѣжество и недостойнымъ лучшей доли.

Пускай намъ говоритъ измѣнчивая мода,
Что тема старая страданія народа,
И что поэзія забыть ее должна,—
Не вѣрьте, юноши, не старѣетъ она!...
Толпѣ напоминать, что бѣдствуетъ народъ
Въ то время, какъ она ликуетъ и поетъ,
Къ народу возбуждать вниманье сильныхъ міра—
Чему достойнѣе служить могла бы лира?...
Я лиру посвятилъ народу своему;
Быть можетъ, я умру, невѣдомой ему,
Но я ему служилъ,—и я умру спокоенъ...
Я видѣлъ красный день: въ Россіи нѣтъ рабовъ!
И слезы сладкія пролилъ я въ умиленіи...
„Довольно ликовать въ наивномъ увлеченіи“,
Шепнула муза мнѣ: „пора итти впередъ—
Народъ освобожденъ, но счастливъ-ли народъ“?!...

Отвѣтомъ на этотъ послѣдній вопросъ служитъ цѣлый рядъ произведеній Некрасова, написанныхъ имъ послѣ 1861-го года и посвященныхъ изображенію жизни уже свободнаго народа. Сюда относятся такія произведенія какъ: „Желѣзная дорога“, „Орина мать солдатская“, „Въ полномъ разгарѣ страда деревенская“, „Морозъ—красный носъ“, „Коробейники“ и, наконецъ, кромѣ мелкихъ стихотвореній, обширная поэма, около 5000 стиховъ, подъ названіемъ: „Кому на Руси жить хорошо“. Всѣ эти произведенія всесторонне изображаютъ жизнь русскаго народа послѣ освобожденія; особенно это можно сказать о поэмѣ: „Кому на Руси жить хорошо“, представляющейся цѣлой эпопеей изъ народной жизни, охватывающей самыя разнообразныя стороны его быта. Подробное разсмотрѣніе одной этой поэмы потребовало-бы отдѣльной статьи; то-же самое нужно сказать и объ остальныхъ произведеніяхъ этого отдѣла. Не принимаясь даже за краткій разборъ ихъ, ограничимся общимъ замѣчаніемъ о томъ, какое настроеніе оставляютъ они у читателя. Настроеніе это то-же самое, какое вызываютъ произведенія, посвященныя изображенію дореформенной народной жизни. Съ одной стороны, это грустныя думы о томъ, что, дѣйствительно, „вмѣсто сѣтей крѣпостныхъ люди придумали много иныхъ“, что народъ, если и въ меньшей степени, то все же страдаетъ, а съ другой,—та-же, что и прежде, глубокая вѣра въ народныя силы, въ славное будущее, котораго добьется, наконецъ, этотъ горемычный народъ „и широкую, свѣтлую грудью дорогу проложитъ себѣ“. Эта увѣренность, не покидавшая Некрасова во всю его жизнь, имѣетъ огромное значеніе для его читателей, у которыхъ, въ концѣ концовъ, несмотря на мрачныя картины, нарисованныя поэтомъ, въ душѣ все же остается бодрящее чувство, вѣра въ русскаго человѣка и его силы.

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и безсильная,
Матушкая—Русь!
Русь не шелохнется,
Русь—какъ убитая!
А загорѣлася въ ней
Искра сокрытая—
Рать подымается
Неисчислимая,
Сила въ ней скажется
Несокрушимая!

хочется воскликнуть вмѣстѣ съ поэтомъ послѣ чтенія стихотвореній этого отдѣла.

Мы окончили разсмотрѣніе, въ общихъ чертахъ, тѣхъ произведеній Некрасова, гдѣ онъ является изобразителемъ народной жизни. Эта сторона его поэзіи, гдѣ съ небывалою дотолѣ мощью воспѣта тяжкая доля русскаго крестьянина наиболѣе извѣстна читателямъ Некрасова; она на долгое время сохранитъ еще обаяніе современности, и не одно поколѣніе русскаго общества будетъ черпать въ поэзіи Некрасова горячую любовь къ родному народу. Не замолкнутъ еще долгое время эти аккорды некрасовской музы „мести и печали“:

Пѣснѣ твоей, о страданій пѣвецъ,
Будетъ не скоро желанный конецъ:
Тамъ онъ, гдѣ горе людское кончается,
Тамъ онъ, гдѣ счастья заря занимается,

какъ было весьма удачно сказано о долговѣчности этой стороны некрасовской поэзіи въ одномъ изъ стихотвореній, посвященныхъ его памяти.

Но не только народное горе было предметомъ поэзіи Некрасова. Ѳ. М. Достоевскій, лично знавшій покойнаго поэта, въ надгробной рѣчи сказалъ, между прочимъ, что „это было раненое сердце разъ на всю жизнь, и не закрывавшаяся рана эта и была источникомъ всей его поэзіи, всей страстной до мученія любви ко всему, что страдаетъ отъ насилія, отъ жестокости необузданной воли“. Дѣйствительно обращаясь къ поэзіи Некрасова, мы находимъ въ ней цѣлый рядъ произведеній, изображающихъ страданія русскаго человѣка на самыхъ разнообразныхъ ступеняхъ общественнаго положенія. Основной тонъ его музы, „печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ, рожденныхъ для труда, страданія и оковъ“, болѣе всего замѣтенъ въ произведеніяхъ, посвященныхъ изображенію народной жизни; но онъ ярко выдвигается и въ цѣломъ рядѣ другихъ стихотвореній, сюжетомъ которыхъ служитъ городская жизнь, вообще очень широко захваченная Некрасовымъ. И тутъ, какъ въ судьбѣ русскаго простолюдина, вниманіе Некрасова привлекаютъ преимущественно тяжелыя картины человѣческаго страданія. Всюду, что-бы ни увидилъ поэтъ, ему „мерещится драма“. Вотъ „труженикъ мужъ блѣднолицый“ („Маша“), сидящій до разсвѣта надъ тяжелымъ непосильнымъ трудомъ, чтобы хоть что-нибудь заработать

честнымъ путемъ на обновку горячо любимой женѣ. Можно было бы другимъ способомъ добыть денегъ и избавиться отъ упрековъ жены въ бѣдности—подъ рукою казенный сундукъ,—

Но испорченъ онъ былъ съ малолѣтства
Изученьемъ опасныхъ наукъ.
Человѣкъ онъ былъ новой породы:
Исключительно честь понималъ
И безгрѣшные даже доходы
Называлъ воровствомъ, либералъ.

И выбивается изъ силъ честный труженикъ,—

И кипитъ—поспѣваетъ работа,
И болитъ надрывается грудь...

И скоро, скоро его уложитъ жена въ убогій гробъ, проклиная свой сиротскій удѣлъ.

А вотъ и другой, такъ же честно сперва работавшій, отказывавшійся отъ взятокъ и казнокрадства. Но не по нутру пришлась другимъ его честность—„подвели и упекли“. Всѣ отвернулись отъ него, даже прославившійся повсюду своею любовью къ правдѣ, народу и просвѣщенію генералъ не понялъ этого изстрадавшагося человѣка и велѣлъ вывести его вонъ, предполагая въ его безсвязной, прерываемой рыданіями рѣчи бредъ пьянаго человѣка. Что оставалось дѣлать этому несчастному, измученному борьбою за существованіе свое и семьи, видѣвшему вокругъ себя только неправду, долгое время сносившему несправедливыя оскорбленія? Дорога осталась одна, широкій путь многихъ обездоленныхъ русскихъ людей, къ „зданію питейному“, въ кабакъ, къ вину, чтобы имъ залить тяжелое чувство незаслуженной обиды, чтобы въ немъ утопить свое горе („Филантропъ“).

И въ такомъ родѣ передъ нами въ поэзіи Некрасова проходитъ цѣлый рядъ страдальцевъ и страдалицъ изъ разныхъ классовъ городского общества, часто подъ вліяніемъ безвыходной нужды и нравственнаго униженія ступившихъ на скользкую дорогу порока и подъ часъ вовсе потерявшихъ человѣческій образъ. Но Некрасовъ умѣетъ въ этихъ обездоленныхъ людяхъ открыть „душу живу“ и вызвать у читателя чувство состраданія и участія.

На ряду съ этими „униженными и оскорбленными“ всѣхъ сословій и положеній некрасовская муза даетъ намъ множество другого рода образовъ, прямо противоположныхъ этимъ послѣднимъ, кому говоря его словами, „мила дорога стяжанья, кто ей вѣренъ былъ и въ жизни ни однажды Бога въ пустой груди не ощутилъ“. Мы уже знаемъ, какое настроеніе должны были вызвать въ нашемъ поэтѣ этого рода образы. Еще никто изъ русскихъ писателей не выражалъ такого горячаго негодованія къ угнетателямъ меньшого брата, какъ Некрасовъ. Его обличительныя сатирическія стихотворенія поражаютъ своей необыкновенной силой возмущеннаго чувства. Такія произведенія, какъ „Размышленія у парадная подъѣзда“, отдѣльныя мѣста изъ „Балета“, „Современниковъ“ и другихъ сатирическихъ стихотвореній, достойны быть поставлены, по силѣ негодующаго чувства, на ряду съ лучшими образцами этого рода первоклассныхъ поэтовъ. Тѣмъ не менѣе, эти произведенія въ

наше время не возбуждаютъ къ себѣ особеннаго интереса, такъ какъ были направлены противъ отдѣльныхъ лицъ, теперь большинству читателей вовсе неизвѣстныхъ.

Такимъ образомъ, въ лучшихъ своихъ произведеніяхъ Некрасовъ является въ полномъ смыслѣ слова поэтомъ-гражданиномъ, болѣющимъ за свою родину, идущимъ на помощь страдальцамъ, кто бы они ни были, обличающимъ всѣхъ тѣхъ, кто такъ или иначе давилъ слабыхъ и обиженныхъ.

Безъ отвращенья, безъ боязни,

имѣетъ право сказать о себѣ Некрасовъ,

Я шелъ въ тюрьму, и къ мѣсту казни,
Въ суды, въ больницы я входилъ...
Клянусь, я честно ненавидѣлъ,
Клянусь я искренно любилъ!

Остается теперь подвести итогъ сказанному, выяснить общее историко-литературное значеніе поэзіи Некрасова.

Послѣ предложеннаго здѣсь краткаго обзора его жизни и поэтической дѣятельности сами собою, кажется, падаютъ обвиненія Некрасова, съ одной стороны, въ неискренности, а съ другой—въ однообразіи, монотонности его поэзіи. Въ общемъ, у Некрасова мы замѣчаемъ, какъ это было указано, самое разнообразное содержаніе, и тѣ, кто говоритъ, будто Некрасовъ только сатирикъ, или будто въ его поэзіи нельзя найти ничего, кромѣ однообразныхъ картинъ изъ народной жизни, очевидно, не знаютъ всего Некрасова. Онъ по преимуществу поэтъ-лирикъ, съ необычайно чуткою и отзывчивою душою, который въ большинствѣ случаевъ, писалъ вполнѣ безхитростно, повинуясь лишь своей творческой фантазіи или накипѣвшему чувству. Эта поэтическая отзывчивость, съ одной стороны, и съ другой—извѣстнымъ образомъ сложившіяся жизненныя условія сдѣлали то, что въ поэзіи Некрасова отразилась русская жизнь въ самыхъ разнообразныхъ ея проявленіяхъ, отъ великосвѣтскихъ салоновъ до чердака труженика, интеллигентнаго пролетарія, отъ барской усадьбы до избушки Орины – матери солдатской. При такомъ разнородномъ содержаніи своихъ произведеній Некрасовъ является однимъ изъ тѣхъ поэтовъ, которые отражаютъ въ своемъ творчествѣ думы цѣлаго поколѣнія своей родной земли. Въ этомъ заключается причина извѣстности Некрасова въ массѣ грамотнаго люда, чуждаго какихъ-бы то ни было партійныхъ увлеченій. Но при всемъ разнообразіи поэзіи Некрасова, мы уже знаемъ, у него были свои излюбленные мотивы, къ которымъ онъ чаще всего обращался. Это—народная жизнь съ ея тяжелой, неприглядной стороны и вообще, человѣческое страданіе. Эта сторона поэзіи Некрасова имѣла и имѣетъ очень важное значеніе для русскаго общества. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ нашихъ поэтовъ, показавшихъ ему, какъ живутъ меньшіе его члены и въ страстныхъ обличеніяхъ посылалъ укоры тѣмъ, кто не хочетъ подать имъ руки помощи, вырвать ихъ изъ грязи и поставить на ступень, предназначенную человѣку. Мрачна картина, рисуемая Некрасовымъ, но не уныніе навѣваетъ она; читателя охватываетъ горячая любовь поэта къ человѣку, его вѣра въ лучшее будущее, его твердое убѣжденіе въ томъ, что жизнь должна быть и *будетъ* лучше. Въ этомъ указываніи обществу его язвъ, въ этомъ бодрящемъ чувствѣ, которое оставляетъ въ въ читателѣ поэзія Некрасова, и заключается ея глубокое значеніе въ русской литературѣ.

Есть у Некрасова въ поэмѣ: „Кому на Руси жить хорошо“ очень сильная по своему настроенію пѣсня ангела. Вотъ эта пѣсня:

Средь міра дольнаго
Для сердца вольнаго
Есть два пути:
Взвѣсь силу гордую,
Взвѣсь волю твердую—
Какимъ итти.
Одна—просторная,
Дорога торная
Страстей раба;
По ней громадная,
Къ соблазну жадная
Идетъ толпа.
О жизни искренней,
О цѣли выспренней
Тамъ мысль смѣшна:
Кипить тамъ вѣчная
Безчеловѣчная
Вражда—война.
За блага бренныя
Тамъ души плѣнныя
Полны грѣха;
На видъ блестящая,
Тамъ жизнь мертвящая
Къ добру глуха.

***

Другая—тѣсная
Дорога честная.
По ней идутъ
Лишь души сильныя,
Любвеобильныя
На бой и трудъ
За угнетеннаго, за обойденнаго.
Умножь ихъ кругъ,
Иди къ униженнымъ,
Иди къ обиженнымъ
И будь имъ другъ.
Гдѣ трудно дышится,
Гдѣ горе слышится,
Будь первый тамъ!

Некрасовъ всю свою жизнь стремился итти по этой „тѣсной дорогѣ“, „на бой и трудъ за угнетеннаго, за обойденнаго“. Туда-же, „гдѣ трудно дышится, гдѣ горе слышится“, зоветъ онъ и своихъ читателей, и въ этомъ непреходящее значеніе его поэзіи, хотя и не стоящей въ художественномъ отношеніи такъ высоко, какъ созданія первоклассныхъ талантовъ.

И долго еще незабудутся и будутъ „ударять въ сердца съ невѣдомою силой“ аккорды „музы мести и печали“, и оправдается надежда Некрасова, выраженная имъ въ *послѣднемъ* предсмертномъ стихотвореніи, гдѣ онъ обращается съ такими словами къ своей музѣ:

О муза! я у двери гроба!
Пускай, я много виноватъ,
Пусть увеличитъ во сто кратъ
Мои вины людская злоба,—
Не плачь! Завиденъ жребій нашъ,
Не наругаются надъ нами:
Межъ мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому, кровному союзу!

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Ос. фонд